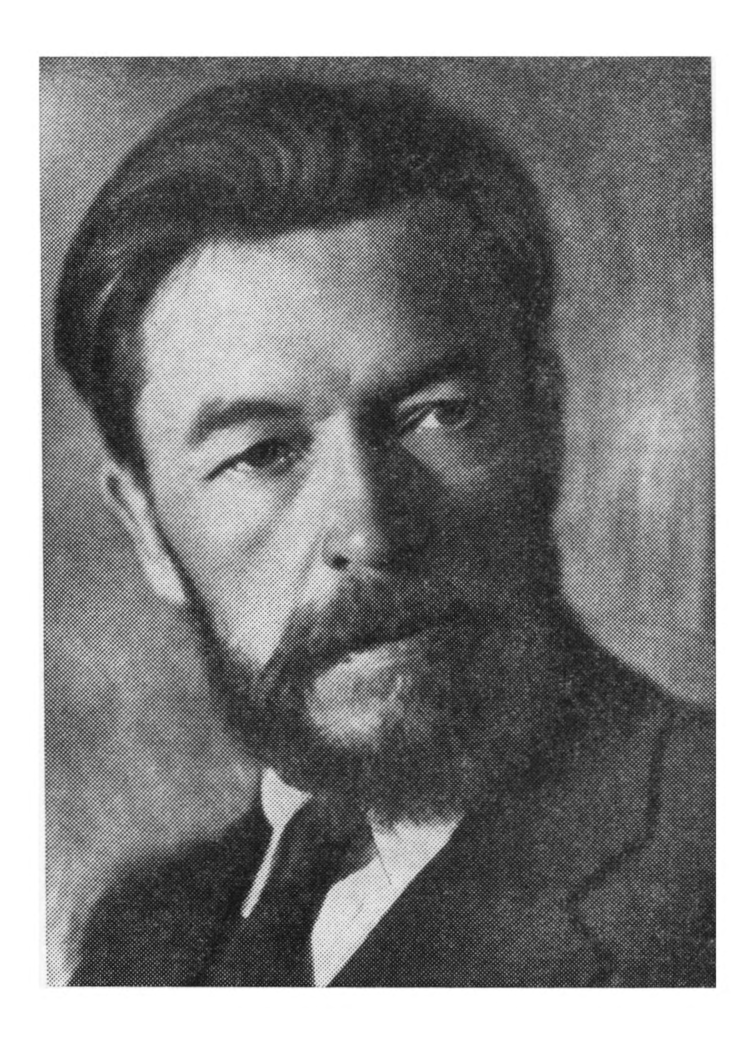
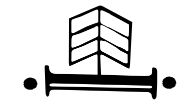

ВОСПОМИНАНИЯ
О
В. ШИШКОВЕ





ВОСПОМИНАНИЯ О В. ШИШКОВЕ



МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1979

Р 2
В 77

В. Я. Шишков — выдающийся советский писатель, оставивший крупнейший след в советской литературе, автор широко известных романов «Угрюм-река», «Емельян Пугачев». В воспоминаниях, собранных в этой книге, возникает биография писателя, друга, наставника, труженика, передано ощущение времени, эпохи.

Своими воспоминаниями о писателе делятся его друзья и люди, близко знавшие писателя.

Составитель Н. Н. Яновский

В $\frac{70302-168}{083(02)-79}$ 13—79. 4702010200

Конст. Федин

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

Уже давно сказано, что у каждой книги своя судьба.

У каждого писателя тоже своя судьба. Иная литературная биография начинается со школьной скамьи, и к сорока годам литератор оставляет лучшее, на что он способен, позади.

Вячеслав Яковлевич Шишков в сорок лет только вступил на литературную дорогу, и у него все было впереди.

Его жизненный опыт накоплялся среди народа и вместе с народом, с сибирским рабочим людом; нес он суровый, но, может быть, самый возвышенный труд — изыскателя новых путей, проходчика по неизведанным местностям.

И вот из жизненной школы он вынес понимание ее суровости и ее поэтичности. В первой же своей книге — «Тайга»,— в книге, которую можно назвать романом-картиной, зрело, как человек богатого познания, и свежо, как юноша, только что овладевший волнующим его делом, Шишков раскрывает и суровость жизни и ее поэтичность. Сразу же в этой книге-картине он становится тем, чем был в глубине писательской своей природы,— изобразителем народных нравов, живописцем родной страны.

Характер его биографии предопределил собою его литературное направление.

Как Мельников-Печерский или Мамин-Сибиряк, уходя в недра людские, воссоздавали сердце русского народа в красочных бытовых эпопеях, так и Шишков, следуя этим путем оригинального русского писателя — исследователя народной жизни, воссоздал в своих книгах нравы и быт самых разнообразных национальных наших характеров.

Даже краткий очерк труда Вячеслава Шишкова потребовал бы много времени. Но перед лицом такой потери, которую мы несем, и перед лицом писательского общества нельзя не сказать о главных вехах совершенно особого литературного тракта, который был изведан и продолжен мудрым проходчиком.

Шишков сейчас же после Октября опять пошел в народ, как он ходил в народ задолго до своей «Тайги». Принес он в путевой котомке много такого, что затем питало его фантазию на протяжении лет. Нравы, язык, общественный уклад — все было потрясено революцией, и, кажется, из-под самой коры земной неудержно пошел к новой жизни русский человек.

Шишков дал картины этого могучего перерождения, как может дать истинный бытовик — в зарисовках прямых, метких, в наготе правды.

Он написал «Ватагу» с той безудержной широтой кисти, которая соответствует безудержности событий, ею изображенных: это сибирский народ в лютой борьбе за свое счастье. Он написал «Пейпус-озеро» — книгу о гражданской войне в исконных наших псковских землях.

И вдруг он обернулся к читателю как бы совершенно неизвестным, обворожительным лицом: одну за другой он стал выпускать книги юмора. Народ, живший необычайно сурово и тяжело, боровшийся за свою правду беспощадно и до последней капли крови,— этот народ хитро улыбался, смеялся, хохотал и так тонко подмечал все достойное смеха, что жизнь вставала перед глазами читателя сияюще-полной и ободряющей душу.

Так шло у Шишкова изучение быта, так он совершенствовал свою руку в лепке бытовых образов, так подготовил он свой переход к огромному историко-бытовому роману «Угрюм-река».

В этой книге Шишков проявил все стороны большого русского бытописателя, и когда наш читатель захочет заглянуть в глубину глубин истории Сибири, он не сможет обойтись без Вячеслава Шишкова, так же как не обойдется без Андрея Печерского, изучая историю Поволжья, или без Брет Гарта, знакомясь с развитием Калифорнии.

Наконец, Шишков перенес свое возросшее искусство в область исторического романа и взялся за обобщенный

образ русского героического характера — за Емельяна Пугачева.

И тут Шишков остается верен своему дарованию и своему глазу: ведя внимательную летопись народной революции, он возрождает перед нами быт и нравы екатерининского века. Тут в полном объеме мы видим, что дали писателю его «Ватага», его «Шутейные рассказы», его «Угрюм-река»: от занимательности сюжета до юмора, до сатиры, до причудливости языка и понимания человека в его страсти и в его мечте о лучшей доле — все сочеталось в этой огромной книге.

Рукопись «Пугачева» лежит развернутая на столе, от которого Вячеслав Шишков только что оторвался. Два-три письма — ответы читателям, еще не отправленные,— лежат рядом. Жизнь оборвалась так, как обрывается с дерева лист — внезапно, легко и невозвратно.

И мы, живые листья, с которыми он рос рядом и питался от того же дерева, что и мы,— от великого дерева русской народной жизни,— мы видим его все таким же красивым, каким он нам всегда казался.

Это был человек любви, человек сердца, человек нежной души. Вряд ли у другого нашего современника-писателя найдется столько преданных друзей, сколько оставил сейчас на земле Вячеслав Яковлевич Шишков. Поистине он дал нам много счастья и не позабыл дать счастья благодарных о себе воспоминаний. Это был Человек.

На своей груди Шишков уносит не только ордена за заслуги в писательском труде. Он уносит еще зеленую ленту медали «За оборону Ленинграда». Он отдал Ленинграду четверть века жизни, и он пребывал его верным сыном в самый тяжкий час испытаний, когда враг бил в ворота великого города стальными чудовищами насилия. Он сделал в этот час все, что может сделать писатель и гражданин.

Поэтому на его груди уйдут с ним не только вещественные символы признанных заслуг.

С ним уйдет и наша вечная к нему любовь. И мы скажем ему то слово, которое русский народ испокон века говорит своим верным сынам, прощаясь с ними навсегда: да будет тебе земля пухом, родной Вячеслав Яковлевич.

1945

Когда Шишков выступил с первой своей большой вещью (у него были первоначально рассказы) — с «Тайгой», он явился перед читателями сложившимся работником русской культуры и притом природно одаренным художником. Поэзия жизни, почерпнутая на новой земле, отразилась в этой замечательной повести, и М. Горький приветствовал ее появление.

Как национальный писатель Шишков отмечен чертами редко повторимыми — в нем отразился весь строй русского характера. Труд был его главным орудием, мысль богата, талант самобытен. Вот те источники, из которых он черпал разнообразие красок, как бы прорывающихся сквозь сибирские ландшафты, всегда стоявшие в его памяти.

Его биография исследователя природы определила собой и основную примету его творчества. Он стал исследователем народной жизни. Быт, нравы, типы народа, его ум, сила, особенно необычайная сила во всех областях знания или деятельности,— вот что влекло Шишкова в русском герое.

Широта сердца — как замечательно он отразил это в лучших образах, таких, например, как в романе «Угрюм-река», а впоследствии в историческом повествовании «Емельян Пугачев»! Какие страсти, какая мощь, какие могучие залежи способностей — как все это зазвучало в его произведениях! Вместе с тем другие черты характера: умение посмеяться, общительность, жизнелюбие — они не остались не замеченными Шишковым в русском человеке. В вещах, посвященных гражданской войне, в «Ватаге», в «Пейпус-озере» Шишков как бы подготавливался к работе над народным эпосом.

Как исторический писатель Шишков очень ярок и оригинален. Роман «Угрюм-река» писался им на протяжении долгих лет. Художник много сил отдал этой эпопее и создал своеобразную историю нашей восточной, зауральской промышленности, поставив в центре, может быть, один из самых полнокровных типов русского предпринимателя кулацкого склада — Прохора.

Придя к главной своей вещи — произведению, которое оставило хорошо памятный след в развитии советского исторического романа,— к «Пугачеву», Шишков был уже во всеоружии умения, во всеоружии большого художника.

В этой эпопее поражает труд писателя-исследователя. Когда вышло собрание сочинений, подготовленное после смерти Шишкова, мне пришлось сравнивать материалы, которые я изучал для других целей, с тем, что было сделано Шишковым в научных разысканиях для изображения отдельных эпизодов, например саратовского эпизода пугачевского восстания. Я поразился, насколько он был исторически точен в этом небольшом, и, в сущности, не столь ответственном эпизоде для целого романа. Писатель прекрасно знал топографически, календарно все обстоятельства пугачевских событий в Саратове, знал тогдашний быт города, его социальный состав, его фольклор и колорит.

Прекрасные качества личности Шишкова удивительно гармонировали с целями, поставленными им себе, с целями гуманистического художника, создавая обаятельный образ русского писателя, по всему духу очень близкого, понятного советскому времени, с необычайно чутким, действительно социалистическим отношением к человеку, к обществу, родине, миру.

Его патриотические черты были в нем всегда очень глубоки,— и в период, когда нашей стране как будто не было угрозы со стороны врагов, и в тяжелую годину, когда враги на нас ополчились и насели стеной, Шишков носил в своем сердце непотухающий жар любви к родине.

Я всегда считал Вячеслава Яковлевича человеком редкостно добрым. Такого расположения к товарищам, такой любви к друзьям нельзя позабыть. Но нельзя также позабыть его строгой прямоты, с которой он говорил правду в глаза своему товарищу, другу, если они заслуживали осуждения. Он был неколебим душою настолько же, насколько ясен и чист.

1953

А. Я. Шишков

ВОСПОМИНАНИЯ О БРАТЕ

Город Бежецк, родина Вячеслава Яковлевича Шишкова, в семидесятых — восьмидесятых годах прошлого столетия был небольшим уездным городом Тверской губернии, с населением около шести тысяч человек. Расположен он на Рыбинско-Бологовской железной дороге, примерно посредине между Бологим и Рыбинском. С западной стороны города протекает река Молога — весьма широкая, но не глубокая, по которой с верховьев в весеннее половодье сплавом доставлялись для города дрова и бревна. С северной стороны — не широкая, но довольно глубокая река Остречина — приток Мологи. Сюда молодежь в погожие летние дни приходила купаться, погулять и покататься на лодке.

Один из старинных городов нашей Родины, город Бежецк раскинулся на пологом холме, возвышающемся от рек Мологи и Остречины. Постройки города начинаются от реки Остречины, и главные улицы идут в южном направлении, параллельно правому берегу реки Мологи. Протяженность города с севера на юг — около четырех километров, а с запада, от берега Мологи, на восток — около одного километра. На противоположном левом берегу Мологи пригород Бежецка — «Штаб».

Постройки города преимущественно деревянные, каменных домов строили немного, только на главных улицах — Большой и Постоялой. Они принадлежали богатым купцам. Много было фруктовых садов.

В центре города, на самой возвышенной его части,— обширная торговая площадь с большим каменным собором. С южной и восточной сторон площади — каменные торговые ряды: бакалейные, скобяные, кожевенные; мануфактурные, красные ряды,— фасадом на Постоялую

улицу. Лавка нашего отца, под № 14, была ближе к северному концу рядов. Ряды построены основательно, с галереей перед лавками и с кладовыми для товаров.

В Бежецке, как и в большинстве старинных городов, много каменных церквей с колокольнями. Большинство из них старинные, очень красивой архитектуры, окружены деревьями, обнесены каменными оградами.

В северной части города — большой женский монастырь, Казанский, окруженный высокой каменной стеной, похожей на крепостную.

В городе было одно городское трехклассное училище, с шестью курсами, духовное училище — для детей духовенства и две начальные церковноприходские школы.

Главную часть населения города составляли мещане, преимущественно бедняки, пробивавшиеся всякими мелкими заработками, в их числе мастеровые разных специальностей. Меньшинство населения — зажиточные купцы, торговцы. Им принадлежали лучшие дома на главных улицах города.

Интеллигенции в городе было мало: несколько врачей, учителя, служащие земской и городской управы, техники; зато духовенства — более чем достаточно.

Промышленность города находилась в зачаточном состоянии — не имелось ни заводов, ни фабрик; промышляли, главным образом, льном. В различных концах города торговыми фирмами были открыты приемные и льнообрабатывающие пункты, где лен, в изобилии выращиваемый на полях Бежецкого уезда, принимался, обрабатывался и по железной дороге отправлялся в Петербург. При этих операциях со льном кормилось много рабочего люда.

По льнозаготовкам Бежецк занимал в Тверской губернии первое место.

Значительным подсобным женским промыслом в Бежецке являлось шитье мешков из грубого холста. Сидя на полу, женщины целыми днями шили мешки простой иглой. Их тяжелый труд оплачивался очень скудно.

В летнее время существовал еще один вид приработка: разделка дров и бревен, приплавляемых весной по Мологе. Много здесь толкалось всяких маклаков, барышников и людей «от скуки на все руки».

Торговля в городе велась живая и сравнительно обширная благодаря большому, густо населенному уезду.

Кроме торговых рядов, было много магазинов и лавок со всякими товарами.

В будни город жил тихо, а в праздничные и базарные дни оживал. Со всех краев уезда наезжало много крестьян со всякими продуктами и изделиями. Площадь, а в большинстве базары и прилегающие к площади улицы бывали забиты подводами. По всему городу разносился шум, звон колоколов многочисленных церквей.

Наш дом стоял в конце второго квартала Воздвиженской улицы, на углу этой улицы и Кладбищенского переулка. Воздвиженская улица — прямая, широкая — начиналась от середины города и шла до поля в южном его конце. Застроена она была деревянными домами. Среди них выделялось несколько больших купеческих домов с фруктовыми садами. Вдоль домов тянулись дощатые тротуары для пешеходов. Движение здесь было небольшое, и замощенная улица местами зарастала травой. Правда, поздней осенью и зимой тут проходили обозы из ломовых подвод, перевозивших кипы льна на станцию.

Наш дом — довольно ветхий, двухэтажный, обшитый тесом, со старой тесовой крышей на четыре ската — смотрел четырьмя окнами на Воздвиженскую улицу, пятью — на Кладбищенский переулок. Дом заметно врос в землю. Он перешел к нашей семье от отца матери, купца Ивана Ивановича Первухина. При доме был огород с яблонями.

Наша семья жила в верхнем этаже, имевшем четыре комнаты и прихожую. В нижнем этаже помещалась кухня в два окна, с большой русской печью и две «молодецкие» комнаты. В них жили приказчики, кухарка, мальчик-ученик.

Обстановка в наших комнатах, наверно, перешла к нам вместе с домом. Во всех комнатах были иконы, некоторые из них старого письма.

В этом доме 21 сентября (старого стиля) 1873 года родился первенец нашей семьи, брат Вячеслав.

Отцу, Якову Дмитриевичу, в это время было около двадцати восьми лет, а матери, Екатерине Ивановне, около восемнадцати лет. Отец был высокого роста, широкогрудый, с темно-русыми густыми волосами и русой бородой. Мать роста ниже среднего, крепкого телосложения. У нее были русые волосы, большие темные глаза.

Отец, как он сам говорил, учился у дубровского дьяч-

ка за две меры картофеля. Писал он, однако, неплохо: напрактиковался будучи приказчиком, а потом хозяином большого дела. Книг никаких он не читал.

Мамаша окончила четыре класса начальной школы — писала неважно, читала сносно, но исключительно жития святых.

Отец прошел большую жизненную школу, прожив «в людях» с десяти до двадцати пяти лет: сначала мальчиком у купца Первухина, потом в Петербурге, сперва младшим, затем старшим и доверенным приказчиком. Природа наделила его живым, пытливым умом, он был общительным, сметливым человеком, любил и умел поговорить. Вестенька (так в семье называли Вячеслава) постоянно восхищался его письмами, особенно описаниями природы и различных событий.

В Петербурге, работая среди умного, делового люда, отец развил и свой ум, и способности, научился достойно держаться в деловом обществе, основательно изучил торговое дело, привык хорошо одеваться.

С малолетства отец любил пение и музыку, мальчиком хорошо пел. В Петербурге он часто ходил с приятелями в Мариинский театр и с увлечением слушал оперы. Особенно любил «Жизнь за царя» и «Аскольдову могилу». Из них он некоторые отрывки пел.

В Бежецке, среди краснорядцев, отец слыл человеком честным, деловым. В обществе приятелей и знакомых его считали многознающим собеседником и прекрасным рассказчиком. Слушали его с большим интересом, особенно рассказы из охотничьего быта. Охоту на птицу отец очень любил и имел по этой части солидный опыт.

В семье он был главой и хозяином. Мы, ребята, уважали его и немного побаивались, хотя я и не помню случая, чтобы он кого-нибудь из нас наказал.

Одна беда была у отца: склонность к зелену вину, доводившая его до запоя.

Жену и нас, ребят, он любил и никогда не обижал.

Матушка наша, Екатерина Ивановна, ничем особым не выделялась, была типичной городской обывательницей. Воспитанная в богобоязненной купеческой семье, она была религиозна, но ничуть не фанатична. Трудолюбивая, расчетливая хозяйка, матушка всю жизнь была скромной, доброй женщиной, больше заботившейся о семье, чем о себе. Была гостеприимной, любезной хозяй-

кой. Вестеньку любила безгранично. Мы все ее очень любили и уважали.

У нас проживала мать отца — Елизавета Даниловна, уже пожилая женщина, много пережившая, любительница сказывать сказки и были. Можно сказать, что именно она воспитала Вестеньку. Любила она его беззаветно. Вестенька также очень любил ее.

В три-четыре года Вестенька казался не по годам большим, разумным мальчиком. Жизнь его протекала ровно, спокойно, радостно. Он не чуждался старших, напротив того — любил внимательно и серьезно наблюдать за взрослыми, разговаривать и играть с ними.

Иногда по праздникам вечерами в нашем доме собирались гости — тетушки, соседи с домочадцами. Дом оживал — разговоры, смех, шутки, временами пение. Вестенька также принимал участие в веселье.

Набегавшись вволю, он присаживался к мамашеньке и, прильнув к ней, внимательно следил за происходящим, слушал разговоры, смеялся шуткам. Бабушке едва удавалось уговорить внука идти спать. Из гостей Вестенька особенно привязался к дяде Алексею Егоровичу Бородулину, большому балагуру, человеку доброй души, постоянно приносившему Вестеньке гостинцы. Нравился ему также крестный, коренастый, с бородатым добродушным лицом Никандр Лукьянович Смирнов (брат и старший приказчик богатого купца-краснорядца Сергея Лукьяновича Смирнова). Крестный часто шутил с Вестенькой, а главное, рассказывал интересные случаи из жизни, очень увлекавшие брата.

Часто Вестенька с матушкой или бабушкой ходил к отцу в лавку. В базарный день тут было многолюдно, шумно, весело.

Иногда, в минуту затишья, отец с покупателем-охотником присаживался в сторонке за стаканом чая. Начинались разговоры про охоту, леса, поля. Истории про тетеревов, зайцев, лосей Вестенька слушал внимательно, не спуская глаз с рассказчика.

Дома к нам приходили играть дети соседей — Пановы, Масленниковы. Вестенька любил живые игры: бегали по улице, во дворе, лазали на сараи, играли в мяч. Никто не бегал так быстро, не лазал так ловко по лестницам, как брат.

Иногда по вечерам отец и мать выходили посидеть у

дома на скамейке. Подходили соседи, собиралось много взрослых с ребятами. Начинались разговоры, рассказы. Набегавшись вдоволь с ребятами, Вестенька присаживался к матери или бабушке и слушал рассказы и шутки взрослых. Иногда издалека, с той стороны Мологи, доносились хоровые песни молодежи Новой Деревни. Пение казалось нам стройным, красивым. Вестенька слушал его с особым удовольствием.

Случалось, в теплые летние дни наша семья с соседями и знакомыми, с ребятами, захватив с собой закуски, самовар, посуду, отправлялись в пригородную березовую рощу Жохово, расположенную в двух километрах от города, на берегу реки Остречины. Взрослые шли пешком, бабушку, ребят и провиант отвозили на лошади. Эти поездки доставляли Вестеньке великое удовольствие. Компания устраивалась на берегу Остречины в тени берез, готовили чай, закусывали. Народ собирался молодой, здоровый, веселый. После рюмочки начинались пляски, песни. Миша Куликов, звонкий певун, служивший у нас «мальчиком», заводил песню. От него не отставал и Вестенька. Ребята бегали по роще, играли. Веселье кончалось поздним вечером.

Вестенька, набегавшись всласть, по дороге домой засыпал на руках у бабушки. О таких поездках он долго помнил и часто расспрашивал бабушку о слышанном и виденном.

Еще в детском возрасте Вестенька полюбил книги, лучшим подарком для него были книжки с картинками.

Также любил он рисовать; эту любовь развил в нем упомянутый Миша Куликов, сам хороший рисовальщик.

Уклад жизни нашей семьи не отличался от обычного уклада жизни бежецкого купечества того времени. Жизненные интересы сосредоточены были, главным образом, на торговом деле и на семейной жизни.

Отец целыми днями находился в гостиных рядах. Иногда по окончании торгового дня с соседями-купцами или со знакомыми покупателями он заходил в трактир и засиживался там до позднего вечера, чаще же приходил домой. Вместе садились за ужин, пили чай, слушали веселые рассказы отца. Иногда он дома вел записи в торговых книгах, разговаривал с приказчиками. Мамаша обычно бывала дома, присматривала за домашним хозяйством, занималась с сыном; порой она на часок ухо-

дила к соседке, подруге, потом ожидала отца к обеду; вечером нередко отправлялась к отцу в лавку.

Бабушка Елизавета Даниловна больше других занималась с внуком, и он очень привык к ней.

Накануне праздников и утром в воскресенье отец и мать ходили в церковь.

Питались сытно, вкусно, по воскресеньям пекли сдобные пироги. Спать ложились рано, утром вставали тоже рано. В базарные дни лавка открывалась задолго до света, иногда в четыре-пять часов утра; надо было отца попоить чаем, подать закуску. В комнатах было тепло, денег на дрова не жалели.

В таких условиях рос первенец семьи Шишковых, будущий писатель Вячеслав Яковлевич Шишков.

Вот Вестеньке исполнилось семь лет. Он был не по летам высокий, стройный, смышленый. Еще до начала ученья знал азбуку и разбирал печатные слова,— это Миша Куликов познакомил его с буквами.

Наступило время ученья. Отец решил поместить сына в пансион к учительнице Ольге Петровне Костилевой, где учились дети купцов. Ольга Петровна была опытная учительница и занятия вела без излишней строгости. Учение шло успешно. Вестеньку Ольга Петровна особенно любила за его врожденную деликатность. Резвый мальчик, он, однако, никогда не позволял себе озорства. Среди сверстников-учеников он был самым изобретательным на всякие игры в перемены, больше всех знал сказок. Ольга Петровна удивлялась его понятливости и памяти.

Вместе с Вестенькой в пансион была помещена его двоюродная сестра Рая — дочь Александры Дмитриевны Стукачевой, сестры отца. Зимой Рая жила в нашей семье. Девочка была смышленая, живая, выдумками на игры и проказы не уступала Вестеньке. Вместе они ходили в пансион, играли на улице, строили снежную гору во дворе, катались с горы на санках. Осенью вдвоем бегали на Воздвиженский пруд кататься на коньках, вместе готовили уроки. Бабушка Елизавета направляла их игры. Иногда она вырезала из бумаги лошадок, человечков, клеила коробочки, домики. Игра становилась увлекательной. Фантазия малышей работала вовсю.

Бабушка приучала детей к порядку, в определенные часы усаживала их за подготовку уроков, заставляла аккуратно выполнять заданное. Хоть сама она была не-

грамотна, однако иногда помогала ребятам решать трудные задачи. В особо затруднительных случаях бабушка вызывала Мишу Куликова. Учились ребята охотно. К концу первого года занятий они уже хорошо читали, особенно Вестенька, из «Родного слова» или из хрестоматии.

Между тем семья наша росла.

Родился брат Дмитрий. В 1881 году на свет появился я, Алексей. Далее родилась сестра Мария, потом сестра Катя.

По окончании учебы в пансионе, в начале лета, бабушка Елизавета Даниловна по обыкновению уезжала с Вестенькой и Раей на все лето в свое родное село Дуброву.

Дуброво — небольшое село, домов в двадцать пять-тридцать,— стоявшее в двенадцати верстах от Бежецка, у станции Константиново, Рыбинско-Бологовской железной дороги.

У станции находился барский деревянный дом помещика Шишкова, Дмитрия Алексеевича, родителя нашего отца. Дом окружен был садом.

В Дуброве бабушка Елизавета с ребятами жила у своей старшей сестры Анны Даниловны, высокой, сухощавой старухи. Избушка бабки Анны Даниловны была маленькая, в два окна, покосившаяся и вросшая в землю. Почти четверть избы занимала большая русская печь, при ней — полати, вдоль стен — широкие скамейки, в правом углу — обеденный стол. Она стояла почти напротив попова дома. Рядом была исправная изба в три окна — брата бабушки, Никиты Даниловича. Дедушка Никита — высокий, статный, богатырского сложения старик, с окладистой бородой. В молодости, говорят, был красивым и очень сильным.

Бабушка Елизавета с ребятами обычно ехала в Дуброву на лошади,— за ними приезжал на телеге Никита Данилович.

Бабушка собирала пожитки, продукты, усаживалась с ребятами на сено в телегу и отправлялась в путь. Вестенька любил эти поездки. Особенно нравилось ему переезжать по дамбам и мосту через реку Мологу. Здесь Молога была широкой и красивой. С конца дамбы открывался прекрасный вид на город. Как только кончались городские постройки, начинались хлебные поля с

редкими перелесками. Ребята рвали васильки и другие цветы. В Дуброву приезжали к вечеру. Гостей встречали бабушка Анна и вся семья дедушки Никиты. Прибегали ребята. Избушка бабушки Анны наполнялась шумом, пили чай, угощали ребят конфетами.

С первых дней пребывания у бабушки начиналась интересная жизнь. К избушке приходило много детворы. Заводились игры в палочку-выручалочку, в лунки, в рюхи, в разбойники.

Вестенька и здесь был предприимчивым вожаком.

Иногда всей компанией отправлялись на чугунку. Вот несется, громыхая, пассажирский поезд, из вагонов на детей глядят пассажиры. Ребята долго смотрят вслед проносящемуся поезду, пока он не скрывается в лесной зелени...

Потом Вестенька рассказывал, как хорошо в вагонах, как он был в поезде, провожая отца в Петербург, что видел на вокзале в Бежецке.

Часто Вестенька ходил с ребятами в лес по ягоды или грибы. Хотя ягод и грибов приносили мало, зато весело гуляли, любовались белкой, лазали на березы, искали птичьи гнезда.

Нередко с Вестенькой и Раей ходила в лес и бабушка Елизавета. Для ребят это было праздником. Бабушка выбирала самую красивую дорогу — по хлебным полям, с васильками, цветами. Лес начинался у самых полей. Широкая дорога, окаймленная столетними соснами, входила в лес, круто поднималась на холм и уходила в чащу леса. Бабушка водила детей по ягодным и грибным местам. Они собирали ягоды, отыскивали грибы, бегали, прятались за толстыми соснами.

Бабушка рассказывала ребятам о старой помещичьей жизни в этих местах. Вестенька слушал ее с большим вниманием и часто задавал разные вопросы: почему, как, зачем — и все запоминал, задумывался, становился серьезным, просил разъяснить непонятное.

На одном из холмов дубровских гор стоит «святая сосна» — древнее двухсотлетнее дерево, в два обхвата, полузасохшее (зеленеет только шапка вверху). Сухие толстые сучья обломаны, изрезаны ножом. Это крестьяне вырезали кусочки «святой сосны», веруя, что они помогают от зубной боли и разных недугов. Ствол обвешан образочками, крестами. Верили, что все, кто пролезал че-

рез дупло «святой сосны», получая облегчение, а иногда и исцеление от болезней. Бабушка сама с трудом пролезала через дупло, целовала висевшие тут образки. Дети проделывали то же. Бабушка рассказывала ребятам о случаях помощи больным, приходящим к «святой сосне».

Гуляя с Вестенькой и Раей, бабушка иногда замечала приближавшуюся бричку помещика Д. А. Шишкова. Чтобы не встречаться с ним, бабушка уводила ребят подальше от дороги, укрывалась за кустами, за высокой рожью. Видно, тяжелую обиду нанес ей этот помещик.

Да, когда-то в молодости сошелся он, молодой помещик, с красавицей-певуньей, крестьянкой, и прижил с ней сына и дочь. Потом, по настоянию своей матери, женился на дочери богатой помещицы. Елизавета тотчас ушла из помещичьего дома и увела с собой детей. Помещик все же дал детям свою фамилию и впоследствии изредка помогал им в тяжелые минуты.

Так проходил для ребят день, полный интересных впечатлений. От «святой сосны» дорога круто спускалась по склону горы и выходила к хлебным полям. Домой приходили усталые, голодные, но довольные.

Здесь в полях Вестенька наблюдал, как напряженно работали крестьяне. Он с раннего возраста хорошо узнал, что такое тяжелый крестьянский труд, и научился его уважать. Лето проходило быстро. Уезжал из Дубровы Вестенька со слезами.

В августе 1881 года Вестенька был принят в первый класс Бежецкого городского училища.

Городское училище стояло на главной улице — Большой, в первом квартале от площади. Здание большое, двухэтажное. Нижний этаж каменный, верхний — деревянный. Классы помещались в верхнем этаже. При училище был большой двор и сад. Рядом с училищем, в деревянном доме в пять окон, помещалась квартира инспектора училища Александра Александровича Малиновского — человека пожилого, строгого, но справедливого. Ученики уважали его.

Из учителей выделялись преподаватель русского языка и литературы Арсений Петрович Павлов и Александр Федорович Неустроев — добрые, культурные люди. Ученики любили и уважали их. Прочий преподавательский состав также был дельный, опытный.

В училище проходили русский и церковнославянский

языки, литературу, арифметику, геометрию, физику, естествознание, историю, географию, черчение, рисование и чистописание.

С ранцем за спиной стал Вестенька ходить в училище. Его близкими друзьями были Коля Кирсанов, сын торговца зерном, Вася Панов, сосед, и Миша Сергеев — дети купцов. Среди школьников Вестенька освоился быстро благодаря доброму, общительному характеру; ребята любили его.

Учеба в городском училище пошла успешно. Брат считался одним из лучших учеников в классе. Под присмотром бабушки Вестенька по-прежнему добросовестно учил уроки. Соблюдался известный порядок в распределении дня: по возвращении из училища Вестеньку отпускали гулять часов до пяти вечера, потом он садился за уроки; бабушка присаживалась тут же с чулком в руках. Обладая хорошей памятью, Вестенька легко справлялся с уроками. Чтение, чистописание, рисование он любил, заучивание стихов не очень обременяло его. Самым трудным предметом была арифметика, особенно решение некоторых задач. Однако и с этим делом брат справлялся быстро.

Окончив уроки, он имел еще время поговорить с бабушкой, мамашей, почитать свои любимые книжки, поглядеть картинки, повидаться с Мишей Куликовым, послушать сказки и порисовать. День казался ему коротким. Однако бабушка своевременно укладывала внука спать.

Учителя вскоре заметили богатые способности и добрый нрав Вестеньки, ему пророчили большое будущее.

Все больше и больше брат увлекался книгами. Сберегая копейки, даваемые на булку в школе или полученные в подарок от родных, Вестенька покупал двухкопеечные книжки — сказки, рассказы, иногда объемистые книги за пятнадцать — двадцать копеек. Таких книжек у Вестеньки набралось вскоре порядочно. Все книжки были записаны в каталог и хранились в порядке. Сундук с книжками стоял в углу за комодом в комнате родителей. Иногда к вечеру бабушка с внуком спускались в нижний этаж, несмотря на то, что отец запрещал детям ходить в «молодецкую». Бабушка не находила ничего плохого в дружбе Вестеньки и двенадцатилетнего Миши Куликова. Сама она увлекалась разговорами с кухаркой, а внук

пробирался в «молодецкую». Здесь и встречал его Миша Куликов. Миша любил рисовать и рисовал очень хорошо. Позднее он был определен нашим отцом в школу живописи в Петербурге. Однако окончить школу Мише не пришлось: он утонул, катаясь с товарищами на лодке по взморью.

Под влиянием Миши и Вестенька начал рисовать и при этом оказался способным рисовальщиком. Миша показывал ему свои книжки, начинались разговоры. Много знал Миша сказок и всяких историй. К ребятам присаживался и приказчик, человек бывалый, тоже хороший рассказчик. Часто Миша вдвоем с Вестенькой пели, а бабушка и все присутствующие слушали.

В училище пение преподавал регент соборного хора.

На первых же уроках регент обратил внимание на голос Вестеньки и предложил ему поступить в соборный хор. Отец и мать ничего не имели против такого предложения, и с этого времени до окончания учебы в городском училище Вестенька пел в соборном хоре. Обладая хорошим голосом и музыкальным слухом, он скоро стал солистом. Регент высоко ценил способности Вестеньки: постепенно увеличивал ему плату, которую, наконец, почти сравнял с платой хорошему взрослому певчему. Бо́льшую часть денег Вестенька отдавал родителям, а часть расходовал на покупку книг и на лакомства.

Хористы вскоре полюбили Вестеньку за живой нрав, за уменье весело пошутить, рассказать смешной анекдот или историю из жизни певчих и духовенства. Часто рассказы изображались в лицах. Певческая братия нравилась Вестеньке. Известного тогда по всей губернии дьякона Исполатова, обладателя прекрасного баса, Вестенька очень уважал. Исполатов так красиво вел службу, что послушать его приезжали из соседних городов. В большие праздники церковная служба велась торжественно, собор был полон нарядного народа, хор пел с особым старанием. В годовые праздники пасхи и рождества хор певчих разъезжал на тройках по богатым домам, где устраивались концерты.

От певчих Вестенька узнал много хороших русских песен, часто распевал их дома, а домашние с удовольствием слушали.

Влияние церковного окружения вскоре сказалось. Десятилетний Вестенька заявил родителям, что решил

сделаться священником или монахом. Тогда отец стал рассказывать ему о невоздержанности, жадности духовнослужителей, о распутной, запьянцовской жизни многих из них,— словом, обо всей темной стороне этой профессии. В том же духе говорила с Вестенькой и бабушка. Брат прислушался к их трезвым словам и отказался от своего намерения. Постепенно и его религиозное настроение стало выветриваться.

Все это, однако, не отражалось на учебе. Ежегодно брат отлично сдавал экзамены и переходил в следующий класс с похвальным листом. Эти награды отец вставлял в рамки и вывешивал на стене в зале.

С третьего курса из ученической библиотеки ученикам выдавались книги для чтения. Вестенька был одним из самых активных читателей, отдавал значительную часть свободного времени чтению. В библиотеке имелось немало хороших книг и журналов. С особым увлечением Вестенька читал Гоголя, Тургенева, Помяловского. Часто по вечерам он читал дома вслух, для домашних. Слушали его с охотой, и это доставляло брату большое удовольствие. В нашей семье светская книга появилась впервые. Чем больше читал Вестенька книг, тем более увлекался художественной литературой. Теперь он старался уединиться с книгой, чтобы без помехи наслаждаться ею.

Летом и осенью брат уходил в наш яблоневый сад, где в изобилии зрели вкусные коробовки и белый налив.

В саду были у Вестеньки любимые места, особенно за кустами орешника, под сенью развесистой березы, где стоял стол со скамейкой. Здесь Вестенька просиживал за книгой часами.

Особенно любил он теплым летним вечером взобраться на самый высокий и толстый столб забора на границе сада. Отсюда открывалась панорама садов, освещенных вечерним солнцем. Нравился брату могучий дуб, в три обхвата, в саду Масленниковых. Вестеньке чудились под ним богатыри, ученый кот на золотой цепи.

Иногда Вестенька залезал по сучьям на самую вершину высоченной березы, что росла в конце сада. Видно отсюда далеко: налево — лента реки Мологи, вдали виднелась церковь села Любодицы, прямо — деревня Старое, направо — «Штаб», мост через Мологу, дальше — город.

Тонкая вершина березы покачивалась, было страшно,

немного замирало сердце. Старшие не знали об этих его упражнениях.

Уединение нарушалось появлением друзей-приятелей.

Посидеть на столбе забора нередко приходил сосед Коля Масленников. Начинались разговоры, иногда принимавшие фантастический характер. Однажды Коля рассказал Вестеньке, будто бы он у себя в саду открыл большую чудесную пещеру, в которой видел всякие чудеса.

Вестенька был поражен и упрашивал показать ему пещеру. Коля обещал, но откладывал под всякими предлогами. Вестенька рассказал о пещере бабушке, и она с трудом убедила внука, что это вымысел.

Вестенька был большой охотник клеить и запускать бумажные змеи. Искусно сделанный змей, с украшениями, с трещоткой, на крепких суровых нитках, данных бабушкой, взвивался к небу, как живой, ходил в поднебесье из стороны в сторону, взлетал вверх, снижался. По нитке посылали письмо,— картина получалась красивая, вызывала много переживаний, волнений. Но вот ужас — нитка оборвалась. Подхваченный ветром змей с нитками улетает в неведомую даль. Вестенька с друзьями мчится с криком вслед. Змей испорчен, половина ниток пропала.

Часто ребята собирались у нашего дома, начинались игры — в лапту, в лунки, в рюхи. Переулок против нашего дома и сада был ровный, широкий, очень удобный для всяких игр. Вестенька особенно любил лапту. Мяч от его ударов летел далеко; в быстроте и ловкости бега брат не уступал лучшим игрокам. Особенно интересной получалась игра, когда приходили квартирующие поблизости ученики духовного училища — крепкие, ловкие, великовозрастные. Среди них находились умные, культурные ребята, любители почитать хорошую книжку. С некоторыми из них Вестенька крепко дружил.

Иногда в теплые погожие дни Вестенька с приятелями отправлялись на прогулку в рощу Жохово или на Остречину, на «вторую глинку»[1], купаться, а то и с корзинкой — в Жохово по грибы.

Увлечение чтением художественной литературы вскоре сказалось на школьных занятиях брата.

В училище, с третьего курса, на уроках русского языка ученики писали изложения прочитанных рассказов.

---

[1] Так назывался в Бежецке речной пляж.

Вестенька очень удачно писал эти упражнения, получая хорошие отметки.

На уроках литературы учителя нередко мастерски читали лучшие произведения Гоголя, Помяловского. Эти чтения еще больше укрепляли любовь к литературе у Вестеньки.

На пятом и шестом курсах ученики уже писали сочинения на задаваемые темы.

Преподаватель словесности Арсений Петрович Павлов высоко оценивал Вестенькины работы. Он ставил его в пример другим ученикам и иногда читал классу отрывки из его наиболее удачных сочинений.

Одно из сочинений Вестеньки заслужило особо высокую оценку Арсения Петровича. Однажды ученикам пятого курса дана была тема: утро в деревне. Вестенька много раз наблюдал утро в Дуброве, отправляясь с ребятами в бор за грибами. Об этом он и написал. На следующем уроке словесности Арсений Петрович прочитал классу написанный Вестенькой рассказ и предложил отгадать автора. Ученикам рассказ очень понравился, но они и не подумали, что это написано их товарищем; когда же узнали, поздравляли Вестеньку, а по окончании урока качали всем классом. Арсений Петрович очень хвалил это сочинение и читал его учителям в учительской комнате. Вестеньке тогда было двенадцать лет. Он был высоким не по годам, стройным подростком, с красивым свежим лицом и добрыми умными глазами.

Успехи в сочинительстве породили у Вестеньки мысль написать что-нибудь из жизни деревни, и он принялся за дело. Первая повесть называлась «Бабушка и внучек». Арсений Петрович, которому повесть была показана, указал на ее слабые места и посоветовал написать что-нибудь новое.

Вестенька написал новую повесть — «Волчье логово», из разбойничьей жизни. Писал он с увлечением. Отрывки новой повести читал бабушке, матери. Автору повесть нравилась, и он, по-видимому, надеялся, что она будет напечатана. Наконец повесть была закончена. Это была общая тетрадь, толщиной около двух сантиметров, размером в четверть листа, исписанная красивым, четким почерком. Нам, малышам, Вестенька обещал подарить по рублю, когда получит гонорар. Судьба первого произведения брата мне неизвестна. Вестенька, кажется, отпра-

вил его в редакцию и ожидал ответа. После этой пробы брат долго не пытался писать.

В праздники рождества, пасхи, в дни именин отца и матери у нас собирались гости — родные, знакомые, соседи. Вестенька любил такие собрания и старался развлекать гостей пением и декламацией. Бабушка наряжала внука девушкой. Девушка являлась с парадного хода, выдавала себя за желающую поступить прислугой. Наряжался Вестенька так натурально, что даже матушка не сразу его узнавала.

Однажды брат нарядился молодцом от сапожника. Встретил его отец со свечой в руках, долго разговаривал, не узнавая. Когда матушка сказала, что это Вестенька, отец не сразу поверил, а потом очень рассердился.

Вестенька неоднократно устраивал спектакли, зрителями которых были все домашние. Он наряжался самым разнообразным способом, гримировался, наклеивал бороду, усы. Спектакли Вестенька почти всегда ставил сам. Чаще всего он изображал несчастного старика, старуху, потерявших внуков и детей. Иногда изображал попа, монахов и т. д. Рассказывал трогательные истории. Случалось, плакал,— тогда и зрители плакали. Мы, ребята, плохо усваивали содержание пьесы, но представления нам очень нравились.

Спектакли были платные, выручка от них уходила на покупку книг для библиотеки Вестеньки, в которой уже насчитывалось около сотни томов.

Вестенька издавал также еженедельный журнал — тетрадочку из двух-трех листочков, в восьмушку листа. В журнале помещались стихи, рассказы, сказки, иногда сочиненные самим издателем. Нам, ребятам, нравились в журнале картинки, которые Вестенька рисовал очень выразительно: избушка в лесу, речка, дорога, изгородь с воротами, коровы, лошади, овцы, детские головки, фигуры людей. Подписчиками были мы (трое ребят, малыши), иногда товарищи Вестеньки. Номер стоил две-три копейки, для мамаши дороже — копеек десять-двадцать. Деньги, вырученные от выпуска журналов, расходовались на покупку книжек, вареных груш, пышек, мороженого. Чтение книг, издание журнала, писание маленьких рассказов было теперь любимым занятием Вестеньки. Зато физическим трудом он не любил заниматься, я ни разу не видал, чтобы Вестенька мастерил что-нибудь

с ножом, топором или молотком в руках, как обычно дети в возрасте одиннадцати-двенадцати лет.

Отец наш был большим любителем природы и записным охотником.

С Петрова дня и до Воздвижения он часто ходил на охоту, оставляя все свои дела. Вестенька, одиннадцати-двенадцатилетним мальцом, часто сопутствовал отцу. В день охоты отец и Вестенька вставали рано, до восхода солнца. Попив чаю, забрав с собой ружье, продукты и чайник, они с собакой Пернатом отправлялись в путь, когда город еще спал. Дорогу в шесть-семь верст проходили быстро.

Вестенька очень любил такие путешествия и был неутомим. С радостью он встречал восход солнца в полях или в лесу. По дороге отец рассказывал интересные случаи из охотничьей жизни. Особенно нравился Вестеньке рассказ об охоте на медведя, которого отец убил в Моркиных горах на облаве в компании офицеров. Рассказывал отец и про известных местных охотников — Петра Хонисевского, Василия Жаринова и других, с которыми Вестенька впоследствии познакомился.

Воспоминания об этих походах сохранились у брата на всю жизнь, он с увлечением рассказывал о них, будучи уже пожилым.

Между тем на семью нашу неодолимо надвигалась катастрофа. Первоначально дела нашего отца шли хорошо и его торговля расширялась. Отец пользовался неограниченным кредитом у своего бывшего петербургского хозяина, в лавке постоянно было много хороших товаров. В торговле отец не допускал обмана, и потому покупателей постоянно было достаточно. Крестьяне любили отца за честность, добродушие и за веселый нрав. Позднее, когда Вестенька учился на втором и третьем курсе городского училища, отец стал меньше заниматься торговым делом, его заменяла в лавке матушка. В это время в городе были расквартированы войсковые части. Отец завел дружбу с офицерами, сильно покучивал с ними, устраивал обеды для офицеров у себя, ездил с ними на охоту,— и так вконец запустил торговые дела. Матушка не справлялась с делом, приказчики расхищали товары. Петербургские купцы, узнав о непорядках в торговле отца, прекратили отпуск товаров в кредит и потребовали оплаты долгов за отпущенные товары. Отец распродал

остатки товаров, полностью рассчитался с кредиторами и торговлю закрыл. Приказчики и кухарка были уволены, «молодецкая» опустела. Позднее отец стал работать приказчиком у купца Смирнова. Матушка сама взялась за хозяйство, бабушка ей помогала. Однако дела шли все хуже, были проданы золотые вещи матушки, драгоценные украшения и все, что можно продать. Продали даже так называемую новую кладовую, на снос. Наступила настоящая бедность, временами матушке нечем было накормить ребят.

Отец и мать очень тяжело переносили этот перелом. Мать часто плакала. Однако отец продолжал выпивать. Только в 1898 году преодолел он эту страсть и уж до самой смерти не пил вина.

Поддержкой в это время была лишь небольшая арендная плата за помещение лавки, в которой стал торговать другой купец.

Катастрофа эта произошла в последний год учебы Вестеньки в городском училище.

В 1887 году, тринадцати лет от роду, Вестенька окончил курс, отлично сдав все экзамены и получив высшую награду — похвальный лист и книгу.

По окончании городского училища Вестеньку решено было устроить в Вышневолоцкое техническое училище с трехгодичным курсом обучения. Училище считалось средним специальным. В нем изучали арифметику, геометрию, физику, механику, топографию, черчение строительное и геодезическое, инженерное и строительное дело, составление смет, межевые законы, проектирование гражданских и гидротехнических сооружений, также обучались в мастерских столярному, кузнечному и слесарному делу. Выпускало оно хорошо подготовленных техников по водным и шоссейным путям.

Вестенька отлично сдал конкурсные вступительные экзамены и был принят в училище в августе 1887 года. Родители не могли содержать Вестеньку в училище, и учиться он смог лишь благодаря получаемой стипендии и общежитию.

В техническом училище Вестенька также был одним из лучших учеников.

В сентябре того года брату исполнилось четырнадцать лет.

Благодаря своему уживчивому, мягкому характеру,

доброте, выдержке, природной деликатности и веселому нраву Вестенька быстро заслужил любовь и расположение всех товарищей. Преподаватели также вскоре его заметили и оценили как одного из лучших учеников. Особенно расположен был к Вестеньке начальник училища, всеми уважаемый инженер Сергей Ананьевич Шереметинский. Очень полюбил его и смотритель общежития — Алексей Алексеевич Опекаловский.

В училище долго помнили брата. Позднее, когда я учился в этом же училище, преподаватели, и особенно начальник училища инженер Шереметинский и Опекаловский, вспоминали Вячеслава, отзывались о нем как о человеке высоких достоинств. Шереметинский говорил мне: «Прекрасный, редких способностей человек, с хорошим, добрым сердцем, такие редко встречаются в жизни, старайся походить на брата».

Программа училища была очень обширна, и, чтобы усвоить ее в три учебных года, приходилось заниматься усиленно и напряженно.

Занятия начинались в восемь часов утра, продолжались до часу дня, а после полуторачасового перерыва до шести часов вечера работали в мастерских или в чертежной. На дом также задавалось много уроков. Дисциплина в училище была на военный лад, строгая. В общежитии кормили просто, но сытно.

Редкие свободные часы брат отдавал чтению хороших книг, прогулкам, катанию на коньках, любил также петь — с товарищами и один. Часто помогал однокурсникам в подготовке уроков.

Трехгодичная учеба в техническом училище оставила у брата самые лучшие воспоминания.

Наш дом с отъездом Вестеньки в Вышний Волочок как-то опустел. Бабушка и мамашенька скучали, не слышно было шуток и смеха любимого сына. Отец также ходил невеселый. Утешением родителям и бабушке были частые хорошие письма от Вестеньки, в которых он сообщал о своих успехах в учебе.

Зато как радовались мы его приезду домой на рождество, пасху и летние каникулы!

Мамашенька, невзирая на нужду, старалась приготовить своему любимцу что-нибудь особенно вкусное.

В день приезда отец, радостный, отправлялся на стан-

цию встречать сына. Со станции за четвертак отец и гость приезжали на извозчике.

Встречали Вестеньку с радостными слезами. С его приездом дом наш оживал. Велись оживленные разговоры, все расспрашивали Вестеньку об учебе, снова слышались шутки.

Вестенька без устали рассказывал о жизни в Вышнем Волочке.

В первый же приезд он решил подготовить к празднику концерт. Певцами были сам Вестенька и мы, малыши: брат Дмитрий, я и сестра Маня.

Все мы любили петь, имели хорошие голоса. Обучение велось настойчиво, требовательно, в результате получился приличный хор. Когда к нам собирались гости, после закуски и чаепития мы давали концерт. Три сопрано и свежий красивый бас звучали хорошо. Вестенька исполнял и сольные номера. Гости, чрезвычайно довольные, дружно нам аплодировали и благодарили. Вестенька был удовлетворен.

Мамашеньку и бабушку брат подробно расспрашивал о нашем житье-бытье, утешал, обещая помогать семье, как только окончит учебу. Матушка верила и с надеждой смотрела на любимого сына. Она не ошиблась: Вестенька с самого начала своей самостоятельной жизни помогал родителям до последних их дней.

Нам Вестенька рассказывал об учебе, общежитии, училище. Рассказы были образны, увлекательны, и мы, затаив дыхание, слушали их. С отцом он также умел поговорить, утешить и ободрить.

Длинными зимними вечерами Вестенька читал для нас. Читать он любил и читал хорошо. Чтение обыкновенно начиналось за вечерним чаем. Стол устанавливался у теплой печки, собиралась вся семья. Такие литературные вечера всем нам очень нравились.

Мамашенька слушала и любовалась сыном.

Кончались каникулы, и Вестенька уезжал от нас. Провожали его со слезами. Вестенька старался утешить родных, обещал скоро приехать вновь.

Летние каникулы брат обыкновенно проводил в Дуброве. Но осенью этого года умерла его любимая бабушка Елизавета Даниловна, и связь с Дубровой оборвалась. Через два года умер и помещик Дмитрий Алексеевич Шишков, отец нашего батюшки. Вестенька несколько раз

навещал своего деда. Последний раз он был вызван дедом-помещиком в Дуброву, когда учился на третьем курсе технического училища.

К этому времени Вестенька возмужал, стал серьезным, совсем взрослым. По окончании курса в 1890 году он был направлен на двухлетнюю практику в Опеченский посад Боровичского уезда, на технический участок Вышневолоцкого отделения С.-Петербургского округа путей сообщения. Здесь брат участвовал в больших строительных работах по постройке трехпролетной каменной Березайской плотины. Работа производилась в тепляках всю зиму.

Вестенька впервые познакомился и сблизился с рабочими из крестьян.

Особенно он сдружился с молодежью — познакомился с ее бытом, читал вслух хорошие книги, охотно делился своими знаниями. Часто ходил брат в ближайшие деревни на посиделки, где принимал участие в танцах, пении, слушал и сам рассказывал сказки и разные истории.

Здесь Вестенька завел записную книжку, куда заносил услышанные в среде рабочих образные выражения и слова. Этим он занимался постоянно. Часто писал письма домой. Из первой же получки отправил родителям обещанную денежную помощь.

В Опеченском посаде Вестенька жил около двух лет.

На техническом участке брат зарекомендовал себя хорошим работником. Начальник участка, инженер Витте, ценил и берег его.

Из Опеченского посада Вестенька перевелся в Вологду, в Вычегодский округ путей сообщения, где прожил около года. Здесь у него появилась мысль поехать в Сибирь. Намерение это осуществилось. В 1893 году он с товарищем Федором Коцем отправился в город Томск, в Томский округ путей сообщения. В то время от Омска до Томска железной дороги не было, ехали на лошадях по Великому сибирскому тракту.

Перед отъездом в Сибирь Вестенька заехал к нам в Бежецк. Почти два года мы не видались с ним. Он был уже вполне взрослым человеком, ему было около двадцати лет. Приехал он зимой в дорожной овчинной шубе, крытой сукном, в меховой шапке. В этот приезд Вестенька уже не был таким веселым и беззаботным, как раньше. По-видимому, расставаться с родными было тяжело.

Вестенька прожил у нас больше двух недель. Матушка и отец грустили, отпуская любимого сына в далекую, неведомую Сибирь. Вестенька утешал нас как умел — говорил, что в Сибири скоро будет закончена постройка железной дороги и сообщение будет хорошее, что Томск большой университетский город, что жалованья там он будет получать много больше и помогать будет больше.

В Бежецке Вестенька познакомился с дочерьми богатого купца-краснорядца Сергея Лукьяновича Смирнова — Марией и Елизаветой, уже не очень молодыми, но красивыми девицами.

Часто они проводили вечера в нашем доме. Вестенька им, по-видимому, нравился.

Впервые в нашей семье повелись разговоры о женитьбе брата. Матушке нравилась младшая Смирнова — Лиза. Как-то она расхвалила Лизу, Вестенька коротко объявил, что пока жениться не собирается. На том и кончились разговоры о его женитьбе.

Провожали в дальний путь Вестеньку со слезами, зная, что любимый сын и брат уезжает далеко и что расстаемся с ним надолго.

Жизнь в Томске понравилась брату, домой он писал жизнерадостные письма. Материальная помощь от него значительно увеличилась, что было весьма кстати.

На втором году жизни в Томске Вестенька женился на учительнице народной школы — Ашловой Анне Ивановне. Женитьба была, очевидно, по любви, однако брак этот оказался неудачным.

В 1898 году брат с женой, по совету врачей, около двух месяцев прожили в приуральских степях, на кумысе, откуда заехали и на родину, к родителям.

Вестенька, несмотря на лечение, имел не очень здоровый вид и был не такой жизнерадостный, как раньше. Жена Вячеслава не очень понравилась родителям; матушка находила, что она мало заботится о муже.

Пробыли они у нас около двух недель и отправились в обратный путь, в Томск. Я в этом году не смог поступить в Вышневолоцкое техническое училище и уехал с братом в Томск.

В Томске мы поселились в большом деревянном доме на Миллионной улице. Вестенька с утра до вечера работал в управлении. Семейная жизнь его не налаживалась, и вскоре брат и Анна Ивановна разошлись. Мы остались

вдвоем с Вестенькой. Изредка к нам приезжал с зимовки брат Митя, посланный в Томский округ путей сообщения на практику после окончания Вышневолоцкого технического училища.

Вестенька после ухода Анны Ивановны казался более спокойным. Вечерами он много читал, иногда рисовал.

Писательством в этот период он не занимался. Часто по воскресеньям и праздникам мы с Вестенькой и Митей с утра отправлялись на прогулку по городу.

Путь наш к центру пролегал мимо Троицкой церкви, в которой колокол весил с лишком тысячу пудов. Мы с удовольствием слушали могучую чистую его октаву,— земля под ногами дрожала. Вестенька рассказывал нам про бежецкий соборный колокол. Историю Царь-колокола мы слушали с интересом и удивлялись осведомленности брата.

В центральной части города нам нравилось оживление, большое движение народа. Прохожие наряжены в шубы, в теплые шапки. Привлекали внимание красивые каменные дома, богатые магазины, большое каменное здание универмага Второва. Мы заходили в магазин не для покупок, а чтобы полюбоваться богатством и обилием товаров.

Любуясь бойкой торговлей в ларьках по реке Ушайке, торговлей лоточников, пышечниц, Вестенька рассказывал нам интересные и смешные истории о том, как торгаши обманывают доверчивых покупателей, как они богатеют, как мальчишки таскают у торговок пышки и пирожки. Рассказы были очень живые и интересные, так что мы забывали и о морозе. Заходили и на центральный базар на берегу Томи.

Вся площадь была заставлена санями со всякими продуктами. Нас удивляло изобилие снеди: масла, рыбы, дичи, битых рябчиков, тетеревов, зайцев.

Между санями полно сибиряков, много «инородцев». Вестенька любуется бушующей здесь жизнью. Он рассказывает нам о зажиточности сибирских крестьян, об удивительной выносливости и быстроте сибирских лошадей.

Вот ряд саней с овсом и другим зерном. Брат рассказывает о томском богатыре, на спор унесшем на себе полный воз овса, и многое другое об этом богатыре.

Ходили мы и в отдаленную часть города, где стояли университет, технологический институт, собор с красивым сквером. Вестенька подолгу любовался этими большими зданиями и рассказывал истории их строительства.

Историю Томска он знал основательно.

Гуляли мы подолгу, особенно в погожие теплые дни.

В Томске в эту зиму имелся драматический театр с хорошей труппой. Театр Вестенька любил. Мы часто ходили на спектакли и, забравшись на галерку, с увлечением смотрели на сцену. Сильно переживали мы драмы и от души смеялись на водевилях.

Домой возвращались пешком, полные впечатлений от виденного в театре.

В Томск приезжали на гастроли хор Славянского и хор Карагеоргиевича, славившиеся тогда по всей России. Мы с Вестенькой бывали на этих концертах. Нам особенно понравился хор Славянского, о котором много хорошего в свое время рассказывал отец. Сам Славянский, уже старик, в богатом боярском наряде запевал былину «Благословите, братцы, старику сказать стародавнюю». Это сказание Вестенька любил и после удачно исполнял его, как и другие песни, быстро запоминая мотивы и слова.

Нередко к нам приходили приятели Вячеслава, сослуживцы с семьями, в том числе Ласунский и Щетинин, также окончившие Вышневолоцкое техническое училище.

Приходили к Вестеньке и молодые люди из рабочих, в пиджаках, в русских сапогах, подолгу беседовали с ним,— это были участники рабочих кружков. Особенно часто жаловал к нам молодой человек с эспаньолкой, обладатель приятного тенора. Он пел много хороших песен, в том числе и запрещенных. Пел с ним и Вестенька. Иногда Вестенька с молодыми рабочими куда-то уходил.

Всю эту зиму брат работал в Управлении Томского округа путей сообщения и не отлучался из города. Со второй половины зимы он начал готовиться к экзаменам на звание техника путей сообщения. Занимался брат очень усердно и посвящал этим занятиям все свободное время. По стенам он развесил четко написанные формулы по химии и механике с тем, чтобы лучше их запомнить.

Экзамены Вестенька выдержал очень хорошо, первым из всех экзаменующихся.

Зима прошла быстро, сорокаградусные морозы пре-

кратились, наступила весна, снег стаял, начиналось половодье. Однажды утром мы увидели, что наша улица залита водой, люди плавали по улице на лодках, а некоторые смельчаки пробирались по плавающим дощатым тротуарам.

Из окон нашего второго этажа картина наводнения была видна на далекое расстояние. Мы долго глядели из окна, а Вестенька рассказывал, как наблюдал половодье в Бежецке на Мологе и Остречине.

Мы пробрались в город и на Томь. Большую судоходную реку перерезала ледяная плотина. Ледяные горы нагромождены были поперек всей реки и ниже города, где Томь делала поворот и в нее вдавался песчаный мыс. Дом, стоявший на мысу, был закрыт льдинами. Плывущий по реке густой лед увеличивал зажор.

Громадные ледяные глыбы метровой толщины с шумом и треском надвигались на зажор, Томь затопила прибрежную часть города.

Вестенька долго любовался величественной картиной, но в то же время тревожно говорил, что зажор следует взорвать, иначе он может стать причиной большого бедствия для города.

Мы направились в центр города на реку Ушайку, по берегам которой стояли ряды деревянных торговых ларьков. Здесь мы увидали картину полного разрушения. Уцелели немногие ларьки, большая их часть была опрокинута водой. Владельцы ларьков с лодок и плотиков спасали свой товар, но это плохо им удавалось. Торговки ходили по берегу с причитаниями и плачем. Вестенька старался помочь им, но ничего не получалось. Мы снова вышли на берег Томи. По реке быстро плыл густой лед. Льдины, кружась, ударялись одна о другую, налезали друг на друга. Слышался шум, треск... На берегу стояло много народу. Здесь мы наблюдали занимательную картину.

Посередине реки, среди льда, плыла небольшая новая барка, очевидно унесенная с зимовки. На берегу стояла группа людей, они волновались, кричали, суетились. На лошади привезли веревки, снасти, багры. Несколько человек спустилось к воде. Один из них, опоясавшись веревкой, с багром в руках, выскочил из лодки на плывущую льдину, с этой — на вторую, третью. Так по несущимся льдинам он добрался до судна, зачалил его ве-

ревкой и благополучно вернулся обратно. Судно было спасено.

Встретили его восторженно, тут же появилась водка. Вестенька не отходил от группы, любовался спасителем, слушал разговоры. Видно, он сильно переживал происходящее. Впоследствии Вестенька часто вспоминал этот случай, называл спасителя героем, уверял, что таким героем может быть только сибиряк.

Дома он записал свои впечатления в записную книжку. В тот вечер зажор на реке прорвало, и вода быстро ушла из города.

С открытием навигации мы с Вестенькой часто ходили на берег Томи, к пристани, любовались приходящими и отплывающими от пристани красавцами пароходами. Они были большие, двухэтажные, свежеокрашенные. Уходя, пароходы прощались с городом продолжительными гудками. Нам нравились нарядные матерые капитаны и ладные крепыши-матросы.

Особенно любил Вестенька глядеть, как темным вечером блиставший множеством огней пароход, скользя по невидимой глади реки, подходил к пристани. Томь у города очень широкая — больше километра, красивая. Вестенька мечтал — хорошо бы плыть вот на таком пароходе по широкой реке куда-нибудь далеко-далеко и потом описать это путешествие. У пристани Вестенька засиживался, мне приходилось напоминать ему о позднем времени.

Неоднократно мы с Вестенькой ходили в ближний лес слушать соловьев и подолгу здесь гуляли. Вестенька много рассказывал о сибирских лесах, о тайге, обещал свезти нас в таежную деревню. И однажды мы втроем — Вестенька, Митя и я — ездили в таежную деревню, верст за двадцать пять от Томска.

Там целый день провели в кедровом лесу. Кедровник — темно-зеленый, раскидистый, очень красивый, в нем много бурундуков; как белки, весело прыгают они по веткам кедра. Мы долго любовались их возней.

Километрах в четырех от деревни начинались настоящие таежные леса, идущие без конца вдаль. Мы зашли в лес. Вековые ели, пихты, лиственницы, мелкая поросль — трудно проходимый лес. На нас налетели тучи комаров. Мы поскорее ушли. Без привычки страшно в таком лесу.

Вестенька и я съездили на небольшом служебном па-

роходе «Тобол» Томского округа путей сообщения на зимовку, к Мите в гости. Около трех часов мы плыли тридцать пять верст по Томи. Томь — широкая, многоводная река, с лесистыми берегами. День был погожий, и поездка оказалась очень приятной. За версту от зимовки пароход вошел в узкую протоку, похожую на искусственный канал.

Поселок зимовки находился на высоком берегу протоки, состоял из двух-трех домов и ремонтной мастерской. Кругом тайга. Втроем мы пошли в лес, но опять принуждены были бежать из-за комаров. На зимовке мы познакомились с командиром путейского пароходства «Первенец Сибири», с его помощником и другими работниками-путейцами. Вечер провели в разговорах, не мало слышали интересного из жизни командиров пароходов.

Вестенька многое записал в этот раз в свою записную книжку и сфотографировал несколько красивых мест.

В Томске я прожил с Вестенькой до августа. Этот год жизни и сейчас вспоминаю с удовольствием.

Вестенька жил скромно, не допуская никаких излишеств. Вина в нашем быту никогда не было, даже в праздники. Брат не курил, деньги берег. Ежемесячно отсылал родителям порядочную сумму денег из своего заработка, часто писал им пространные письма. Письма от родителей читал нам с радостью. Вечера мы проводили большей частью дома. Вестенька много читал.

Из Томска я уезжал в начале августа, чтобы поступить в Вышневолоцкое техническое училище. Уезжать мне очень не хотелось, я сильно привязался к Вестеньке. Он проводил меня на станцию, и я простился с ним на этот раз надолго. Встречались мы впоследствии с Вестенькой редко, когда он приезжал домой и заезжал ко мне. Зато писал он мне часто.

Первая наша встреча после Томска состоялась только через семь лет, в 1906 году в городе Шлиссельбурге, где я жил после окончания Вышневолоцкого технического училища. Я уже был женат.

Вестенька, вместе с братом Дмитрием побывав у родителей в Бежецке, заехал ко мне проездом на Кавказ.

Встреча была очень радостная. Вестенька выглядел превосходно и был весел. Пробыли братья у нас лишь два дня, так как торопились на Кавказ. Вестенька много рассказывал о жизни в Томске, о своих изыскательских ра-

ботах на Обь-Енисейском канале, на реке Чулыме, о встречах с тунгусами, показывал фотографии из жизни изыскательской партии.

Рассказы эти были интересны и содержательны. Заметно было, что на изысканиях он получил много сильных впечатлений. С радостью поведал он мне о том, как хорошо и трезво живет теперь отец.

О намерении же Вестеньки заняться писательством разговоров не было.

От Вестеньки я часто получал письма из Томска. Он продолжал летом работать начальником изыскательской партии, а зимой в управлении округа в Томске, по оформлению изысканий и проектированию.

Впервые в 1908 году Вестенька прислал мне вырезку из томской газеты «Сибирская жизнь», в которой была напечатана его статья о двадцатипятилетнем юбилее учителя гимназии Вяткина, под заголовком «Кедр». В письме брат писал, что «Кедр» понравился всем его знакомым. Это удачное выступление в печати породило в нем большое желание написать еще что-нибудь, и он начал рассказ из сибирской жизни.

Велика была наша радость, когда в июле 1909 года мы получили от Вестеньки два номера томского журнала «Молодая Сибирь» с его рассказом «Бабушка потерялась». В письме Вестенька сообщал, что редакция журнала сочла его рассказ очень удачным и поместила в книжках журнала на первом месте, что он теперь все свободное время отдает писательству и пишет новые рассказы. Письма Вестеньки становились все радостнее,— он убедился, что нашел свое настоящее призвание. Почти все свои новые произведения Вестенька присылал мне.

Навестив родителей в 1912 году, Вестенька решил перестроить наш, уже довольно ветхий дом. В этом сказалась его забота о престарелых родителях. В том же году удобный новый дом был построен, на что Вестенька истратил все свои сбережения.

В 1913 году захворала и умерла наша любимая мамашенька, в Петербурге, в клинике Вилье, куда она была, по настоянию Вестеньки, помещена на излечение. Для брата это событие было тяжелым ударом, как и для всех нас.

Успехи на литературном поприще породили у Вестеньки мысль перебраться на жительство в Петроград, в

центр литературной жизни страны. В 1915 году он навсегда простился с Томском и перевелся в Петроград, в Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог. Здесь он закончил оформление своих последних изысканий на Алтае и занимался проектированием трассы Чуйского тракта.

В течение 1916—1918 годов Вестенька неоднократно навещал отца и сестру в Бежецке, усиленно помогал им материально и поддерживал морально. Я в это время жил в Вышнем Волочке и у брата Вячеслава был всего два раза, причем обе встречи с ним были очень кратки. В первый раз я навестил его в 1915 году в квартире на Троицкой улице. Жил он здесь один. Был бодрый, веселый, охотно рассказывал о своих литературных делах. Работал он, по-видимому, много и успешно. Особенно доволен был вышедшей повестью «Тайга». Говорил, что предполагает написать большой роман из жизни золотопромышленников — «Угрюм-река». Рассказывал его примерное содержание.

Во второй раз я был у брата, кажется, в 1916 году. Он был тогда женат на Ксении Михайловне Жихаревой. Жили они в большой квартире в доме № 18 по Караванной улице.

Я пришел к обеду. За столом сидел отец Ксении Михайловны и несколько человек знакомых. Вечером кто-то из молодых начинающих писателей, не помню, кто именно, принес брату для просмотра свое новое произведение. Очевидно, Вячеслав занимал уже прочное место в среде писателей. Брат познакомил меня с литературными своими делами. Показал, между прочим, письмо отца, в котором он описывал случай, как один крестьянин нашел на Остожье только что родившегося лосенка, надел на него полушубок, подвязал кушаком и уложил на дровни; но, пока крестьянин рубил дрова, лосенок убежал вместе с полушубком. Этот случай послужил канвой для рассказа «Лесной житель», написанного потом братом. В этот приезд я видел брата в хорошем настроении, полного сил и больших литературных замыслов.

Однако и второй брак Вестеньки оказался неудачным. Ксения Михайловна была женщина образованная, известная в литературных кругах как хорошая переводчица. Она быстро разглядела и оценила творческие способности брата и всемерно старалась ему помочь. Впрочем, под

непосредственным руководством Горького Вестенька настолько быстро становился самостоятельным в своем творчестве, что литературное влияние Жихаревой все больше и больше ослабевало...

Разрыв с Ксенией Михайловной явился большой неожиданностью для брата, он мучительно переживал его. Полное семейное счастье брат нашел уже в пожилом возрасте в браке с Клавдией Михайловной Шведовой; это было настоящее счастье, сопровождавшее его до последнего дня жизни.

В 1921 году умер наш отец Яков Дмитриевич. На похороны собралось все молодое поколение Шишковых, кроме брата Мити, который жил в Томске и не смог приехать. Очень давно в таком составе мы не собирались в родном доме. Смерть отца для нас была большим горем. Все мы, и особенно Вестенька, отца очень любили. Хорошими своими письмами он ободрял, поддерживал и както связывал всю нашу большую семью. Наш дом, когдато полный жизни и молодого веселья, теперь как-то опустел и затих. Долго мы говорили об устройстве дальнейшей жизни наших сестер, которые все время жили с отцом. Сестрам Вестенька передал дом, но при этом заметил, что продавать его не следует, так как, быть может, и кому-либо из братьев позднее придется вернуться в родной дом.

На следующий день брат долго рассказывал нам о себе, о знакомствах с писателями, о своих новых произведениях, о большом романе «Угрюм-река», который он давно начал, и о многом другом. Вестенька был теперь старшим в семье. Он относился к нам как-то особенно любовно и всячески старался всех утешить и подбодрить.

Прощаясь перед отъездом, брат просил писать ему почаще, сестрам обещал помощь. Впоследствии Вестенька приезжал в Бежецк несколько раз.

Неоднократно приезжал брат и ко мне, в Вышний Волочок. Он по-отечески относился ко всей моей семье, любил моего сына Митю — охотника писать стихи и рисовать. Ребят Вестенька вообще любил. Гостил он у нас по нескольку дней.

В 1927 году брат приезжал ко мне два раза, в первый раз — в начале лета. Несмотря на свои пятьдесят четыре года, он был бодрый, здоровый, красивый и моложавый.

Во второй раз брат приехал в августе с Клавдией

Михайловной Шведовой, сразу после свадьбы. Вячеслав выглядел счастливым человеком. От нас они уехали в Москву, предполагали продолжить свадебное путешествие — поехать в Бежецк, в другие города и затем на Кавказ.

В тридцатых годах довелось мне побывать несколько раз у брата в городе Пушкине. Жил он здесь большой семьей, с родителями Клавочки — Раисой Яковлевной (бывшей Раей Стукачевой, нашей двоюродной сестрой) и Михаилом Ивановичем Шведовым. Семья была очень дружная, гостеприимная. Вестенька был счастлив, бодр и весел. Он водил меня гулять в дворцовый парк, обычно в дальнюю его часть, где парк походил на дубровский лес; показывал великолепные царские дворцы, с особенной любовью пушкинские места и восхитительный памятник Пушкину-лицеисту. Вестенька пользовался большой известностью и авторитетом в литературной среде. Впрочем, у него бывали не только писатели, но и композиторы, художники и артисты. Особенно дружил он с А. Н. Толстым.

Смерть брата была неожиданной и ошеломила нас. Еще в феврале 1945 года мы получили от него письмо, в котором он ободрял нас и уверенно предсказывал полную победу над врагом, писал о намерении после окончания «Емельяна Пугачева» взяться за изучение эпохи Ивана Грозного.

Невозможно было поверить, что не стало дорогого брата, не стало любимого Вестеньки.

Утрата для нас незаменимая.

Всех, знавших брата, прежде всего привлекала его страстная любовь к жизни и на редкость доброе, участливое отношение к людям.

Я упоминал уже, как трогательно он заботился о родителях. До конца жизни он материально поддерживал сестру Марию; после смерти брата Дмитрия помогал его вдове; во время моей тяжелой болезни не жалел средств, чтобы поставить меня на ноги. Но дело не только в щедрой материальной поддержке,— Вестенька глубоко переживал с нами и все наши радости, и все наши горести. Когда от несчастного случая погиб мой любимый сын, молодой архитектор, Вестенька горевал не меньше, чем я с женой. Его участливость и ласка во многом смягчили наше горе.

Доброта и человечность брата не замыкались в узком семейном кругу. Он по натуре был общительным, и обе профессии сталкивали его с огромным числом людей. Брата очень любили сибиряки-рабочие, с которыми он прокладывал пути в тайге, любили и писатели; среди них многие обязаны ему дружеской помощью в начале творческого пути; любили его читатели — рабочие, крестьяне, солдаты, студенты. К нему доверчиво обращались за советом, и сколько историй жизни, сколько душевных исповедей довелось ему услышать! Брат хорошо знал русских людей и беззаветно верил в славное будущее своего народа и своей страны.

Однако он вовсе не был благодушным добрячком. Он умел и страстно ненавидеть. Ненавидел он все враждебное народу. Особенно проявилось это во время Отечественной войны. Возмущали его и вредные пережитки прошлого в нашем сознании и в быту. Поскольку мог, он старался своими книгами бороться со всем этим злом.

Вестенька восторгался успехами социалистического строительства. Глубоко трогала брата забота партии и правительства, отметивших его литературные заслуги высокой наградой и в тяжелых обстоятельствах военного времени обеспечивших ему хорошие условия для работы.

Книги Вестеньки издаются огромными тиражами. Их читают миллионы читателей, их переводят на иностранные языки.

И я, вспоминая любимого брата, с отрадой думаю о том, что еще много поколений советских людей, уже при коммунизме, будут с благодарностью произносить имя Вячеслава Шишкова.

1946—1954

И. Хайсин

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

Мне посчастливилось в молодости довольно долго работать бок о бок с рядом талантливых писателей старой Сибири — Г. Н. Потаниным, В. Я. Шишковым, Г. А. Вяткиным, П. Л. Дравертом, И. И. Тачаловым и другими. Этот период занимает 1905—1915 годы.

Для того чтобы лучше понять и правильно оценить кипучую деятельность писателей тех далеких лет, необходимо ознакомиться в самых кратких чертах с общей обстановкой и условиями работы этих лет.

Писать, заниматься творческим трудом в этот мрачный отрезок времени было нелегко.

Если в знаменательные месяцы революции 1905 года в короткий промежуток времени после издания «знаменитого» манифеста 17 октября существовала какая-то возможность свободно писать, то эта краткая свобода вскоре же мученически умерла, и пришли длительные и тяжкие годы реакции.

Прогрессивные печатные органы стонали под тяжестью бесчисленных циркуляров «положений», «распоряжений». Сыпались на печатные органы кары: запрещения выхода, штрафы, предупреждения. Сплошь и рядом редакторам, подписавшим издание, грозила тюрьма. Нередко практиковалось запрещать материалы, набранные и предназначенные для помещения в очередном номере издания. Мятежный материал поспешно снимался, и издание выходило с большими белыми пятнами.

В Томске видное место занимала тогда большая прогрессивная газета «Сибирская жизнь». Эта газета была основана томским купцом П. И. Макушиным. Личность купца примечательна. Он на протяжении многих лет занимался довольно широкой просветительской деятельно-

стью, имел большой книжный магазин, библиотеку, издавал газету, построил и содержал на свои средства так называемый Томский вечерний университет. Этот подлинный рассадник просвещения в основном был призван обслуживать трудящийся люд, рабочих и служащих, занятых днем работой. Преподавательский состав был сильный: учителя местных гимназий, профессора университета и технологического института. Количество слушателей вечернего университета было значительным.

Газета «Сибирская жизнь» имела большое распространение, была влиятельна, к голосу ее прислушивались. В ней работали главным образом лучшие литературные силы Сибири.

Литературным органом Сибири, несомненно самым интересным, был журнал «Молодая Сибирь»,— объемистый ежемесячник, хорошо издаваемый. Составлялся он разнообразно и интересно — рассказы, очерки, стихи, критические статьи, обзоры общественной жизни Сибири. Основная тематика — Сибирь во всех проявлениях ее жизни.

Как в газете «Сибирская жизнь», так и в журнале «Молодая Сибирь» печатались Вяткин, Драверт, Тачалов, Гребенщиков, Шишков и многие другие литераторы Сибири. Близок к журналу и к газете был славный сибиряк Г. Н. Потанин. Кто из сибиряков, да и не только из сибиряков, не знал и не знает этого замечательного человека! Неутомимый путешественник, видный публицист, человек, беззаветно преданный интересам Сибири, ее культуре, быту, ученый археолог, эрудит, Потанин был ярким явлением в жизни Сибири.

Я его знал уже старым человеком, слабым, но горячо откликающимся на все живое, яркое, честное. Он был маленьким, с реденькой бородкой, до крайности подвижным. Обычно появлялся в сопровождении своей жены поэтессы Васильевой, женщины довольно крупной, и было забавно видеть эту пару, шествующую под руку по томским улицам.

Потанин интересовался литературной жизнью Сибири, лично знал всех ведущих литераторов, следил за их творчеством, читал произведения сибиряков и высказывал свои суждения, всегда меткие, острые и оригинальные.

Он посещал редакционные совещания в «Молодой Си-

бири», присутствовал на литературных вечерах, где читались новые вещи прозаиков и поэтов, нередко принимал гостей у себя.

Серьезным крестьянским писателем был Г. Д. Гребенщиков. Он писал исключительно рассказы и очерки на деревенские темы, хорошо знал деревню, мужика, и его правдивые рассказы представляли известную ценность.

Однако подлинную радость принес нам Вячеслав Яковлевич Шишков. Однажды редакция «Молодой Сибири» получила по почте рассказ «Бабушка потерялась». Рассказ был большой, он печатался в двух номерах журнала. Всех членов редколлегии рассказ приятно удивил изумительной свежестью, сочным, колоритным языком, хорошим знанием деревни. Редакционная коллегия заинтересовалась новым автором: «Кто это? Откуда он?»

После опубликования рассказа Вяч. Шишков был замечен публикой. Однако он не являлся в редакцию, и тогда его вызвали письмом. Пришел белокурый человек с маленькой бородкой, в форменной чиновничьей фуражке. Познакомились, сдружились, и Шишков вошел в тесную семью сибирских писателей.

Иногда Шишков, закончив новую вещь, приглашал писательскую братию к себе домой.

В. Я. Шишков был женатым человеком, занимал небольшую уютную квартиру, и все мы охотно его посещали. Прежде всего было истинным удовольствием слушать веселые рассказы Шишкова в его передаче. Нужно сказать, что Шишков прекрасно читал. Он как никто умел оттенять юмор своих курьезных «шутейных» рассказов, заставляя слушателей хохотать до упаду, оставаясь сам в то же время предельно серьезным. Слушатели покатывались от смеха, и когда смех особенно разрастался, Шишков прерывал чтение и терпеливо ждал тишины. Все вечера у талантливого писателя заканчивались пельменями.

Вячеслав Яковлевич всегда прежде всего читал, а уж после чтения жена его приглашала гостей в столовую к дымящейся миске с горой пельменей. Шишков обычно до ужина обращался к жене и говорил ей, чтобы она подождала с пельменями, пока он закончит чтение рассказа.

— Знаю я их,— говорил Шишков,— ежели накормить

их, разбойников, до чтения, они непременно уйдут и рассказ слушать не станут. Знаю я их, анафем!

Его уморительные рассказы в прекрасном авторском исполнении доставляли нам радость, и вечера с его участием мы старались не пропускать.

В. Я. Шишков часто уезжал в длительные экспедиции, в горы Алтая, в Якутию. В 1915 году он перебрался в Петроград и после появления повести «Тайга» прочно вошел в большую литературу.

1957

В. П. Петров

МОЙ СТАРШИЙ ДРУГ И УЧИТЕЛЬ

Познакомился я с Вячеславом Яковлевичем Шишковым в 1907 году в городе Томске.

Окончив теоретический курс в Вышневолоцком техническом училище, я приехал в Томск на обязательную строительную практику.

Вячеслав Яковлевич раньше окончил это же училище. Он был старше меня почти на пятнадцать лет. Следовательно, Вячеславу Яковлевичу при нашем знакомстве было около тридцати пяти лет, а мне — около двадцати.

И, несмотря на такую разницу в возрасте, мы скоро подружились.

Эта дружба с годами росла и крепла и продолжалась до последних дней жизни Вячеслава Яковлевича.

Бывая в разных концах Советского Союза, я писал В. Я. Шишкову. Он не оставлял без дружеского ответа ни одно мое письмо.

Я полюбил В. Я. Шишкова за его выдающийся ум, приветливость и отеческое ко мне отношение. Он как бы заменил мне родного отца, которого я лишился очень рано в детстве.

Совместная с В. Я. Шишковым работа на инженерном поприще была интересна, приятна и полезна.

В 1910, 1913 и 1914 годах я работал под начальством В. Я. Шишкова как его первый помощник в экспедициях по изысканиям рек Бии и Катуни и Чуйского тракта в горах Алтая.

Почти три года я провел вместе с Вячеславом Яковлевичем на изысканиях. Это время было лучшими годами моей молодости.

Вячеслав Яковлевич был менее всего моим начальником. Он прежде всего был для меня учителем, другом, товарищем.

В Томске я любил запросто заходить к Вячеславу Яковлевичу.

В квартире Шишкова собирались его друзья, приятели, сослуживцы. Часто бывали у него известные сибирские общественные деятели — Потанин и другие. Любила бывать у Вячеслава Яковлевича и молодежь. Вячеслав Яковлевич всегда был душою этого общества. После тяжелого трудового дня здесь каждый находил подлинно культурный отдых. За скромным ужином все с большим интересом слушали рассказы Вячеслава Яковлевича о его странствиях и приключениях. В его речах сквозил тонкий юмор, возбуждавший веселый смех. Однако не раз этот юмор сменялся негодованием на царивший тогда жандармский и полицейский произвол и административный гнет.

Когда дело доходило до песен, то Вячеслав Яковлевич запевал первый. Его красивый баритональный бас многим нравился.

Начинались танцы, и подчас Вячеслав Яковлевич пускался в пляс, хоть и довольно неуклюже.

Прошло много десятков лет с тех пор, но эти беседы и вечера я помню и теперь.

Работали мы с Вячеславом Яковлевичем в горах Алтая в тяжелых условиях. Временами у нас в экспедиции не было даже хлеба. Покупали живых баранов и свежевали их, а туши вешали на деревья, чтобы мясо дольше не портилось. На кострах варили для всех пшенную кашу, иногда я пек пирожки на этих кострах, приспособив для этого железные листы.

Жили мы в палатках. Днем жара доходила до тридцати градусов по Реомюру, а ночью вода замерзала в ведрах.

От ночного холода спасались в спальных мешках, предусмотрительно закупленных по поручению Вячеслава Яковлевича.

Но даже в этих условиях Вячеслав Яковлевич выкраивал время для прогулок участников экспедиции в деревни и на заимки крестьян-сибиряков и коренных алтайцев.

Мне хорошо запомнилась прогулка на заимку Глаголева — за первыми, редкостными в те времена сибирскими яблоками, за вкусным сибирским медом. Эта прогулка ярко описана Вячеславом Яковлевичем в правдивом,

но очень сжатом рассказе «На Бие». В нем, в частности, не было подробно описано наше возвращение в палатки, на плот экспедиции. Я хорошо помню, как я тащил на себе через плечо два ящика с вкуснейшим сотовым медом. Соты местами от тряски вскрылись и потекли. Мед струйками тек по моему костюму.

Вячеслав Яковлевич и другие участники прогулки дружески смеялись надо мною. Этот мед я все-таки привез в Томск, где и угощал им Вячеслава Яковлевича и других товарищей.

Вячеслав Яковлевич учил нас, молодых, культурному отношению к окружающим нас людям. Он не выносил вульгарного отношения к женщинам. С ними был всегда внимателен, любезен.

Вячеслав Яковлевич учил также бережному обращению с народным имуществом — геодезическим инструментом, палатками, таборным снаряжением.

Вячеслав Яковлевич был требовательный, строгий, но справедливый начальник. Пьяниц он не выносил и быстро с ними расставался. Техники и рабочие любили Вячеслава Яковлевича, верили ему и охотно работали с ним весь сезон.

Много времени и сил уделял наш начальник повышению квалификации своих сотрудников, он охотно делился с нами своим опытом, учил технике дорожных и речных изысканий. Говоря об организаторской стороне дела, он не щадил плохих и зазнавшихся администраторов, и мы загорались к ним ненавистью.

Вячеслав Яковлевич любил заходить в избы крестьян, в юрты алтайцев, где подолгу беседовал с их обитателями. Во время этих бесед Вячеслав Яковлевич ничего не записывал, но зато вечерами в его палатке долго горела свечка,— он сидел над своей заветной тетрадью. В это время мы не беспокоили его.

Даже при переездах, во время смены лошадей, Вячеслав Яковлевич ходил по деревне и беседовал с местными крестьянами. На земской квартире за сибирскими пельменями и чаем мы оживленно беседовали о виденном и по-молодому весело отдыхали.

Один из таких вечеров на земской квартире был описан Вячеславом Яковлевичем в рассказе «Краля». В нем фигурирую и я. Мои переживания в тот вечер и в ту ночь были верно подмечены и переданы автором.

Первая мировая война надолго разъединила меня с Вячеславом Яковлевичем.

Я в ноябре 1914 года уехал из Томска во Львов, в район военных действий.

По окончании войны в Томск я не вернулся, а в августе 1914 года застрял в городе Смоленске, где в 1919 году женился и обосновался надолго — до 1926 года, когда меня перевели в Москву на работу в НКПС.

Вячеслав Яковлевич, как известно, из Томска переехал в Петроград, где полностью посвятил себя литературной деятельности.

По окончании первой мировой войны Вячеслав Яковлевич иногда наезжал в Смоленск.

Он навещал мою семью, очень полюбил мою маленькую дочь Лену, дарил ей сладости, игрушки.

Вячеслав Яковлевич очень интересовался местным историческим музеем (б. княгини Тенишевой) и внимательно знакомился с историей города и всего края. Следует отметить, что он всегда чрезвычайно интересовался историей и не упускал случая пополнить свои исторические знания.

В Смоленске в 1924 году Вячеслав Яковлевич часто выступал в местных воинских частях. Он читал свои повести и рассказы мастерски, зажигая слушавших его красноармейцев. Выступления Вячеслава Яковлевича производили на военную аудиторию сильнейшее впечатление. Восторгам и аплодисментам не было конца. Красноармейцы качали Вячеслава Яковлевича, носили его на руках. Они потом долго делились впечатлениями о выступавшем авторе и его произведениях.

Иногда я и моя жена Мария Николаевна бывали у Вячеслава Яковлевича в Детском Селе — ныне городе Пушкине.

Вячеслав Яковлевич, не считаясь со временем, ездил с нами и в бывшие царские дворцы, водил по их многочисленным комнатам.

Вячеслав Яковлевич со смешком и тонкой иронией показывал комнаты бывшего царя Николая и его жены Александры в Александровском дворце. Некоторые из этих комнат были сплошь увешаны маленькими иконками и сотнями любительских фотоснимков.

После переезда Вячеслава Яковлевича в Москву в 1942 году я неоднократно бывал у него и с грустью видел, как недуг подтачивал силы моего друга. Однако во время Великой Отечественной войны Вячеслав Яковлевич работал не покладая рук, невзирая на пошатнувшееся здоровье, на котором сильно отразилась жизнь в Ленинграде в дни блокады.

Приходилось только удивляться, как Вячеслав Яковлевич находил время писать капитальный труд об Емельяне Пугачеве, заботиться о семье и о родных и вместе с тем неутомимо писать статьи в газеты и журналы.

В Москве в беседах со мною Вячеслав Яковлевич высказывал глубокую, непоколебимую уверенность в нашей победе над гитлеровской Германией.

Вячеслав Яковлевич верил в эту победу до последних дней своей жизни.

1954

И. Лясоцкий

В. Я. ШИШКОВ В ТОМСКЕ

В. Я. Шишкова я помню приблизительно с 1908 года. Его стройная, выше среднего роста фигура и лицо, обрамленное аккуратно подстриженной бородкой, с выражением внутренней силы и уравновешенности, невольно обращали на себя внимание. На первый взгляд Вячеслав Яковлевич казался несколько суровым, но его чуткая внимательность к окружающим скрашивала эту суровость. Встречались мы с ним обычно в доме Вениамина Евгеньевича Воложанина, мужа моей тетки, чертежника по вольному найму Управления округа путей сообщения, или на даче в деревне Аксенове, в двадцати пяти километрах от города. Аксеново стоит в кольце густого векового кедровника. По воскресеньям мы гуляли компанией в этом чудесном лесу и собирали землянику. Если с нами бывал Вячеслав Яковлевич, то прогулки становились необычайно интересными, и пение — необычайно веселым. Помню и сейчас некоторые из тех нелегальных песенок, которым обучал нас Шишков.

Трудно было представить себе более занимательного рассказчика, чем Вячеслав Яковлевич. Он очень увлекательно рассказывал о своих приключениях и экспедициях, об охоте на медведей и сохатых. Характерной особенностью его рассказов было то, что он вел рассказ, как и читал его, в лицах. Если Вячеслав Яковлевич был в ударе, то любил не только повеселить своих слушателей, но и попугать их какой-либо страшной историей в духе Эдгара По.

Так как встречи мои с Шишковым происходили исключительно в праздничной обстановке или в обстановке отдыха, то образ писателя запечатлелся у меня как образ необычайно общительного, остроумного и веселого чело-

вска. Правда, Шишков не всегда шутил и смеялся, но в памяти моей выплывают только две-три сцены, когда Вячеслав Яковлевич был иным.

В Томске после революции 1905—1906 годов появился еженедельный журнал «Сибирские отголоски» (из ежемесячного «Сибирский наблюдатель»). В этом еженедельнике печатались романы Не-Крестовского «Томские трущобы» и «Черная маска». Позже эти романы были изданы отдельными книгами.

В начале лета, помнится, 1912 года мы ехали компанией в субботу под вечер в Аксеново. До разъезда Богашово ехали в вагоне, а от разъезда — на крестьянской телеге по накатанной пыльной проселочной дороге. Заговорили о литературе, и в частности о «Томских трущобах». В. Е. Воложанин был словоохотливый и веселый человек. Он в шутливой форме рекомендовал Шишкову обратить внимание на такой вид творчества:

— Ты бы, Вячеслав, занялся этим, создал бы сибирского Рокамболя,— чем мы хуже французов!

А я со всем пылом молодости обрушился на Не-Крестовского за его бульварные романы, считая их той же литературой, что и приключения сыщиков, которыми в годы реакции царское правительство отвлекало молодежь от революции, и высказал мысль, что порядочный человек такие романы писать не станет.

— А вы Не-Крестовского знали? — сухо спросил меня Вячеслав Яковлевич.

— Нет.

— А я знал.

— Расскажите!

— Должен вам заметить, молодой человек, что ваше скоропалительное заключение о Не-Крестовском произошло потому, что вы не читаете «Сибирскую жизнь».

— Читаю, Вячеслав Яковлевич, ей-богу, читаю,— запротестовал я.

— Значит, плохо читаете, коль скоро забываете прочитанное,— все так же суховато продолжал наставлять меня писатель.— В прошлом году в январе в «Сибирской жизни» был помещен некролог Валентина Курицына, мелкого железнодорожного служащего. Он был поэт, стихи его иногда помещались в томских газетах. Но поэзия не кормила Курицына, а семья у него была большая:

Некий предприниматель Долгоруков предложил поэту писать такие романы, гарантировав тайну псевдонима. Курицын был слабохарактерный человек и поддался на удочку, подписал контракт. Все издатели, будучи капиталистами, стремятся покупать писателей как всякую рабочую силу. Курицын плакал да писал эту чушь...

Такой стороны дела я не знал. Мне стало не по себе, и было жаль этого неизвестного поэта, к памяти которого Шишков проявил такое участие, защищая его от моего петушиного наскока.

Шишков не вступал обычно в споры, не торопился высказывать свое мнение. Высказывался он чаще последним, говорил кратко, но веско и без навязчивости. Запоминался его приятный рокочущий баритон.

В начале августа 1915 года Вячеслав Яковлевич уехал из Томска. Потанин расценивал его отъезд как измену своей второй родине — Сибири; он боялся, что Шишков забудет Сибирь, потеряв с ней связь.

Но Шишков, несмотря на суровый климат Сибири, несмотря на те трудности, что приходилось ему переживать в своих экспедициях, не мог забыть Сибири,— она ему много дала и тем привязала к себе сердце писателя. Шишков всю жизнь поддерживал связь с сибиряками, любил возвращаться к сибирским темам.

В 1916 году Вячеслав Яковлевич совершил поездку в Финляндию и свои очерки «Поездка в Гельсингфорс» напечатал в газете «Сибирская жизнь», в нее же он продолжал посылать свои рассказы.

В 1917 году в «Сибирской жизни» печатались очерки Вяч. Шишкова «Дни восстания в Петрограде».

В 1925 году Шишков с октября по декабрь жил в Сухуми и написал там несколько рассказов на сибирские темы: «Алые сугробы», «Варин сон», «Отец Макарий» и др.

Когда я начал робко пробовать свои силы в литературе, то послал Вячеславу Яковлевичу кое-что из написанного мною, будучи уверен, что он не откажет мне в совете и помощи, так как помнил его благожелательное отношение к молодежи по Томску.

Я тогда еще не мог знать, что «немало времени» занимали у автора «Емельяна Пугачева» занятия с начинающими писателями: чтение рукописей, отзывы на них, беседы. В одном из писем Вячеслава Яковлевича от 28 июня 1935 года читаем следующие, характерные для Шишкова-человека строки: «Молодые писатели осаждают, тащут рукописи: «Прочти, помоги, отец». Отказать нельзя, сердце кровью обливается, ребята хорошие». Читал он рукописи «хороших ребят» тщательно, с выписками, с подчеркиваниями и замечаниями на полях и, если находил хотя бы крупицу дарования, охотно правил рукопись, давая обстоятельные советы.

На посланную свою рукопись я получил в ответ следующее письмо:

«Ленинград, 16/VI-25 г.

Уважаемый тов. Ив. Лясоцкий.

Присланные Вами вещи очень слабы, это не литература, это просто исписанная бумага. Очерк «Знамение» в тематическом отношении мог бы быть интересным, но он сделан без всякого напряжения, и момент пробуждения рассказчика совсем не оттенен.

И почему Вас вдруг потянуло к писательству? Путь писателя труден, обязанности его велики, ответственность огромна. Не всякий пишущий и печатающий свои книги есть писатель. Это большое заблуждение, и многие десятки, а может быть, и сотни сбитых с толку людей воображают себя писателями и, не имея никакого багажа за душой, заняты бесполезным, никому не нужным делом.

Конечно, по двум коротеньким очеркам трудно категорически оценить способности человека, пришлите что-нибудь еще, совершенно отделанное и наиболее удавшееся Вам. Тогда можно будет дать Вам тот или иной совет в окончательной форме.

А пока желаю Вам всего хорошего. На меня не сердитесь, писал от души, с желанием сделать Вам добро.

Вяч. Шишков».

Эта суровая отповедь сильно меня обескуражила и заставила иначе смотреть на литературный труд. Но, почувствовав и некоторое поощрение в этом письме, я ре-

шил не бросать свои упражнения в литературе и через год опять послал Вячеславу Яковлевичу два рассказа.

Ответ был столь же суров.

«Ленинград, 10/V-26 г.

Уважаемый И. Е.

Я внимательно прочел Ваши два рассказа, в конце каждого из них дал отзыв.

За время от первого Вашего присыла до сих пор Вы не продвинулись вперед ни в способе выражения своих наблюдений, ни в стиле. Если Ваше писание не отнимает у Вас много времени, конечно, писать можно, и на этот способ убивать досуг надо смотреть как на приятное (для Вас) времяпрепровождение. Если же Вы склонны мечтать, что Ваше писание есть путь к литературной деятельности, то Вы заблуждаетесь. Настоящий писатель вряд ли выйдет из Вас.

Я отлично понимаю, что Вам тяжело читать эти мои строки, но я не хочу вводить Вас в заблуждение, чреватое тяжелыми разочарованиями.

Всего Вам хорошего.

И не сердитесь на меня.

Вяч. Шишков».

Отзыв Вячеслава Яковлевича о рассказе «Архиерей» привожу:

«Слабовато. Очень растянуто. Первая страница совершенно лишняя. Кедровник тут ни при чем. Эпизод незначительный, подан вяло. Разговорный мужицкий язык неплох, но рыхл, растянут. Надо давать отдельные короткие фразы, чтобы речь была живая, оживленная. Самый конец рассказа непонятен: не ясно — уехал архиерей до возвращения Афони или нет? Надули его мужики или нет?»

Это письмо оставило на душе у меня еще более горький осадок, чем первое.

Писать я не бросил, но работу свою организовал иначе. Прежде всего стал внимательно читать, и в первую очередь Горького и Шишкова, начал у них учиться писать. Потом дошел до мысли, что писать надо только о том, что *особенно хорошо* знаешь. Это же подтвердилось и где-то прочитанной фразой Буало: «Что хорошо понимают, то ясно и выражают».

Детство мое было не совсем заурядно. Помня слова Вячеслава Яковлевича: «...воображают себя писателями и, не имея багажа за душой, заняты бесполезным, никому не нужным делом», я начал описывать свое детство. Это был мой самый большой «багаж за душой». Попутно писал небольшие очерки и рассказы, исключительно для того, чтобы овладеть литературной техникой. В ноябре 1929 года я запросил Вячеслава Яковлевича, могу ли прислать ему кое-что из написанного мною. Ответ был таков: «Я готов просмотреть Ваши рассказы. Буду ждать их. Высылайте».

В начале декабря 1929 года я послал В. Я. Шишкову три небольших вещицы. Два месяца с волнением ждал, что он мне ответит.

«Детское Село. 31.I.30 г.
Уважаемый тов. Лясоцкий!

Долго не отвечал за отсутствием времени,— сборы по литературным делам в Москву.

Ваши литературные упражнения прочел. Они носят форму очерков. Темы мелкие, неинтересные, провинциального масштаба. Ваш язык стал литературнее. Попробуйте свои силы на фабульном рассказе из современной жизни. Можно было бы неплохо разработать Вашу тему — профессор и татарочка. Или возьмите тему из жизни колхозов — это было бы очень современно и нужно.

С уважением Вяч. Шишков».

Фраза в письме В. Я., что мой «язык стал литературнее», окрылила меня. Я получил награду за свой четырехлетний труд, за бессонные ночи. И я приналег на свои воспоминания. Прошло еще пять лет упорной работы, упорной порчи бумаги. В апреле 1935 года я сообщил В. Я. Шишкову, что кое-что сделал, приложил отрывок из своих мемуаров и просил разрешения прислать рукопись на его суд.

«Д. Село, 29.IV.35.
Уважаемый Иван Ефремович!

Присылайте свою работу, прочту внимательно и сообщу свое мнение.

Судя по отрывку, Вы стали писать много лучше, чем

прежде, чувствуется зрелость, уверенность. Видно, что работали над собой.

Сообщите о судьбе Вениамина Евгеньевича и его семьи... и вообще о наших прежних знакомых и друзьях.

Всего хорошего. Вяч. Шишков.

Дошел ли до Томска мой последний роман «Угрюм-река»?»

Работу свою «Былые дни, былые люди» (теперь «Записки старого томича») я тотчас же отправил Шишкову. На этот раз Вячеслав Яковлевич заставил меня долго ждать своего приговора. В конце января 1936 года я получил обратно рукопись и большое послание.

«Детское Село, Московская, 7. 21.I.36 г.

Уважаемый Иван Ефремович!

Наконец-то удосужился я прочесть Вашу рукопись. Простите, пожалуйста, что так долго задержался с ответом. Отдыхая на Кавказе, думал: вот приеду, наброшусь на литературную свою работу. Ан не тут-то было: навалилась на меня масса всяких общественных дел, заседаний, выступлений в клубах с чтением своих вещей и пр. и пр. И до сих пор не могу начать работу над романом «Емельян Пугачев» (а написано уже листов двенадцать).

Вашу рукопись я прочел внимательно и с большим удовольствием. Рукопись в исправлении не нуждается. Язык простой, хороший, выразительный. Типы очерчены неплохо, характеристики меткие, запоминающиеся. Особенно удались бабушка, дядя Миша, Чумер (жаль, что этот хороший, полноценный человек показан слишком мало) и другие. С большой силой показана трагедия Оли Ревиной и заключительная сцена со священником Васильковым.

Ваша рукопись заключает в себе пять с половиной листов. Я бы советовал Вам продолжить воспоминания, доведя общий размер книги листов до 10—12. Я думаю, что Сибирское изд. в Новосибирске или Иркутске могло бы издать Вашу книгу, она полезна для читателя, да и вообще для истории, как ценный человеческий документ, написанный искренне и правдиво.

В рукописи есть, конечно, и недостатки. Некоторые длинноты, в особенности в описании городского училища. И еще: Вы дали хорошие характеристики служителей

университета, сгрудив эти характеристики в одно место. И когда через 50—60 страниц встречаешь какого-либо служителя (напр. «богомольца» с окровавленной ножкой от письменного стола), то уже не помнишь, кто он, и приходится отыскивать в прочитанном, что о нем сказал автор. Надо характеристики давать в том месте, где Вы показываете своих героев в действии, в поступках.

До свидания. С уважением к Вам. Вяч. Шишков».

После этого письма я почувствовал себя буквально «именинником». Совет учителя о расширении своей рукописи я принял не только к сведению, но и к обязательному выполнению. Я наметил новые эпизоды для включения их в свою работу и написал новую главу. Эту главу я послал Вячеславу Яковлевичу и сообщил ему о тех изменениях и дополнениях, какие предполагал сделать в своей работе.

«Г. Детское Село. 8.VI.36 г.
Многоуважаемый Иван Ефремович!

Отрывок прочел. Он интересный. В особенности он кажется мне интересным потому, что все люди, выведенные в нем, мне хорошо знакомы, и Олимпан Щеглов, и Кон Федорович, я в Аксеновой бывал часто, место дивное. Отрывок все-таки требует еще большой работы над словом, он по форме сыроват... Оба варианта о змеях интересны, второй жиже. Выбирайте сами. А Чумер никогда народником не был, он был по убеждению социалист-революционер. А в революцию сразу примкнул к большевикам. Щеглов — дело другое. Намеченные Вами изменения в повести очень резонны. Советую Вам ярче и основательнее выделить томский погром 20 октября 1905 года. Не ограничивайтесь описанием того, что Вы видели, надо включить в картину и то, что знаете о погроме, наиболее типичное, конечно.

Книжечку с рассказом о змее посылаю Вам на память.

Всего Вам доброго. Вяч. Шишков».

Мне казалось, что рукопись моя достаточно вызрела, и я послал ее с отзывом В. Я. Шишкова в журнал «Си-

бирские огни». В ответ получил письмо с уведомлением, что рукопись моя прочтена и отложена «в число предполагаемых к печатанию».

То, что я пережил после получения такого письма от журнала «Сибирские огни», я думаю, понятно каждому. Эти переживания мои вылились в благодарное письмо Вячеславу Яковлевичу. Мой учитель был также рад моему успеху.

«Г. Пушкин. 6.I.38 г.

От души поздравляю Вас, уважаемый Иван Ефремович, с хорошим успехом. Он поставит Вас на ноги и укрепит веру в свои силы.

С приветом Вяч. Шишков».

Наконец мне удалось «поймать» и прочесть роман Вяч. Шишкова «Угрюм-река». Я написал автору свое мнение об этом романе.

«Многоуважаемый Иван Ефремович!

Благодарю Вас за отзыв об «Угрюм-реке». Этот роман месяца через два выйдет четвертым изданием, заново переработанным. Он звучит теперь много лучше.

Ваша рукопись тормозится либо за отсутствием бумаги у Краевого издательства, либо от простого невнимания к начинающему автору. Это у нас в моде.

Работа о Томске должна быть интересна. Только надо начать с древних времен... Синоптических таблиц никаких не должно быть. Кой-какие цифры и, главное, выводы.

Теперь об образах.

Раз Вам нравится выражение «лето дряхлело», то почему Вас приводит в смущение «брезжит дряблый свет».

«Брезжит» — значит свет только-только начинается, т. е. свет (или рассвет) еще не окреп, т. е. он дряблый (не окреп, а дряблый — противопоставить можно). А в Вашем примере эпитету «легкомысленная» зелень противопоставить эпитет противоположного смысла нельзя. Нельзя сказать «глубокомысленная зелень». Подобные вольные, малоестественные образы называются неорганизованными.

Всего Вам хорошего. Вяч. Шишков».

«Сибирские огни» вернули мою рукопись без отзыва. В это же время в Томск приехала в творческую командировку А. Г. Голубева, автор книги «Мальчик из Уржума». Из краеведческого музея тов. Голубеву направили ко мне, и мы познакомились. Я показал ей город и места, связанные с пребыванием в Томске С. М. Кирова. Прочла она и мою рукопись и дала благоприятный отзыв.

Обо всем этом я в начале декабря написал Вячеславу Яковлевичу и заключил письмо вопросом, могу ли я, приехав по командировке в Ленинград, рассчитывать на гостеприимство писателя на день-два, пока не подыщу квартиры.

«Г. Пушкин. 31.XII.38.

Любезный Иван Ефремович!

Простите, что не сразу ответил. К концу года такая масса скопилась разной работы, главным образом, с отчетом по Литфонду пред общим собранием (я — председатель правления), что и на письма не было времени отвечать. А их приходит довольно изрядно.

Со своими «Воспоминаниями» не огорчайтесь, посожмите их, вставьте побольше о Кирове (это ничего, что будет и у Голубевой. Вы, как житель Томска, являетесь в этом отношении первоисточником и авторитетом).

Дело с неудачей в Новосибирске совсем не в В..., а в том, что нигде нет бумаги. Из-за этого и мою «Угрюм-реку», набранную еще в августе, до сих пор нет возможности отпечатать.

Конечно, Вам надо проветриться, побывать в Москве, Ленинграде. Но я советовал бы это сделать летом. Много интереснее. Сейчас дать Вам приют на несколько дней для меня затруднительно: жилая площадь — 90 метров, но всего две комнаты. Но и при этих условиях дня на два милости прошу.

А вот летом будет просторнее.

С уважением Вяч. Шишков».

Не зная, как и чем выразить свое чувство благодарности, я отобрал лучшие дублеты из своей коллекции фото о городе Томске и послал их Вячеславу Яковлевичу вместе с двумя работами: одна предназначалась как расширение моих мемуаров, а другая — из истории города Томска. Вскоре получил ответ и на эту посылку.

«Уважаемый Иван Ефремович!

Спасибо за интересные томские карточки. Очерк и сцену прочел. Сцена написана крепко и неплохо. Очерк — в частности о Федоре Кузьмиче — очень поверхностно. Личность исключительно интересная... Недаром Лев Толстой собирался и было начал писать об этом старце роман.

Если будете в Ленинграде, позвоните в Пушкин (6-20) или по городскому телефону 6-46-40, может быть, я буду еще в Пушкине и с удовольствием повидаюсь с Вами.

Всего лучшего. Вяч. Шишков.
11.VII.39».

Это было последнее письмо. Собираясь съездить в Ленинград, я не писал Вячеславу Яковлевичу.

В марте 1941 года я выехал в Ленинград.

Поработав дня три в Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, отправился в город Пушкин. В три часа 18 марта я нажал кнопку электрического звонка у двери, за стеклом которой была скромная визитная карточка — «В. Я. Шишков». На звонок вышла женщина и приоткрыла дверь.

— Вячеслав Яковлевич дома?

— А вы... кто?

— А! Понимаю! Занят, а от посетителей нет отбою. Так?

— Возможно! — улыбнулась женщина.

— Я из Сибири. (Дверь открылась пошире.) Приехал из Томска. Хотел бы повидаться со старым знакомым. (Дверь распахнулась.)

— Пожалуйте!

Поднялись по лестнице. Вошли в прихожую, она же одновременно и кухня. Разделся. Прошел в большую светлую комнату. Вышел и хозяин.

— Здравствуйте, Вячеслав Яковлевич!

— Доброго здоровья!

— Не узнаете?

— Нет.

— Не мудрено. Двадцать пять лет не видались.

Я откровенно восторженным взглядом смотрел на

писателя и думал: «Как он изменился!» Шишков глядел на меня с интересом, силясь припомнить. А женщина стояла сбоку, удивленно взирая на нас обоих, и, наверное, думала: «Вот так старый знакомый...»

Тогда я назвал себя.

— Ну, простите! Не предполагал! Ждал вас прошлым и позапрошлым летом. Познакомьтесь — моя жена, Клавдия Михайловна.

И тотчас же увел меня в другую комнату — свой кабинет. Беседовали долго. Сперва о Томске и общих знакомых, потом о литературе.

— Скажите, Вячеслав Яковлевич, а вы, когда начали писать, обращались к кому-либо за помощью?

— Конечно! Ведь это же закон. Не миновал и я его.

И Вячеслав Яковлевич рассказал мне, как он в свое время обращался к В. Г. Короленко, о котором вспоминал с большой теплотой.

Однажды Вячеслав Яковлевич описал путь, совершаемый им ежедневно от квартиры до Управления округа путей сообщения. На Акимовской улице тихо, только одни унылые звуки шарманки, игравшей «Разлуку», беспокоили эту тишину. Шум города нарастал по мере приближения автора к Обрубу. На углу улицы Загорной и Обруба сидела слепая нищенка Дунюшка и плачущим голосом громко просила у прохожих «Христа ради копеечку». Обруб был вымощен, и по нему с грохотом катились телеги, сразу затихая на Загорной и Акимовской. Обруб тянется по берегу Ушайки, и тротуары на нем идут с одной стороны. По этой недлинной улице спешили хозяйки с корзинами с базара и на базар, оживленно разговаривая. Слышно было из открытых окон, как пиликали гармонные мастера, ремонтируя тальянки, как громко кричал, обходя дворы, старьевщик-татарин: «Шурум-бурум берем, старый вещи покупайм!» Подходя к мосту, автор слышал, как эти звуки сменялись другими: ударами вальков (женщины полоскали белье под мостом) и звоном богоявленской церкви, у дверей которой стояло более десятка нищих. А дальше — базар. Азартные споры торговок, ржание лошадей, ругань ломовых извозчиков, дикие крики: «Держи вора! Бей его!» Из открытых дверей мясных лавок доносился стук топоров, перерубавших мясо. И, наконец, Управление округа.

В нем тихо, только редкие гудки пароходов доносились с реки.

Видимо, Вячеслав Яковлевич очень подробно описал весеннее утро в Томске, так как В. Г. Короленко ответил ему, что путь, как видно, был короткий, а описания хватит версты на две. Что описано неплохо, с большой наблюдательностью, со знанием города, но слишком подробно. Что надо брать в описании пути самое характерное для данной улицы, и тогда будет лучше.

Беседу прервала Клавдия Михайловна, пригласив обедать. Был уже шестой час. Сели за стол. На нем стоял и графин с водкой.

— Выпьем, Иван Ефремович, за Сибирь-матушку.

— Не забыли Сибирь?

— Ну, разве ее забудешь!

Чтобы закусить после водки, Вячеслав Яковлевич намазал тоненький кусочек хлеба толстым слоем масла и сверху положил икры.

— А вы, я вижу, Вячеслав Яковлевич, не изменяете своим привычкам.

— Ну-те?

— Про вас еще в Томске говорили, что вы едите не хлеб с маслом, а масло с хлебом.

— Да вы и это помните,— рассмеялся писатель.

Да, В. Я. Шишков не изменил привычек, как не изменил и взгляда на литературный труд до конца жизни. На своем юбилее в октябре 1943 года он говорил:

«По своей природе я человек очень скромный. Возможно, что эта скромность почти до сорокалетнего возраста удерживала меня отдаться писательскому труду. Я тогда жил в Сибири и на признанных писателей, подвизающихся в столицах, смотрел снизу вверх, с чувством глубочайшего уважения... Но вот, набравшись жизненного опыта и мужества, я, наконец, дерзнул... Я не стремился распространяться вширь, я норовил сам себя поднять кверху. Книгу за книгой, написанные мною, я подкладывал себе под ноги и год от года рос вверх. И вот заметил меня народ, оценило мою терпеливую работу народное правительство. И я по-человечески счастлив!..

Я смотрю на жизнь писателя как на подвиг, как на сплошное служение народу. Поэтому я был скуп на свою личную жизнь и расточителен в творчестве.

Прошло семьдесят лет со дня моего рождения. Время совершенно незаметно обтекло меня с трех сторон, с флангов и с тыла. И я смотрю на этот маневр времени с изумлением и с душевным трепетом. С изумлением потому, что это произошло незаметно, а с душевным трепетом потому, что это все-таки прошло... До конца осталось мне уже недолго... Но тот срок, который отпустит мне мать-природа, мне хотелось бы использовать не для отдыха на склоне лет, а для упорной работы. Мне хотелось бы оборваться с последней ступени с пером в руке...»

1951—1953

М. Щеглов

ДЯДЯ ВЯЧА

Жили мы оба с дядей Вячей в Томске на Большой Кирпичной улице, напротив друг друга. Собственно говоря, почему эта улица называлась Большой Кирпичной, никто не знал. Разве, может, потому, что на ней, кривой и загогулистой, не было ни одного каменного дома.

В небольшом деревянном домике, внизу в квартире из двух комнаток, и поселился Вячеслав Яковлевич Шишков, тогда топограф Управления водного округа.

«Сибирские Афины» были в то время центром передовой мысли Сибири. В. Я. Шишкову много приходилось ездить и ходить по просторам Сибири, Алтая, по многим рекам, глухим бездорожьям. В начале нашего столетия в Томске дядя Вяча, как звали его тогда близко знающие люди, только начинал писать. Он, так же как и я, работал в газете «Сибирская жизнь». Недостатка в интересных и острых впечатлениях у него не было. Каждая поездка давала большой и «шутейный» и далеко не шутейный материал. Мы сблизились с дядей Вячей и потому, что работали вместе в газете, и потому, что жили близко, и потому, что оба любили смеяться. Смешно рисовал он иногда самый маленький эпизод, и частенько этот маленький мотивчик служил мне темой для карикатуры.

Как у всех тогда близких к печати томичей, так и у В. Я. Шишкова собирались на пельмени. Эти традиционные пельмени были, конечно, только предлогом для дружной и всегда обоснованной встречи друзей. Вспоминаю одну из таких вечеринок у Шишкова.

Маленькая квартира наполнилась до отказа. Стук в ставню или в дверь, и под приветливый, но довольно густой голос дяди Вячи: «Вались! Вались!» — вваливается запоздавший, снимает доху, отряхивает пимы или сни-

мает так называемые «мокроступы» — глубокие галоши. Облачко морозного пара исчезает, посетитель под общий шум втискивается за стол. В сизоватом куреве над столом лампа-«молния». На столе уже все готово для очередных действий и по пельменной части, и еще кое-что в виде тетради-рукописи. Со свойственным ему юмором — не смеясь, а только пуская лукавые лучики около глаз, хозяин рассказывает о случае в тайге на работе. И как-то так всегда выходило у него в разговоре: очень метко и выразительно вырисовывались живоглоты-торгаши или подрядчики, пьяница-урядник, особа духовная... Но это все у дяди Вячи было только присказкой, а сам сказ шел впереди. Читал он очень хорошо, не громко, но весьма выразительно. Прочитанное, конечно, вызывало оживленный обмен мнений. Тема рассказа обрастала попутно рядом наболевших вопросов.

Но вот слышится и песня. Песни все больше сибирские. Дядя Вяча дирижирует... Да и нужны были эти «вставные номера», так как полиция интересовалась, и даже очень, такими «пельменями». Ведь шутка ли сказать, какая крамольная братия собиралась — газетчики!.. Был и сам «дедушка Сибири» Г. Н. Потанин, а ведь он своим присутствием как бы утверждал направление вечеринки. Так вот, песня, говоря современным языком, звуковое оформление, была далеко не лишней.

И тут, помню, вдруг стук в дверь, потянулась на шум, на огонек чья-то мохнатая лапа, какой-то непрошеный гость все же заглянул. И дядя Вяча, отпирая дверь, ведет примерно такой разговор: «В чем дело?» В ответ: «А я так думаю, народ выпимши, как бы чего не вышло... Пожару там или еще чего...» — «Нет, не извольте беспокоиться, у нас все благополучно, пельмени по случаю моего возвращения из служебной поездки... А пожару пока тоже нет». Дядя Вяча особенно нажимает на слово «пожар», своей широкой фигурой загораживает он от непрошеного посетителя всех нас и выпроваживает усатую физиономию за дверь.

Стоит смех. Всем все понятно. Долго-долго не расходятся гости. А когда расходились далеко за полночь, все были довольны и сыты любимыми пельменями. В морозном воздухе, слышно, кто-то кричит: «Так не забудьте же: на этой неделе у меня пельмени!»

Как-то Вячеслав Яковлевич был у меня на вечере, на

котором и разговоры крутились главным образом вокруг изобразительного искусства. И мы тогда здорово сразились с ним в споре о формах искусства. Я как бывший ученик Строгановского училища очень любил в те времена искусство прикладного характера, а дядя Вяча доказывал мне, что не стоит увлекаться мелочами. Мечтал я в то время о создании «сибирского стиля» в оформительском искусстве. Давал рисунки, проекты разных вещей на конкурсы в Москву, в Петербург, для кустарного комитета Сибири. В то время у меня, правда, была уже иллюстрирована «Анна Каренина» Л. Н. Толстого. Вот на этот более серьезный путь и тянул меня Вячеслав Яковлевич Шишков. Каждый из нас был тогда по-своему прав. И частенько, идучи в редакцию вдвоем, мы возвращались к этой же теме. Сам же он в то время только расправлял свои могучие плечи и писал пока небольшие рассказики.

Помню его в Томске: по зимам ходил в большой коричневой дохе, в пимах, в шапке-ушанке и казался весь каким-то особенно мягким; летом же обычно уезжал куда-то на работу в тайгу, в горы. Иногда приходили от него коротенькие письма и фотографии с надписью: «Сижу на зимовке». И когда он появлялся в Томске глубокой осенью, то имел такой таежный вид, что трудно было в этой фигуре, по загорелому лицу, по какому-то особенному таежному одеянию узнать писателя. Крепко он срастался с окружающей его природой и людьми. Он сам вспоминал свое пребывание где-нибудь на Алтае у кержаков: «Про меня говорят — землемер... Все мерит да мерит, да в книжку пишет». Да, много тогда дядя Вяча писал в «книжку», и маленькие листочки и записи вырастали потом в рассказы.

Мы все очень любили Вячеслава Яковлевича. Покорял он своей внутренней силой, своим богатством, своей большой любовью к человеку, к забитому в те времена «инородцу»...

Там, где когда-то по Сибири ездил, плавал и ходил дядя Вяча, там, где по таежным глухоманям протекала Угрюм-река, светлее и шире стала жизнь. Он, работая по изысканию новых дорог и путей, только мечтал о них, а теперь эти новые пути-дороги пошли повсюду.

1954

Вл. Бахметьев

В СИБИРИ

Свыше тридцати лет продолжалась дружеская моя связь с Вячеславом Яковлевичем, но в настоящих страничках воспоминаний я коснусь первых наших встреч.

Это было в Сибири, в дореволюционные годы. Он жил в Томске, я в Новониколаевске (Новосибирске) на Оби, и наше знакомство началось с переписки. Заведуя в местной газете литературным отделом, а затем редактируя новую газету (вместо закрытой), я стремился привлечь к сотрудничеству у себя и Вячеслава Шишкова, автора опубликованного в одном из майских номеров «Сибирской жизни» (1910 г., Томск) очерка под заголовком «На Лене».

Очерк пленил меня не только своею полнозвучною правдою жизни, а и заложенным в нем идейным зерном.

Из ответного письмеца Вячеслава Яковлевича я узнал, что в его лице мы имеем не профессионала-литератора, а, по его выражению, любителя литературы, профессия же его — труд по исследованию путей сообщения Сибири.

В том же 1910 году в той же «Сибирской жизни» мы, новониколаевцы, читали и другие очерки Вячеслава Яковлевича из путевых его наблюдений, причем наша группа социал-демократов тогда же использовала эти очерки, особенно же очерк «Злосчастье» (о злой доле крестьян-переселенцев), как пропагандистский материал для легальных вечеров в помещении Общества взаимопомощи приказчиков.

Помнится, на вечере здесь посетители (приказчики, наборщики, рабочие паровой мельницы, железнодорожных мастерских) встретили оживленными аплодисментами многозначимую заключительную фразу одного

из очерков: «Когда же проснешься ты, Лена-красавица?!»

В конце следующего, 1911 года со страниц «Сибирской жизни» не без волнения узнали мы о героической экспедиции на Нижней Тунгуске, которая едва не закончилась гибелью ее участников (во главе с Шишковым), захваченных ранними морозами на воде за добрую тысячу верст от жилых мест.

Подробности об этой примечательной экспедиции я услышал от самого Вячеслава Яковлевича, когда, годом позже, мне довелось быть по партийным поручениям в Томске и я побывал у «любителя литературы».

В начале этого года на страницах журнала «Заветы» появилась его первая повесть «Помолились», и для меня не было сомнений, что в лице путейца-изыскателя мы имеем незаурядного художника, сила которого — в животворной близости к простому народу.

Что-то в этом роде я и высказал Вячеславу Яковлевичу, придя к нему и расположившись с ним у письменного стола перед окном, расписанным причудливыми узорами мороза. Выслушав гостя, хозяин, в свою очередь, заговорил о моем напечатанном в «Сибирской жизни» рассказике, но вдруг прервал себя, перехватив в моих глазах улыбку.

— Вы... что это? — воскликнул он.— А, понимаю! За что кукушка хвалит петуха? За то, что он... Это самое, да?.. А вот у тунгусов,— продолжал он, смеясь вместе со мною,— об этом так говорят: «Моя хвалил твоя, твоя — моя, вот и лови-бери, подхватывай!..»

На мою просьбу поделиться пережитым в прошлом году на Нижней Тунгуске он охотно принялся за рассказ о злоключениях в эту экспедицию, и как-то само собой вышло, что мы оба попутно вспомнили о кровавом событии в минувшую весну на Ленских золотых приисках.

Он говорил, шагая по комнате, на ходу плотнее прикрыв дверь на половину хозяина — своего сослуживца, и вот, слушая его, я начинал видеть в нем кого-то родного, близкого мне.

Нет, его слово было довольно общо и нуждалось, так сказать, в уточнении с наших идейно-партийных позиций. Но в его влажных глазах было столько боли, такое сострадание к жертвам проклятого Молоха слышалось в его голосе, что я невольно повторял про себя: «Наш, наш!»

В тот же день вечером мы отправились к Г. Н. Потанину, знаменитому исследователю Сибири, и здесь, в шумной компании гостей, среди которых были и местные литераторы, Вячеслав Яковлевич предстал в ином свете. Он рассказывал о всяческих случаях из своих скитаний по рекам Сибири среди тунгусов, старожилов-сибиряков, ссыльнопоселенцев, беглых бродяг, и при этом не было в его рассказе такого эпизода, в котором суровое и тягостное не сочеталось бы с нежданно шутейным, так что на лицах окружающих выражение хмурого ожидания чередовалось с неудержимыми улыбками, а то и смехом.

Ему было в ту пору уже под сорок, но, высокий, стройный, русобородый, с юно поблескивающими глазами, он выглядел куда моложе, и особенно в минуты бодрых, жизнерадостных шуток.

Эти вот черты — суровая трезвость и неугасимое жизнелюбие — были, как убедился я впоследствии, замечательной особенностью всего духовного его облика, отразившейся и в его творчестве.

Возвращаясь от Потанина и продолжая возникшую на вечере беседу о судьбах старожилого сибирского населения, Вячеслав Яковлевич терпеливо выслушал мои соображения по этому поводу и, со своей стороны, заметил, что, конечно, русский народ во главе с пролетариатом — сила, но... не надо-де забывать и об известной народной пословице: «Пока взойдет солнце, роса очи выест».— «Уже всходит оно, всходит!» — подхватил я и сослался на возрастающий подъем рабочего движения, обобщая отдельные явления и факты в свете статей и заметок «Правды». И любопытно: не выражая прямо своего согласия со мною, он вдруг перевел разговор на заявление в Государственной думе министра Макарова о том, что «так было и так будет».

— А ведь сядет его превосходительство в калошу со своим «было и будет»...— говорил мой спутник, заливаясь смешком.— Не век народишко терпеть будет...

Мы вышли на ярко освещенную, еще довольно людную улицу и примолкли.

— Знаете что, идем ко мне! — предложил он.— У меня и заночуете.

Я согласился, и мы чуть не до рассвета вели в ту ночь беседу, причем у меня сложилось убеждение, что новому моему другу близки настроения народничества давней

эпохи хождения в народ, но при этом он не верил в силу героев-одиночек, вооруженных мечом террора и т. д. «Один в поле не воин»,— говорил он убежденно.

Оказалось, что на острые политические темы ему не однажды доводилось беседовать с политическими ссыльными, которых он привлекал в рабочие отряды по экспедициям; среди них, как выяснил я позже, были социал-демократы.

Это «позже» было уже в 1914 году, когда мне пришлось перебраться в Томск.

Связь моя с Вячеславом Яковлевичем крепла. Он не принимал участия в революционном подполье, но я не знал такого случая, когда бы он отказал нам в своем содействии, например, по сбору средств среди своих прогрессивно настроенных знакомых для оказания помощи ссыльным.

Будучи видным членом Общества попечения о народном образовании, одним из активных участников культработы в Доме науки с его литературно-музыкальными вечерами, лекциями, беседами, воскресной школой для взрослых, Вячеслав Яковлевич помогал нам и в деле связи работников нелегальных кружков через названные культурные очаги с рабочими железнодорожного депо, местной спичечной фабрики, наборщиками и т. д.

Кстати сказать, работая в воскресной школе и прокладывая сюда дорожку «подозрительным» лицам, а среди них и большевикам, он и на себя навлек подозрение «недремлющего ока» и мог, несомненно, «засыпаться», если бы не длительные выезды из города во главе экспедиций по изысканию путей сообщения.

Между прочим, Вячеслав Яковлевич связывал нас с интеллигенцией города и со студенчеством, помогал укрытию беглых ссыльных. Товарищи по давней своей работе в Томске с чувством благодарности вспоминали о случае, когда в пятом году, при разгуле черносотенцев в Томске и устроенном ими пожаре в здании театра, где происходил митинг, Вячеслав Яковлевич спас от преследования ищеек и погромщиков одного из большевистской группы — наборщика Егора Кононова, брата погибшего при январской демонстрации в том же году Иосифа Кононова. Егора Вячеслав Яковлевич укрыл в своей квартире.

Все это, а главное — многолетнее общение с трудовым

народом помогло В. Я. Шишкову вырастить высокое сознание патриота, преданного сына своего народа, и уже ничто не могло впоследствии поколебать его веру в силы революции, угасить беззаветную любовь к родному народу.

Став профессионалом-писателем, в годы работы над романом «Угрюм-река» и особенно над непревзойденным по силе своей народности историческим произведением «Емельян Пугачев», Вячеслав Яковлевич немало потрудился над освоением марксистско-ленинского миросознания.

Переехав из Сибири в Петроград и попав там в среду литераторов, среди которых были на первых порах великой революции колеблющиеся «маловеры», Вячеслав Яковлевич сохранил нетронутым свое стойкое мировоззрение патриота и в то время, когда кое-кто из литераторов старой закваски оказался в рядах нытиков, а затем и в эмиграции, он с особым рвением отдался писательскому труду, продолжая неутомимо свои скитания по городам и весям, дабы «собственным оком» видеть заново перестраивавшуюся народную жизнь.

Он крепко верил в «великую правду» народа, а снедаемых пережитками прошлого, колеблющихся интеллигентов рассматривал как «интеллигентскую толпу нытиков и маловеров». И это он, собирая для книги свои очерки, писал мне в августе 1924 года:

«Перечитываю материал с большим интересом и с радостью, что я сумел в то время быть выше интеллигентской толпы».

Октябрьскую революцию он принял как величайший праздник в жизни своего многострадального народа.

«Мы бодры,— писал он в одном из очерков сборника «Ржаная Русь»,— мы бодры, мы молоды, перед нами — широкий путь!»

И — любопытно — этот голос писателя чуткий читатель не может не слышать со страниц его произведений, посвященных не только пореволюционным событиям, но и далекому прошлому.

Почему так? Да потому, что и в «Тайге», с ее пожаром в эпилоге, символизирующим революцию, и в «Угрюм-реке», и особенно в «Емельяне Пугачеве» мы имеем подлинно народную летопись не просто о прошлом, а о таком прошлом, в котором зрело наше великое настоящее.

Перед нами мрачный мир минувшего, но в нем — горячие зарницы надежды, отсвет будущего, какого не знала история человечества.

Автора «Емельяна Пугачева» нет среди нас, и он — с нами! Пройдут годы и годы, новые десятилетия,— и все лучшее в его обширном литературном наследстве будет жить и пленять читателя своею безыскусственною правдою, эпической своею простотой, полнокровной своей выразительностью и народолюбием!

«Народ — это высший и беспристрастный судья писателя» — таково завещание Вячеслава Яковлевича своим собратьям по перу.

Желая им успеха в работе, он в своей предсмертной статье зовет их «забыть про все второстепенное, преходящее и только одно помнить и считать самым главным в жизни, что ты — писатель, что народ ждет от тебя многого, что творчество твое — сугубо ответственное служение народу, трудовой твой подвиг».

О работе писателя, как о трудовом его подвиге, Вячеслав Яковлевич не раз выражал свои мысли и в прошлом, в дружеских беседах с писателями-сибиряками, когда он еще не предполагал полностью «заковать себя в позлащенные кандалы литературы».

Мысль его по этому поводу сводилась к тому, что прежде всего будущий писатель должен глубоко и всесторонне изучить народную жизнь, а еще того лучше — не отрываться от нее и став писателем. «Это отлично сознавали,— говорил он,— большие писатели прошлого». И ссылался, между прочим, на Л. Н. Толстого и В. Г. Короленко, которые до конца дней не выпускали из рук ту, пусть не очень крепкую, «нить», связывавшую их мирочувствование с простым трудом, а через него и с народным «бытованьем»: великий яснополянский художник боготворил соху и пашню. Короленко имел в своем полтавском кабинете на письменном столе перо и бумагу, а под рукою, на табурете, инструмент сапожного «рукомесла», он чередовал перо с шилом и дратвою. «И ведь будет, придет такое время,— заключал техник-путеец,— когда слово художника окажется доступным любому талантливому труженику любого ремесла», то есть труд писателя станет как бы вторым его ремеслом, причем это второе ремесло не будет уступать по силе своей профессионалам-художникам.

И в доказательство правдивости своей идеи он декламировал, а иногда и напевал проголосные народные песни, записанные им в Иркутской губернии среди крестьянского населения.

«Не было бы у нас и Некрасова, не будь этакой вот поэзии простонародья»,— взволнованно утверждал он.

Гостеванье приятелей в томском жилье Вячеслава Яковлевича обычно заканчивалось за столом с царственно шумящим самоваром и добротными закусками, а затем мы переходили в его комнату, загруженную всякими любопытными экспонатами, собранными хозяином при путешествии по Сибири, и писатель-путеец завершал программу вечера пластинкой граммофона с неподражаемым выступлением Шаляпина, с его «Эх, дубинушка, ухнем!».

Вячеслав Яковлевич до конца своих дней страстно любил вокальные номера из Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина и особенно записи выступлений Шаляпина.

Последнее, о чем мне хотелось бы сказать и что могла бы подтвердить отдавшая Вячеславу Яковлевичу и его работе буквально все свои молодые силы и способности К. М. Шишкова,— это об удивительном чувстве товарищества Шишкова, лишенного и намека на эгоцентрическое чувство честолюбия и всегда готового оказать посильную помощь большому и малому собрату своему по перу.

За оформлением рукописей своего мужа и его перепискою с коллегами и друзьями-читателями К. М. Шишкова просиживала часами.

Об отношении покойного писателя к коллегам по литературе видно и из его выступления в печати («Литературный Ленинград» от 14 сентября 1934 г.), в котором он говорил: «Если мы, активно участвуя в текущей жизни, сумеем вырвать из своей души пустое тщеславие, если мы станем искренно помогать друг другу в литературных трудах, то мы этим самым действительно образуем высокоидейный союз советских писателей...»

В. Я. Шишков и в первые годы писательства не оставлял своею помощью начинающих в литературе. В годы же расцвета своей популярности он просто считал ниже всякого достоинства советского человека оставаться равнодушным к общественному своему долгу, пренебрегать

работою в литературных предприятиях вроде Литфонда или даже профсоюзного групкома работников литературы, где он до самой смерти нес обязанности председателя ревизионной комиссии.

Не было у него и тени пренебрежения к критике на свои произведения, хотя первое время этою последней и было допущено немало недопонимания отдельных его вещей. «Народ,— говорил Вячеслав Яковлевич,— это высший и беспристрастный судья каждого писателя».

«Ни за какой славой,— писал он одному из своих друзей,— ни за какими почестями я не гонюсь, я не люблю почестей, я люблю справедливость нелицеприятную, а ее я получу от друга-читателя, от миллионов подрастающей молодежи».

1954

К. М. Жихарева

ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Я познакомилась с В. Я. Шишковым в конце 1912 года или в первые месяцы 1913. Не помню, бывал ли он в Петербурге раньше. В этот раз он приезжал в отпуск к родителям и приехал из Томска сначала в Бежецк, а оттуда поехал в Петербург. Цель приезда в Петербург — устройство литературных дел. Большой его друг Г. Д. Гребенщиков направил его к М. В. Аверьянову, стоявшему во главе организованного им «Издательского товарищества писателей».

Вячеслав Яковлевич привез тогда несколько рассказов, между прочим «Ванька Хлюст», который, помню, мы вместе просматривали и редактировали. К этому времени у него были напечатаны в «Заветах» рассказы «Помолились» и «Чуйские были». Писать ему хотелось уже давно, но раскачивался он медленно. Несколько заметок и коротеньких статей-фельетонов в «Сибирской жизни», упомянутые рассказы — вот, по-видимому, основной его литературный багаж к сорокалетнему возрасту. «Ванька Хлюст» — первый большой рассказ, в первоначальном виде листа на два с половиной, но затем сильно сокращенный. Повесть «Тайга» намечалась уже тогда. Вячеслав Яковлевич рассказывал и читал мне отдельные сцены из нее.

Из литературных знакомств Вячеслава Яковлевича того времени помню только А. М. Ремизова, которым Вячеслав Яковлевич искренне восхищался и как писателем и как человеком. Когда позже познакомилась с Ремизовым и я, он мне не очень понравился, показался каким-то деланным, а его затея с «вольной обезьяньей палатой» и раздаванием чинов и орденов этой палаты напомнила одного из тульских «зуюров», помещика, бывшего гвар-

дейца, вырезавшего из картона фигурки знакомых дам и наряжавшего их в мундиры своего полка с присвоением каждой чинов и отличий.

Вячеслав Яковлевич был очень огорчен моей недооценкой его кумира, долго старался меня переубедить, но впоследствии, в 1920—1921 годах, сам в нем разочаровался.

Весной 1914 года Вячеслав Яковлевич снова приезжал на один-два дня в Петербург. Если не ошибаюсь, привез «Кралю», напечатанную в «Заветах». А летом этого года я по его приглашению поехала на Алтай, вместе с партией дорожных техников, производивших под началом Вячеслава Яковлевича исследования Чуйского тракта. Поездка была чрезвычайно интересна и по яркости впечатлений превзошла все другие мои путешествия, кроме поездки в Туркестан и в Испанию.

Любопытно было наблюдать нового Шишкова, не писателя, не милого знакомого, а начальника экспедиции. Очень удивила спокойная уверенность, требовательность без наскоков, немногословная ясность и четкость приказаний. Он ни за что не согласился простить уволенного за какую-то провинность рабочего, которого раньше сам же хвалил, а на мое заступничество и упрек ответил, тоже неожиданно резко: «Значит, иначе нельзя».

В свободное от работы время — не начальник, а веселый, внимательный товарищ не только с равными по возрасту, но и с молодежью, студентами.

Осенью, во время переправы через Катунь у опасного бома, чуть не утонул, о чем сообщил в письме очень кратко, без всяких подробностей.

Когда настало время мне возвращаться, Вячеслав Яковлевич поехал меня проводить до Бийска, и примерно на полпути от Онгудая нас захватило известие о войне. Помню совершенно перевернутые деревни — иначе не могу назвать,— исступленные вопли и причитание баб, растерянные, часто пьяные, бессмысленные или злобные лица мужчин, дикое оранье песен, полное неведение о происходящем за пределами своей «поскотины» и слухи одни нелепее другого. До самого Бийска ехали в недоумении, как же могло случиться, что «Варшава на нас напала».

В Бийске наконец увидели первые газеты. Вячеслав Яковлевич, проводив меня, вернулся к своей партии, а я

до самого Петербурга терзалась от вида той же перевернутости и безысходного народного горя. Водку запретили с первых же дней мобилизации, пьяных почти не было, но вой и причитанья баб, казалось, возрастали с каждой станцией. Раньше мы с Вячеславом Яковлевичем не очень много разговаривали о политике, и я хорошенько не знала его отношения ко многим вопросам в этой области. Однако на основании отдельных замечаний и, главным образом, из его рассказов о прошлом, у меня составилось впечатление о Вячеславе Яковлевиче как о человеке довольно либеральном, но вполне лояльном. Поэтому я была удивлена, не встретив у него обязательного «патриотизма». Сама же война очень его огорчала, и в благополучный исход ее он плохо верил.

В середине лета 1915 года Вячеслав Яковлевич приехал в Петроград — заканчивать проект Чуйского тракта и проводить его утверждение.

Мы поселились вместе в небольшой квартире со всеми мыслимыми удобствами. Особенно нас пленила белоснежная ванна с постоянной горячей водой и чудесный вид на замечательные петербургские закаты и опаловые переливы красок неба белых ночей.

Упоминаю об этом потому, что в 1919—1920 годах эта культурная квартира нас чуть не погубила, и от всех ее прелестей сохранились только закаты, весной и летом даже усовершенствованные, так как с переводом времени на три часа вперед мы получили возможность любоваться «полуночным солнцем», не выезжая со своей Петербургской стороны на Нордкап, чем поневоле и утешались.

Оба мы служили — Вячеслав Яковлевич в дорожном управлении, я в акционерном обществе «Продуголь», оба мы кроме того занимались литературой, но Вячеслав Яковлевич урывками; он все колебался, переходить ли ему окончательно на линию писателя-профессионала. Знаю, что он перерабатывал и дописывал «Тайгу», но что писал еще — не могу припомнить. Думаю, что некоторая часть «шутейных» рассказов, вошедших в первый их том, написана уже в этом году. Рассказы этого жанра ему вообще удавались, и он любил их писать. Материал для них он черпал всюду, на ходу, особенно во время поездок в провинцию.

Переработанная и законченная «Тайга» была дана для отзыва А. М. Горькому. Помню какое-то особенное,

сосредоточенно-радостное лицо Вячеслава Яковлевича, когда он принес мне письмо Алексея Максимовича. Оно и в самом деле было очень лестное. «Я поздравляю Вас — это крупная вещь... Она поставит Вас на ноги, внушит... веру в свои силы»,— писал между прочим Алексей Максимович. Этот отзыв положил конец колебаниям Вячеслава Яковлевича, он решил как можно скорее развязаться с Чуйским трактом, бросить службу и заняться исключительно литературой.

Кажется, летом этого года мы ездили на несколько дней в Гельсингфорс, а в конце зимы Вячеслав Яковлевич ездил в Томск по делам Чуйского тракта.

С нами жила его младшая сестра Катя, учившаяся на педагогических курсах, впоследствии она стала народной учительницей. Вячеслав Яковлевич был очень привязан к своим родным, особенно любил мать, которая умерла в 1913 году. Отцу он аккуратнейшим образом посылал деньги, часто писал ему и ездил навещать. В семье были два брата и две сестры. Отец относился к нему с большим уважением и нежностью.

Февральскую революцию встретили и провели на улице. Помню, как бегали вдвоем по митингам, самопроизвольно зарождавшимся буквально на каждом перекрестке, бегали в Думу, жались под выстрелами к стенам домов, сидели под перилами мостов, без конца волновались, спорили, особенно в конце апреля, когда приезд Ленина внес резкую перемену в настроение.

Вначале весь круг знакомых и сами мы горячо поддерживали Временное правительство, ждали Учредительного собрания и считали нужным воевать и хранить верность союзникам.

Перестройка на «долой войну» и другие большевистские лозунги не всем дались сразу, а некоторым и вовсе не дались. Вячеслав Яковлевич перестраивался, в общем, довольно быстро и безболезненно. Он писал очерки и фельетоны в «Воле народа», составившие потом отдельную книжку «Подножие башни». Один из них — «О чем же вы плачете, гражданка?» — написан в июльские дни под впечатлением моего рассказа о разговоре с матросом-балтийцем, отчитавшим меня за слезы, вызванные действиями и озлобленным видом носившихся на грузовиках матросов и солдат.

Октябрь встретили тоже на улице. Ночь была сырая, жуткая. Большой проспект был забит толпой, в которую врезались грузовики с черными, хрипло кричащими фигурами. Когда переулками пробирались домой, глухо, словно в толстый слой ваты, бухнули непохожие на другие, ставшие уже привычными, выстрелы. И тут же узнали, что это поработала «Аврора» и Керенскому — крышка.

Старая жизнь постепенно разлаживалась, а новая все больше нас втягивала. Ликвидировалось мое Французское акционерное общество и прекратило свои дни Дорожное управление Вячеслава Яковлевича. Началось вступление в разные новые возникающие организации и союзы. Зимой 1918 года я поступила на службу в Комиссариат внешней торговли, а Вячеслав Яковлевич работал в каких-то литературных комиссиях, в одной из них вместе с А. А. Блоком.

Кажется, в этом же году — а может быть, в 20-м году — ездили летом в деревню Игумново, на реку Шексну, где Вячеслав Яковлевич много разговаривал с крестьянами, читал им свои рассказы и набрал много нового материала.

Во время наступления Юденича вместе рыли окоп и очень волновались. Вообще участвовали во всех коллективных работах по уборке снега на улицах, посадке деревьев и кустов на Марсовом поле, сломе деревянных построек и т. п. Вячеслав Яковлевич нес, кроме того, ночные дежурства в домкомбеде.

Между тем прежняя жизнь окончательно развалилась, начался и быстро усиливался голод и всякие неполадки. Наша милая, уютная квартира причиняла нам теперь массу мучений: лифт и телефон не действовали, в роскошной ванной не было не только горячей, но и никакой воды, центральное отопление замерзло и лопнуло, электричество давали максимум на два часа, с десяти до двенадцати и очень нерегулярно. Зимою даже и закатами нельзя было любоваться — так сильно заледенели окна.

Мы переселились в кухню, спали на полу, отапливались маленькой «буржуйкой», порядочно голодали — в городе купить что-либо съестное было очень трудно, в кооперативах давали почти исключительно скверное пшено, в столовых — суп, воду с тем же скверным и плохо разваренным пшеном. Дом ученых снабжал только сухи-

ми кореньями и в раздражающем изобилии лавровым листом. Мололи на кофейной мельнице рожь, варили из нее кашу, пекли в семейные праздники из нее же торты с начинкой из свеклы и печенье из кофейной гущи.

Вячеслав Яковлевич обнаружил в эти месяцы если не большие хозяйственные таланты, то во всяком случае огромную добрую волю и терпение. Я уходила с девяти утра, а возвращалась не раньше шести, а часто и гораздо позже. Утренний чай (морковный) и поздний обед или ужин у нас был общий, очень скудный, но все же более или менее человеческий. Завтрак же Вячеслав Яковлевич готовил себе сам, и состоял он неизменно из одного и того же блюда, которое он называл «собачьим снадобьем» по одноименному своему рассказу. Что он туда намешивал, кроме сушеных кореньев и громадного количества лаврового листа, не знаю, но вид у этого кушанья был зловещий, и у меня так и не хватило мужества его попробовать, а Вячеслав Яковлевич благородно не настаивал.

К этому времени я перешла из Комиссариата внешней торговли в Райпродукт, помещавшийся в Аничковом дворце, и так как добираться туда и обратно нужно было пешком и весь день сидеть на морозе, правда, не ниже 5°, а хлеба выдавалась одна восьмушка, и назывался он «зубной щеткой», столько в нем было соломы, то я совсем зачахла, исхудала, пожалуй, не меньше, чем в ленинградскую блокаду. Вячеслава Яковлевича это очень беспокоило, он всячески обо мне заботился, старался добыть доступных деликатесов, вроде конского «фритюра», даже ездил специально в Бежецкий уезд за рожью, маслом и картошкой.

К сожалению, для верности доставки,— свирепствовали самочинные «продотряды»,— он зашил добытые два куска сливочного масла в полы теплой сибирской тужурки и проспал в ней ночь на третьей полке вагона. Помню его забавное и трогательное отчаяние при виде наполовину надтопившегося масла и испорченных куртки и фуфайки. Он так себя ругал за несообразительность, что я упрекнула его только слегка, и больше из вежливости, чем от досады.

Припоминаю еще два его снабженческих подвига — несметные килограммы мерзлой картошки, которую мы в два или три приема доставляли с Калашниковской на-

бережной. Эта картошка навсегда испортила мне руку — по совету опытных людей я оттаивала ее в ванне (воду таскали тоже вдвоем из соседнего колодца). Может быть, этот способ и хорош в теплом помещении, но у меня картошка вся смерзлась сверху в глыбу, и я выбирала снизу, из ледяной воды, то, что мне казалось более приличным. Все же даже «высший сорт», «экстра» пригодился только на сдабривание «собачьего снадобья». И всю эту картошку пришлось еще таскать с пятого этажа на помойку. Зато второй подвиг был блистательным — 18 фунтов конины, купленных у какого-то мешочника. В веселый морозный день мы везли ее на тех же салазках по Марсову полю,— я так живо вспоминаю сейчас розовеющее предзакатное небо за Троицким мостом и на нем кажущиеся темно-лиловыми минареты мечети, и мы оба такие веселые и довольные. Вячеслав Яковлевич пыжился и кряхтел, как бурлак, и болтал всякую забавную чепуху.

К концу 20-го года мы оба пришли в такой упадок, не столько от голода, сколько от общего неустройства жизни, что А. М. Горький переселил нас в Дом Советов, где уже жил А. М. Ремизов. Нам дали две прекрасных больших комнаты, температура там была всегда не ниже 12° по Реомюру, до места службы (с угла Троицкой улицы) мне было меньше пяти минут ходу. Вячеславу Яковлевичу до его комиссии тоже гораздо ближе, а самое главное — свет был круглые сутки.

С переездом в Дом Советов вообще начинается эра благополучия — значительно улучшилось снабжение ученых и писателей, я перешла на службу в Бюро объединенных кооперативов на должность секретаря правления и получала там такое количество продуктов, которое совсем освободило Вячеслава Яковлевича от всякой «добывающей промышленности» и возни с хозяйственной «петрушкой», и он вплотную занялся литературой.

Конечно, сделалось это не сразу, и еще весной 1922 года, после банкета по случаю какого-то младенческого юбилея Госиздата, мы, сидя на подоконнике, по-детски радовались полученным от Ионова подаркам — пакетикам с десятками граммов сахару, масла, крупы и чего-то еще.

Постепенно нас стало больше. Первым осенью 1922 года приехал с юга мой отец, потом — давнишняя приятельница Вячеслава Яковлевича по Сибири, Капитолина

Васильевна Вяткина, за ней — жена Г. Д. Гребенщикова с сыном. Мы жили дружной коммуной и летом 1923 года все вместе переселились в огромную разрушенную квартиру на Караванной, отремонтировать которую помогли мои сохранившиеся связи с Райпродуктом. К этому времени мой отец уже был тяжело болен; в феврале 1924 года он умер. Вячеслав Яковлевич заботливо ухаживал за ним, и отец называл его не иначе как «Славушка, дорогой мой спаситель».

В марте 1922 года Вячеслав Яковлевич ездил в Смоленскую губернию и еще куда-то, с дороги посылал мне для переписки очерки, которые печатались в газетах, а потом составили книжку «С котомкой» (1923).

Хронологического порядка написанных им вещей за время 1915—1924 годов установить в памяти никак не могу. Знаю только, что в марте 1925 года он продал издательству «Земля и фабрика» собрание сочинений, около ста листов, которые почти все, за исключением произведений сибирского периода, написаны в эти годы. Последнее, что он писал при мне (до очерков «С котомкой»),— роман «Угрюм-река», не законченный, но перешагнувший уже за половину.

Стихов Вячеслав Яковлевич не писал, но пьесы пробовал. Первый его опыт — комедия «Мужичок» написана по предложению Горького, выразившего пожелание, чтобы Вячеслав Яковлевич написал маленькую несложную пьеску, пригодную для постановки и в деревне. «Мужичок» очень понравился Алексею Максимовичу, он смеясь говорил, что Вячеслав Яковлевич его «подвел», так как, читая рукопись и перейдя ко второму акту, изображавшему мнимый возврат царской власти, он испугался за автора: «Ошалел он, что ли?» «Мужичок» шел с успехом в Троицком театре, но скоро был снят.

Ставилась еще пьеса из народной жизни, кажется у Гайдебурова; она если не совсем провалилась, то и особого успеха не имела; я не припомню ни ее заглавия, ни содержания, кажется, оно было связано с войной, действие развивалось в сибирской деревне, было очень много убийств и всяких зверств.

Вторая большая пьеса — как будто «Старый мир» или что-то вроде этого — не удалась совсем. Она должна была изображать жизнь в условиях уже утвердившегося социализма, но запомнился мне из нее только вор, который,

томясь собственной добродетелью, для подъема духа сам у себя крадет шапку. Вячеслав Яковлевич долго над ней возился, но я не знаю, ставилась ли она когда-нибудь; помню только, что в связи с этой пьесой один из редакторов Вячеслава Яковлевича — Павел Николаевич Медведев, вообще очень ценивший талант Вячеслава Яковлевича, с прискорбием отрицал у него дарование драматурга.

Маленькая пьеска «Грамотеи» ставилась силами деревенского драмкружка во время поездки Вячеслава Яковлевича к большому своему приятелю, агроному Н. М. Кузьмину, в село Ретени, Лужского уезда. Постановка сопровождалась множеством курьезов (между прочим, входная плата взималась натурой, сидячие места стоили 2 яйца) и послужила темой для одного из популярных шутейских рассказов — «Спектакль в селе Огрызове». По материалам, собранным в Ретенях, написаны также рассказы «Нетель», «Винолазы», частично «Пейпус-озеро» и «Дикольче».

Писал Вячеслав Яковлевич довольно легко, помарки и поправки в черновике делались тут же, без долгого высиживания, перепечатанное правил дальше. В первые три, даже пять лет писал без готового плана, тема намечалась в голове в самых общих чертах, иногда даже не тема, собственно, а какой-нибудь случай, штришок, анекдот. На вопросы: «Что пишешь?», «Сколько лет такому-то персонажу?», «Какая у него наружность?» и т. п. — почти всегда досадливо отвечал: «Что выйдет!», «Не знаю». Иногда: «Сейчас курносенькая, рябенькая, вроде курочки, а какая вырастет — видно будет». Потом начал составлять планы, даже чрезвычайно детальные, но редко их слушался. Думаю, что по-настоящему, с серьезной подготовкой, он приступил к писанью «Пугачева», во всяком случае, первый вариант «Угрюм-реки» писался еще в значительной мере «по вдохновению», которое уже во время проработки вводилось в надлежащие рамки.

Он был всегда очень скромен и говорил, что если попадет «в конец первой двадцатки, то и слава богу!». Критические замечания выслушивал спокойно, очень часто изменял и выправлял, следуя этим замечаниям.

Помню, однако, он был очень огорчен статьей Е. И. Замятина о «Ватаге», в которой Евгений Иванович без особого сочувствия подчеркнул «влюбленность Вячеслава Яковлевича в своего героя Зыкова». Единственное, в чем

сказывалось его авторское самолюбие, это требование абсолютного внимания к чтению своих произведений, и он сердился и даже был резок, если кем-нибудь или чем-нибудь это внимание отвлекалось.

В обязанности мои, кроме перепечатки на машинке, входило еще «ставить палки», то есть вертикальные черточки на полях против отдельных выражений или мест, почему-либо показавшихся мне неудачными — переводческая профессия развивает привычку, чутье и требовательность к известной точности в подборе слов и к ясности описаний. Конечно, это вовсе не значит, что я себя, а он меня считали непогрешимой, из-за «палок» происходили ссоры, иногда я сама их убирала, но, в общем, при манере писания Вячеслава Яковлевича, особенно в первые годы, эти «палки» были полезны.

Вячеслав Яковлевич очень любил Сибирь, всегда с удовольствием вспоминал проведенные там годы, свои странствования по гиблым сибирским местам. «Угрюм-река» обязана своим появлением его путешествию по Нижней Тунгуске. Все «инородцы», калмыки, тунгусы — слепки с его добрых старых знакомцев или их кусочки. Камлание, описанное в «Страшном каме», лично им виденное, и этот же кам гадал и самому Вячеславу Яковлевичу, причем нагнал на него изрядную жуть, так как подробно и точно описал ему местоположение дома, в котором он жил, самый дом и находившихся в нем людей; предсказаний о дальнейшей своей судьбе Вячеслав Яковлевич после этого не захотел добиваться.

Вячеслав Яковлевич не получил широкого и разностороннего систематического образования («учился на медные гроши», отец его разорился вследствие неудачных торговых операций). Он окончил среднее техническое училище, потом самостоятельно подготовился к экзамену на какой-то технический чин и удачно сдал этот экзамен. Читать в молодые годы приходилось не очень много, расширять кругозор помогало, кроме чтения, общение с лучшими представителями сибирской интеллигенции. Из них Вячеслав Яковлевич особенно ценил «дедушку Потанина», которого никогда иначе не называл. С большим уважением отзывался о профессоре Сапожникове, С. И. Солнцеве; был очень дружен с Г. Д. Гребенщиковым и В. М. Бахметьевым (первый назывался «Егорушка» или «Егорка», второй —

«Бахметьич» или «Володечка»). Дружил он также с художником Гуркиным и этнографом Анучиным. В Петербурге сначала был очень близок с А. М. Ремизовым и М. Н. Кузминым, потом с Е. И. Замятиным, К. А. Фединым, А. И. Чапыгиным, А. Н. Толстым, Я. П. Гребенщиковым. Со всеми товарищами по профессии у него были хорошие отношения, да иначе и не могло быть — он был доброжелателен, чужд зависти, никогда, даже в домашнем быту, не позволял себе никакого «продергиванья» или пересуд.

1950—1952

И. Малютин

СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ

В первый раз о писателе Шишкове я узнал от Григория Николаевича Потанина в 1915 году в Барнауле. Тогда же мне пришлось прочитать его рассказ «Ванька Хлюст» в «Ежемесячном журнале» за 1914 год.

Этот рассказ произвел на меня сильное впечатление необыкновенным интересом автора к жизни народа.

А потом, когда в разных журналах появились его рассказы («Краля», «Чуйские были» и «Страшный кам»), писатель совершенно покорил меня простотой изложения, искренностью своего голоса, чуткостью к простому человеку — герою своих произведений.

Многое из того, что было передумано, написано Шишковым, как мне казалось, пережито и передумано мной и всеми, кто окружал меня,— простыми людьми.

Может показаться странным, что я подхожу к писателю с такой меркой. Впоследствии я убедился, что так относятся к творчеству подлинно народного писателя многие. Ф. В. Гладков писал мне: «Для писателя самой лучшей наградой служит задушевный отклик читателя, и выходит, что та книга хороша, которая написана как исповедь, как душевное откровение». И это были справедливые слова.

Вячеслав Яковлевич, прежде чем стать писателем, двадцать лет жил и работал в Сибири среди народа, встречался с сибирскими старожилами, с переселенцами, с каторжниками, с заводчиками и рабочими, с купцами и лесорубами. В живом общении с ними писатель черпал свое знание жизни, свою веру в прекрасное будущее, свою неугасимую любовь к человеку и особое, честное, совестливое и благоговейное отношение к писательскому труду...

В 1919—1920 годы я заведовал избой-читальней в деревне Морозовой, в 40 километрах от Новосибирска. Здесь в долгие зимние вечера я читал «Чуйские были», «Ванька Хлюст», «Веселый бродяга» и другие рассказы Шишкова, проверял на слушателях, как до их сердца доходит слово писателя. С большим интересом малые и старые слушали произведения Шишкова. Они были так же понятны народу, как и произведения Чехова, Горького, Подъячева.

...Все взрослые давно уже спали. Только дети бодрствовали, поджидая, когда я кончу работу. Окончив работу, я спрашивал:

— Ну, что почитать вам, ребятушки?

— Фыфкова, дедуся, Фыфкова,— говорила бойкая Зоя, а Боря только кивал головой в знак согласия.

И вот читаем «Колдовской цветок», или про козла Ваську, или что-нибудь из «Страшного кама». Сидят дети тихо, слушают как завороженные, не шелохнутся, только глазенки поблескивают.

И жуткие и смешные рассказы Шишкова нравились ребятам, были понятны им.

И сам я чувствовал, что после рассказов писателя близки и понятны лесные голоса и таежные шорохи. А рядом, за окном, шумел вековой парк и наводил на размышления. Вячеслав Яковлевич представлялся в эту минуту каким-то волшебником. Вот он подходит к спящей вековым сном красавице Тайге, взмахивает своим пером, и Тайга начинает говорить... Говорят и полудикие обитатели Тайги, загнанные и обездоленные. И в их жутких голосах слышится горькая, не отомщенная обида на своих угнетателей.

«Старик думал о том, что есть великий русский бог, светлый и милостивый. Но зачем он так далеко живет? Зачем он дает обижать тунгусов? Разве не видно ему сверху? Али жертвой недоволен остался? Можно еще больше дать «приклад». Возьми, только в обиду не давай. Пожалуйста, давай защиту...»

И, кажется, что Чуя рассказывает кровавые, жуткие были.

А вот рассказ «Краля». Сколько в нем вложено обиды за русскую женщину! Сколько гибло тогда прекрасных женских душ!

А «Страшный кам»! Какая жуткая, поучительная повесть.

Проработав много лет в Сибири, В. Я. Шишков посвятил ей многие свои произведения, от мелких рассказов до «Угрюм-реки». История роста и крушения сибирского капиталиста-золотопромышленника нарисована в этом замечательном романе.

Но я слишком далеко забежал вперед.

Начну по порядку. В 1926 году я узнал от наших студентов, приезжавших из Ленинграда, новости о Шишкове. Он тогда был председателем Союза ленинградских писателей и пользовался там большой популярностью.

Я написал ему, он вскоре ответил и пообещал навестить меня в Ярославле. С тех пор переписка наша продолжалась.

За это время три раза Вячеслав Яковлевич вместе с женой Клавдией Михайловной приезжал в Ярославль, осматривал фабрику «Красный Перекоп». Мне фабрика была очень знакома, я проработал на ней уже 30 лет... Писатель подолгу беседовал с рабочими, затем осматривал древние храмы в городе, украшенные замечательной живописью. Теперь это музей.

Однажды В. Я. Шишкова пригласили побывать на собрании ярославских писателей. Собрались человек двадцать. Вячеслав Яковлевич рассказал о работе ленинградских писателей. Встреча прошла очень оживленно.

Возвращались домой уже на рассвете, возбужденные, взволнованные.

Хорошо помню сейчас, как в первый раз Шишковы появились у меня в домике при фабрике. Привел их знакомый библиотекарь, открыл дверь и говорит:

— Вот он где обитает, Вячеслав Яковлевич, получайте его!

Я был в холщовом сером фартуке, переплетал книги. Смотрю и глазам своим не верю: «Неужели это Вячеслав Яковлевич?» Стою, разглядываю его. И он смотрит на меня.

Наконец гостя усадили к моему переплетному столу. Окружив его тесным кольцом, мы стали просить, чтобы Вячеслав Яковлевич прочитал свои рассказы и не думал возражать.

Книга, которую читали вчера, была тут же на столе. Шишков взял ее, посмотрел:

— Ну вот, прочитаем хотя бы «Плотника».

Прочитал. Показалось мало, попросили еще. Прочитал «Кикимору» и «Шефа».

Женщины уже приглашали нас к столу, устроенному на маленькой терраске, с видом на пруд и парк, но мы так увлеклись чтением, что трудно было вытащить нас из комнаты.

Удивительно было то, что дорогой гость наш так скоро стал своим человеком в нашей семье. Никакого стеснения, никаких перегородок не чувствовалось между нами.

...Был жаркий сентябрьский день. В комнате стало душно, и мы очень утомили гостя разговорами. Все вышли на террасу. Вячеслав Яковлевич охотно пил чай, постоянно шутил и смешил ребят. Выйдя из-за стола, он достал из портфеля привезенную в подарок книгу веселых рассказов «Цветки и ягодки» и написал: «Энтузиасту русской литературы, дорогому Ивану Петровичу Малютину. С большим уважением Вяч. Шишков. 2/IX—29. Ярославль, Петропавловский парк, после 18-го стакана чаю с вареньем».

Потом еще преподнес книгу «Спектакль в селе Огрызове», написал на ней: «Гостеприимному, любвеобильному хозяину Ивану Петровичу Малютину от бродячего человека и автора этой книги. Вяч. Шишков. 2/IX—29. Ярославль».

За годы нашего знакомства я получал от него все книги с автографами, за исключением романа «Пугачев», вышедшего после смерти автора.

В каждый приезд Вячеслава Яковлевича мы гуляли с ним по парку. Он просил меня рассказывать о парке, о строительстве первой полотняной фабрики в России, на которой вырабатывались полотна и салфетки для царского двора.

Он слушал охотно и с глубоким вниманием: писатель любил старину.

Прощаясь со мной, Вячеслав Яковлевич просил:

— Приезжайте в Ленинград ко мне! Какие дворцы там, и Пушкинский лицей, и другие диковинки! Вот уж погуляем везде с вами. Приезжайте-ка!..

В начале мая 1932 года я очутился в Ленинграде впервые в жизни. Город произвел на меня ошеломляющее впечатление своим великолепием. Я просто растерялся, не знал, на что смотреть и куда идти. Пошел к могилам

наших великих людей: Белинского, Добролюбова, Писарева, Некрасова, Тургенева.

Потом я поехал в Детское, к Вячеславу Яковлевичу.

С чувством какого-то трепета и волнения я подошел к двери, где под стеклом красовалась надпись: «В. Я. Шишков».

Я немного постоял и нажал кнопку. Слышу, кто-то необычно скоро спускается по лестнице и открывает дверь. На пороге Вячеслав Яковлевич. Поздоровались.

Шишковы собрались в гости.

— Вячеслав Яковлевич, вы сходите к знакомым-то, а я пока погуляю около Лицея, а потом и зайду к вам.

— Нет, нет,— горячо отвечает он,— мы успеем, заходите, раздевайтесь и отдыхайте...

Вячеслав Яковлевич нарядный, в сюртуке и шляпе, взял самовар, налил в него воду и разжег уголь. А Клавдия Михайловна, сняв пальто, хлопотала около стола и буфета.

Покончив с самоваром, Вячеслав Яковлевич стал показывать мне квартиру. Зашли в библиотеку (она же и кабинет писателя). На столе рукописи «Угрюм-реки».

— А это вот мелкие шутейные рассказы. Для отдыха после большой работы,— пояснил он.

Потом мы прошли через столовую в большую комнату.

— Все это тяготит меня,— сказал Вячеслав Яковлевич,— куда мне такую громадину — сто пятьдесят квадратных метров! Давно хочу уступить одну комнату художнику Петрову-Водкину, моему соседу...

Пока мы обозревали квартиру, самовар вскипел. Вячеслав Яковлевич торжественно поставил его на стол.

— Угощайтесь, пожалуйста, располагайтесь как удобнее, а мы на какой-нибудь часок отлучимся. Как-то неловко... Обещали сходить, значит, надо...

Я остался в квартире один.

Большие старинные часы редко, но четко отбивали секунды. Старинная мебель действительно как-то терялась в больших комнатах.

Пробежал беглым взглядом по рядам книг, стоящих в шкафах. Знакомые авторы...

Вышел на балкон, посмотрел в сад, на двухэтажный каменный дом, в котором жил со своим семейством А. Н. Толстой.

Стали спускаться сумерки. Я совсем забылся. Вдруг раздался звонок. Я пошел открывать дверь, но мне навстречу уже поднимались хозяева, так как у них был ключ, а позвонили они, чтобы предупредить меня о своем появлении.

Снова началось угощение. Вячеслав Яковлевич заставил зашуметь самовар.

После ужина направились опять в библиотеку и стали рассматривать разные рукописи. Среди них были рассказы, отпечатанные на машинке. Один из них Вячеслав Яковлевич тут же прочитал вслух. Помню, это был рассказ о дряхлом старике, который позабыл имя своей старухи...

— «Сначала,— говорит,— «молодухой» ее кликали, потом Петровной, а имя-то вот и не помню... забыл...»

Все эти копии он подарил мне.

К вечеру из Ленинграда приехали мать и отец Клавдии Михайловны, которые жили там и почти всегда на праздники приезжали в Детское, чтобы помогать Клавдии Михайловне, когда соберутся гости. А гости у них были почти всегда одни и те же: живущие через улицу А. Н. Толстой и его семейство — жена Наталья Васильевна, сын Никита, дочь Марианна и мать Натальи Васильевны — Анастасия Романовна Крандиевская. В тот вечер я разговорился с нею о ее рассказах, читанных мною еще в деревне в 1905 году. Это заинтересовало Крандиевскую, но писательница была почти совсем глуха, и разговор наш не клеился. Были в тот вечер в гостях у Шишковых, кроме семейства Толстых, еще несколько человек — художник Петров-Водкин и другие.

Был уже поздний час, когда разошлись гости. Меня устроили спать в огромном, знакомом уже мне кабинете на диване, под большим портретом Петра III.

Утром после легкого завтрака Вячеслав Яковлевич пригласил меня прогуляться по парку.

— Пока женщины готовят кое-что да управляются с домашними делами, мы погуляем...

Был ласковый весенний день, природа оживала, дышала молодостью и силой. Ее пробуждение вселяло и в нас какое-то особенно радостное и бодрое настроение.

Вячеслав Яковлевич словно помолодел, он обращал внимание на пробивающуюся из земли зеленую травку. Ходили мы от дерева к дереву и по-детски радовались зелени.

О многих случаях и приключениях за долгие годы пребывания в Сибири рассказал Шишков, упомянул и о Г. Н. Потанине.

— Я многим обязан Григорию Николаевичу...

Я тоже рассказал о своих встречах с Потаниным в Барнауле.

— Да, это был большой путешественник и чудесный человек,— сказал Вячеслав Яковлевич,— его очень любил Алексей Максимович Горький. Помню, как при первой нашей встрече с Алексеем Максимовичем, лет пятнадцать назад, Горький, расспрашивая меня о Сибири, в первую очередь спросил: «Ну, а как Потанин?» — «А разве вы его знаете?» — «Григория-то Николаевича! Отлично знаю, хотя ни разу и не встречался с ним. Такие люди, как Потанин, редки, их надо беречь и любить,— сказал Горький.— Двое таких сибиряков — Потанин да Ядринцев».

Мы много ходили по аллеям парка и все говорили и говорили о Сибири, в которой писатель за два десятка лет приобрел много друзей. Жалко было друзьям отпускать Шишкова в столицу. Особенно опечалился его отъездом Григорий Николаевич Потанин. Но Вячеслав Яковлевич обещал ему так же горячо и неизменно любить Сибирь и работать для нее. Слово свое писатель сдержал и начал писать роман «Угрюм-река».

— Над «Угрюм-рекой»,— говорил он,— я давно и напряженно работаю и молю судьбу, чтобы она дала мне возможность пожить хотя бы только для того, чтобы закончить эту вещь как мне хочется, а не как-нибудь наспех.

Радостными были для меня эти часы, проведенные с Вячеславом Яковлевичем. Он все уговаривал меня писать воспоминания.

К вечеру опять собрались гости: Наталья Васильевна Толстая с сыном и дочерью, Петров-Водкин и другие. На другой день после обеда я стал собираться в город — хотелось посмотреть на Ленинград и посетить его интересные места.

Вячеслав Яковлевич рассказал мне, как пользоваться «Путеводителем», и обратил мое особенное внимание на исторические места, которые я должен был посетить.

— У меня есть знакомые в городе, хочется посетить и их...

— А кто же они? — полюбопытствовал Шишков.

— Шлиссельбуржец Морозов, Чапыгин и два ярославца.

— Но нас-то не забывайте,— попросил он.

Ежегодно, в конце мая, во время отпусков, я приезжал в Детское. Это было три раза, три замечательные весны.

Однажды я написал маленькое руководство о том, как переплетать книги самым простым способом. Вячеслав Яковлевич обещал мне помочь издать эту книжку, но это сделать ему не удалось. Обеспокоенный, он писал мне о хлопотах, связанных с книжкой, а потом сообщил: «Письмо Ваше написано очень хорошо. Вам бы надо попробовать писать очерки, сцены с натуры, а еще лучше — воспоминания.

По страничке в день, вот, глядишь, и накопится. Я все еще работаю над фразой «Угрюм-реки», чтобы фраза и весь роман звучал... Выйдет не раньше мая — июня.

Я вчера нашел в амбаре ту книгу, которую хотел Вам подарить «По северо-западу России», в двух томах с великолепными рисунками, но растрепанная. Пришлю ее — переплетете, будет хорошая книга, интересная. А Вы пришлите мне «Медвежье царство».

Поклон Вам и всем Вашим от всех наших».

Но дело с «Угрюм-рекой» подвигалось, по-видимому, тихо, писатель все еще отделывал свой роман. Через четыре месяца я получил от него приветливое послание:

«Спасибо за ласковое письмо Ваше. Простите, что не отвечал. Очень много разных дел и забот. Все вожусь с «Угрюм-рекой», полирую, сокращаю... Переставляю куски то сюда, то туда, чтобы было стройно — легко читать. В печать еще не отдавали. Но скоро начнут набирать. Выйдет, я думаю, летом, в июне. Живем мы хорошо. Солнце гостит над землею дольше и больше, но морозы еще держатся. Но через месяц открою террасу.

«Медвежье царство» получил, спасибо за переплет. «Путешествие» все еще не собрался Вам послать в надежде, что летом заедете сами.

Поклон Тоне и всем Вашим. Скоро грачи прилетят. Вот время-то идет как быстро. Клавдия Михайловна и все наши кланяются Вам».

Потом получил еще письмо. Вячеслав Яковлевич поздравлял меня и мое семейство с новым, 1934 годом. Он сообщал:

«Жду не дождусь, когда же вышлю я «Угрюм-реку». Вот там есть что почитать и что послушать...

Вся беда в том, что сам не могу получить из магазина 20 заказанных экземпляров. В таком же положении многие мои друзья, которым не досталось из 25 экземпляров авторских. Книга, как только появляется с фабрики, ее расхватывают, я опять заказываю, злюсь и т. д.

Стихотворение милой Тони очень умное, хорошее, но не по летам печальное. Рано ей размышлять на такие темы. В будущее надо глядеть бодро и не давать оседлать себя всякой хандрой. Впереди ее вся жизнь, и жизнь ее должна хорошо сложиться потому, что она сама славная женщина. Поклон от всех нас».

В 1934 году, в Москве, на съезде писателей в перерыве между докладами я встретился с А. Н. Толстым около столов с газетами и журналами.

— А что же, Алексей Николаевич, не видать Вячеслава Яковлевича?

— Он должен быть непременно сегодня же, собирались ехать вместе, но его задержали какие-то дела.

— Алексей Николаевич, а как продвигается «Петр»?— поинтересовался я.— Когда вы его закончите?

— Сейчас занят другой работой — «Иваном Грозным», а как закончу его, и за «Петра» примусь.

Он хотел еще что-то сказать, как вдруг из густой толпы, словно поплавок из воды, вынырнул Вячеслав Яковлевич.

— Вот он! — громко сказал Алексей Николаевич.

Поздоровались мы с ним по старинному обычаю. И только Вячеслав Яковлевич стал рассказывать, почему задержался, как раздался звонок, и все заторопились в зал на свои места.

В последние дни работы съезда как-то вместе вышли с Вячеславом Яковлевичем на улицу. Было темно, холодно и поздно. Остановились около Дома Союзов, поговорили немного о жизни и Ленинграде и стали прощаться. Не думал я тогда, что расстаемся навсегда.

И вот идут годы один за другим. Многое уходит из жизни, но светлый образ родного по душе человека никогда не померкнет и не исчезнет из моей памяти, не погаснет его чистая, глубокая любовь к людям.

1955

В. Смиренский

В ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ

В 1921 году я познакомился с В. Я. Шишковым. В ту пору он был мало кому известен. В петроградском ГИЗе вышел целый ряд его, очень небольших по объему, книжечек — «Ванька Хлюст», «Чуйские были», одноактная пьеса «На птичьем положении». Известность Шишкова началась несколько лет спустя, после выхода нашумевшей повести «Ватага». Повесть «Тайга», вышедшая в 1918 году отдельным изданием, прошла как-то незамеченной, видимо, из-за гражданской войны.

Жил тогда Вячеслав Яковлевич в одном доме с А. М. Ремизовым. Бывал он у него большей частью один, изредка вместе с женой К. М. Жихаревой, известной переводчицей. Шишкову в то время было уже лет за сорок. Он носил бороду и усы, довольно длинные волосы, зачесанные назад, то и дело спускавшиеся на глаза, всегда хитро прищуренные и окруженные лучиками морщин. Одевался скромно: или во все черное, или, напротив, в светло-серый костюм, и всегда в нем было что-то домашнее, уютное.

Приехал Шишков в Петроград из Сибири и по-сибирски был радушен и хлебосолен. Особенно любил угощать гостей чаем, и я его хорошо помню за стаканом янтарного горячего чая. За чаем он любил неторопливо побеседовать, тихо и лукаво посмеиваясь.

— Писать я люблю,— говорил он,— и пишу много, но все это не то, не то...

Я посмотрел на него с недоумением, так как к середине двадцатых годов он был автором многих сборников рассказов и таких повестей, как «Тайга», «Ватага», «Пейпус-озеро».

— Мне хочется написать крупную вещь,— продолжал Шишков,— роман большой, что ли, но вечная суета, вечная нужда мешает сосредоточиться. Вот и занимаюсь всякой мелочишкой, чтоб прокормиться, да исподволь, не торопясь, давно облюбованным романом заняться...

Шишков действительно много написал коротких юмористических рассказов, и к 1926 году их собралось три тома в только что начавшем выходить собрании его сочинений. И в беседе постоянно шутил. Как-то, будучи в веселом настроении, он взял мой альбом и записал в нем частушку:

Ну, ребята, пляшитē,
Не жалейте лапти-тē,
Ежели эти порветē,
Батька новые сплятē!

Он прочитал эту частушку и, хитро подмигнув мне, долго хохотал густым басом.

Шишков любил послушать стихи, но не терпел модных в те годы «новых» поэтических школ, особенно имажинистов, выделяя из их среды только одного Сергея Есенина, полагая, что Есенин попал к ним просто по недоразумению.

Любил Шишков почитать и читал собственные произведения превосходно, с чисто актерским мастерством. Он никогда не отказывался принять участие в местных вечерах и концертах, так же охотно читал у себя дома.

Плотно усевшись в кресло, надев большие роговые очки, Шишков медленно перелистывал рукопись и, встряхивая непослушные пряди волос, читал ясным и сильным голосом рассказ или отрывок из своих последних вещей.

Как и многие начинающие, я расспрашивал Вячеслава Яковлевича о том, как он работает. Шишков показывал мне черновые страницы, перечеркнутые, переправленные по нескольку раз.

— Пишу я залпом и всегда пером,— объяснял он.— Но зато потом я прохожусь по рукописи основательно и правлю ее беспощадно. Бывает, что написанное совсем не удовлетворяет меня, и тогда пишу все заново.

В конце двадцатых годов В. Я. Шишков перебрался из Ленинграда в Детское Село (г. Пушкин), а потом я уехал, и встречи наши прекратились.

4 Зак. 943

Время от времени мы переписывались. Однажды по моей просьбе Шишков прислал мне свою фотокарточку, затем другую, так как первая, по его мнению, была неудачной. В надписях он назвал меня «давнишним своим знакомым». В 1940 году я попросил Вячеслава Яковлевича прочитать мою новую книгу стихов. Он мне ответил:

«Дорогой Владимир Викторович, я в стихах разбираюсь плохо. Да и занят очень. Пришлите небольшую книгу художественной прозы. Отзывы я давать не мастер. Всего хорошего. Вяч. Шишков. 10.XI.40 г.».

В. Я. Шишков часто говорил мне о необходимости писать понятным и простым языком, чтобы читателю все сразу было ясно, чтобы не ломал он голову над каждой фразой, не удивлялся акробатическим трюкам, которыми так увлекаются некоторые авторы. В 1941 году я закончил биографическую повесть о Каронине-Петропавловском и попросил Вячеслава Яковлевича посмотреть ее и написать беспристрастный отзыв, обратив внимание на ее язык. Он охотно взял мою рукопись — фигура Каронина его интересовала — и скоро вернул мне ее с таким письмом:

«г. Пушкин, Московская, 7
21.VI.1941.

Уважаемый Владимир Викторович!

Я пробыл в Крыму апрель и май до 7 июня включительно и по приезде в Пушкин прочел Вашу работу о Каронине. Вчера получил Ваше письмо.

«Каронин» меня не удовлетворил. Много стилевых небрежностей. Да и по сути дела не все в порядке. Либо Вы поленились использовать материалы в достаточной степени, либо у Вас были скудные запасы сведений о Каронине: во многих местах, вместо того чтобы давать насыщенные фактами страницы, Вы отделываетесь пейзажиком, причем описание пейзажей не типично, однотонно, банально. С таким произведением в Союзе лучше не выступать. Ни я, ни всякий другой писатель положительного отзыва дать не смогут.

Может быть, у Вас еще что-нибудь есть более подходящее, ведь Вы же умеете неплохо писать. Вы пишете, что Вам «в Союзе обещали». Не доверяйтесь обещаниям, теперь прием в члены обставлен сугубо строго.

Представили ли Вы в Союз свои книги, если да, то не знаете ли, кому эти книги Ваши будут даны на отзыв?

Зачем Вам понадобилось представлять сверх книг еще рукописи?

Жду Вашего ответа.

С уважением Вяч. Шишков.

P. S. Что делать с «Карониным»? Может, передать кому или же переслать Вам? В рукописи есть места и очень хорошие.

В. Ш.»

По существу Шишков был прав: повесть не удалась. Но в отношении пейзажей я пострадал невинно. Пейзажи я вставил целиком каронинские...

В тяжелые дни ленинградской блокады В. Я. Шишков, уже глубокий старик, не покинул осажденного города и много работал. Он продолжал писать крупнейший свой исторический роман «Емельян Пугачев», который он так и не успел закончить. Но три тома «Пугачева» — это блестящая по исполнению эпопея, созданная в труднейших условиях войны.

1957—1977

П. С. Богословский

ДРУГ

Моя первая встреча с Вячеславом Яковлевичем Шишковым произошла в октябре 1924 года, в Крыму, в знаменитой Гаспре, связанной с именами многих выдающихся представителей русской культуры (Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, А. М. Горький и другие).

С первых же бесед о литературе, о русской культуре, о советских писателях и творчестве вообще наши с Вячеславом Яковлевичем отношения приняли дружеский характер, и через месяц мы расстались уже крепкими друзьями. Сразу же у нас началась переписка. Вячеслав Яковлевич жил тогда в Ленинграде на Караванной улице. Я был в то время профессором Пермского университета, заведовал кафедрой русской литературы.

Вячеслав Яковлевич занят был кипучей литературной работой. Его творческая деятельность быстро и широко развертывалась. Планы у него были широкие, жажда творчества неимоверная, все его живо интересовало, он жадно наблюдал действительность, впитывая все новое, живое, передовое, вспоминал и анализировал все пережитое, отбирал нужное для творческой работы, любовно погружался в чудесные глубины русского языка, глубоко интересовался историей русского художественного творчества, памятниками народной культуры. Ему очень хотелось проверять себя в дружеской беседе, он крепко нуждался, по его словам, в строгой критической оценке своих произведений.

В процессе нашей интенсивной переписки и в результате многих бесед я пришел к мысли заняться исследованием творческой работы Вячеслава Яковлевича Шишкова, анализом его литературных произведений. Вячеслав Яковлевич «ухватился» за мою мысль: он был очень об-

радован. Это было в 1925 году. Так определилось основное содержание последующей нашей переписки.

Я видел быстрый рост писателя, наступающий расцвет его таланта. Мне хотелось ознакомиться в конкретных деталях с жизненным и творческим путем Вяч. Шишкова. Я заинтересовался историей отдельных произведений Вячеслава Яковлевича, фактической их основой, их творческим замыслом, идеями, которые он вынашивал и воплощал. Меня конкретно интересовала связь его творчества с жизнью, прототипы его персонажей. Мне хотелось глубоко войти в творческую лабораторию Вяч. Шишкова и в то же время посильно, по-дружески помочь ему, если будет в этом у писателя надобность.

Я задавал в своих письмах Вячеславу Яковлевичу массу вопросов, высказывал свои соображения, ссылался на интересный для него материал — все это в указанном выше плане и перспективно.

Вячеслав Яковлевич очень охотно отзывался, просил задавать ему больше вопросов, присылал мне свои рукописи, правки, конспекты, наброски вариантов, постоянно запрашивал мое мнение, консультировался. При последующих личных встречах (они всегда носили радостный характер для нас обоих) мы совместно обсуждали произведения Вячеслава Яковлевича, нередко спорили, искали лучшего решения творческих замыслов писателя. Так, я настаивал, чтобы Вячеслав Яковлевич снова взялся за «Угрюм-реку», давно уже им начатую. Еще более оживленной стала переписка, когда Вяч. Шишков начал писать «Емельяна Пугачева» и интересоваться разными материалами, связанными с этой темой (это было уже после перевода в Москву и, в частности, во время моей работы в Историческом музее). Я отвечал на его вопросы, указывал на интересные источники, сообщал любопытные, нужные для работы факты, присылал свои соображения. Однажды Вячеслав Яковлевич пригласил меня к себе в Детское Село (в 1940 году) для анализа либретто оперы об Иване Грозном (музыку должен был написать композитор, ленинградский профессор В. В. Щербачев). Помню, как Вячеслав Яковлевич крепко задумался и потом начал ходить по кабинету, когда развернулась перед ним картина разносторонней деятельности Грозного. Он просил подробней рассказать о замечатель-

ной библиотеке Грозного, его отношении к деятелям тогдашней литературы и. т. д.

Писатель Вяч. Шишков неотделим от Вяч. Шишкова-человека. Все соприкасавшиеся с ним вспоминают о нем с глубоким уважением и любовью. Это был чудесный человек, широкая русская душа, воплощение лучших качеств русского народа. Всей своей жизнью и деятельностью Вяч. Шишков показывал, какое значение он придавал труду, как честно и любовно относился к нему. Мы имели возможность наблюдать, как интенсивно развертывалась творческая работа Вяч. Шишкова в течение последних двадцати лет.

В его многочисленных письмах ко мне содержится богатейший материал о творческом пути Вяч. Шишкова, раскрывается глубокая душа его, необычайно сердечная. Я имел возможность непосредственно знакомиться с его творческой лабораторией, изучать его рукописи и самый процесс оформления материалов. И надо прямо сказать: это был напряженный труд писателя, зрелого художника слова, который к своим природным данным присоединял мастерство, выработанное годами.

Основой творчества Вяч. Шишкова была жизнь. Это был острый, наблюдательный, умудренный жизнью писатель, умевший облекать свои жизненные наблюдения в яркую форму. Об этом убедительно говорили записные книжки Шишкова. В своем творческом труде, стремясь к «правдивому изображению событий» (письмо от 18 августа 1942 года),— а это был основной принцип Шишкова — писатель искал наиболее лаконичное оформление.

Напряженно работая, Вяч. Шишков в то же время принципиально и практически был решительно против всякой спешки в литературной работе, так как спешка часто влечет за собой небрежность стиля (письмо от 21 августа 1932 года). Высокие требования Вяч. Шишкова к себе как к писателю вытекали из его взгляда на творческую работу, которую он считал служением народу.

Человек удивительной скромности и скромного мнения о своих способностях, Вяч. Шишков нередко, анализируя поставленную перед собой творческую задачу, сомневался, удастся ли ему ее выполнить. Так было в 1929 году, когда он продумывал тему об аракчеевщине. Так он думал и незадолго до смерти. 13 декабря 1944 года он пишет мне: «Решили издавать «Пугачева» в трех томах, а

то второй том получается чрезмерно пухлый, за 60 листов. Сейчас Пугачев подходит к Саратову, дело идет к развязке. Тут нужно сильное душевное напряжение, иначе все померкнет. Предстоит изображение трагических моментов — хватит ли пороху — не знаю. А хотелось бы...»

В письме от 30 июля 1943 года, сообщая об упадке физических сил в связи с возрастом, Вяч. Шишков пишет о своей неутомимой жажде творческой работы: «А дух бодр и творчество бушует, ходит по жилам. Удивляюсь на самого себя! Лишь бы кончить «Пугачева», а там и на отдых можно, в гроб, в землю. Кончу и с народом буду в расчете, все, к чему был призван,— посильно завершено. Пусть люди и поскучают, и поулыбаются, и поучатся жизни на моих страницах. Вся моя жизнь была в литературе, иных страстей не знал». С этими мыслями Вяч. Шишкова о связи с народом перекликаются его высказывания на 70-летнем юбилее в октябре того же года.

Искренняя скромность Вяч. Шишкова особенно убежденно звучит в его суждениях о своем творчестве.

В письме от 17 марта 1926 года Вяч. Шишков еще соглашается признать у себя отнюдь не талант, а лишь «изрядное дарование», в корне которого «тихий юмор, драма, трагедия и трагический юмор, согретый любовью к человечеству». Указывая на то, что ему «не хватает широкого европейского образования» и «холодного ума», он замечает: «Но душа моя, конечно, мягкая и теплая»...

Имея всегда на первом плане народ, Вяч. Шишков, этот действительно народный писатель, считал народ, массу читательскую своим главным ценителем, находя, что профессионалы-критики, не понимая его, далеки от истины. А о массовом читателе Вяч. Шишков всегда был высокого мнения. «Ни за какой славой,— пишет он мне 2 июня 1933 года,— ни за какими почестями я не гонюсь, я не люблю почестей, я люблю справедливость нелицеприятную. И я ее получу от друга-читателя, от миллионов подрастающей молодежи, и я знаю, что читатель меня чтит и ценит. И в этом — все».

Поэтому понятно, как глубоко взволновала Вяч. Шишкова высокая оценка советским правительством (присуждение ордена Ленина и медали «За оборону Ленинграда») литературных заслуг перед народом и Родиной. В понимании Вяч. Шишкова правительственная

оценка была выражением массово-читательской, народной любви к нему. В письме от 30 июля 1943 года, делясь своими переживаниями, сообщая о сдаче вновь отредактированного первого тома «Пугачева» в печать для переиздания, Вяч. Шишков пишет: «И радость за радостью: на днях получил от Ленинградского Союза писателей телеграмму, президиум поздравляет меня с наградой — медаль «За оборону Ленинграда». Неожиданно, ошеломляюще. Ну, эту награду, без хвастовства скажу, я выстрадал, работая в голоде, холоде, среди всяких прелестей блокады — над Емельяном Пугачевым и над рассказами на военные темы...»

Только тщательный анализ всего литературного наследия Вяч. Шишкова, историко-литературные разыскания, изучение мемуарных и эпистолярных материалов о нем могут привести к полной и справедливой оценке его личности и литературной деятельности.

Но и теперь можно смело и обоснованно сказать, что Вячеслав Яковлевич Шишков как творец «Емельяна Пугачева» и «Угрюм-реки» безусловно является выдающимся русским писателем, которым по праву гордится советская литература.

1954—1963

Л. Р. Коган

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

I

Было слегка дождливое утро пятого июня 1928 года, когда я впервые приехал в Детское Село (ныне г. Пушкин), чтобы лично познакомиться с Вячеславом Яковлевичем. До этого мы были знакомы только по переписке, и он знал обо мне лишь как о пропагандисте его произведений.

Мне стоило некоторого труда разыскать Малую улицу, указанную в адресе: она была переименована в улицу Революции. Найдя ее наконец с помощью детскосельского старожила, я пришел довольно усталый от прогулки под дождичком к дому № 14 — деревянному, двухэтажному, выкрашенному в коричневый цвет, с мезонином и с верандой в первом этаже.

Меня провели в кабинет — большую проходную комнату, окнами на улицу. И сразу я испытал чувство удивительно простого и теплого уюта.

И красивая, но без всяких вычурных украшений, мебель красного дерева, и большой письменный стол, настоящий рабочий стол писателя, с простым прибором, и шкаф с книгами, расставленными в строгом порядке, и картины по стенам — пейзажи, портреты Вячеслава Яковлевича и его жены, и большой ковер — все это было хорошее, добротное, без претензий на роскошь, без излишеств,— всего в меру. Во всем чувствовалась хозяйская рука, особенно в той своеобразной чистоте, которая наводится не перед праздниками и не от случая к случаю, а бывает самой основой быта, вкоренена в жизнь. Оттого и большая комната, несколько затемненная верандой, казалась светлой и радушной, оттого и первая мысль при взгляде на эту комнату была: «Здесь должны жить очень хорошие люди».

Вячеслав Яковлевич встретил меня посреди кабинета и крепко пожал руку, словно старому знакомому. Был он высок ростом, статен, русые волосы (он начал седеть поздно) были откинуты назад, и лишь одна непокорная прядь свисала на большой умный лоб. Мягкая бородка клинышком и такие же мягкие русые усы прикрывали довольно полные губы.

Его глаза — добрые и улыбчивые — пытливо взглянули на меня из-под бровей.

Первое впечатление было таково: здоровый, плотно сложенный человек, в расцвете лет, живой и, видимо, весьма обходительный. И впрямь эта обходительность сразу сказалась в первых же приветственных словах: «Ну вот и хорошо, что приехали!» — и в немедленном приглашении к завтраку, и в чисто русском хлебосольстве вообще. И такое же впечатление простоты и радушия произвела молодая жена писателя Клавдия Михайловна.

Не помню случая, чтобы, знакомясь с кем-нибудь, я через несколько минут чувствовал себя столь свободно и хорошо.

За завтраком разговор пошел раньше всего об успехе рассказов Вячеслава Яковлевича в массовой аудитории. Я вспомнил несколько забавных эпизодов, касающихся «Спектакля в селе Огрызове». В одном из сел Одесской губернии меня уверяли, что все в этом рассказе списано со случая именно в этом селе, и даже называли местную Танечку, а в Васютине узнавали инструктора райполитпросвета.

Вячеслав Яковлевич слушал с большим интересом и от души смеялся.

— А я и не бывал в Одесской губернии,— заметил он.

В течение нескольких лет я непосредственно наблюдал действие рассказов Шишкова на крестьян.

Вот, например, в 1924 году я проводил конференцию крестьянских читателей в большом районном селе Петроверовке, Одесского округа. После конференции я устроил чтение рассказов Вячеслава Яковлевича. Эффект был необычайный. «Просвещение», «Хреновинка», «Радио-сатана», «Спектакль в селе Огрызове», «Смычка», «Усекновение», «Отцы-пустынники», «Гумага» вызывали не только гомерический хохот, но и длительные горячие обсуждения вопросов электрификации, телефонной и радиосвязи, вопросы культуры и борьбы с невежеством и

религиозными предрассудками. В этих обсуждениях горячо высказывались и стар и млад, мужчины и женщины. Меня упрашивали еще и еще читать такие рассказы Вячеслава Яковлевича. Пришлось устроить вторичное чтение в избе-читальне — для крестьян близлежащих деревень, которые, прослышав об интересных рассказах, настоятельно требовали дать и им возможность послушать.

И всюду, где я ни проводил это чтение, повторялась одна и та же картина. О том же сообщали мне сельские учителя и библиотекари, также проводившие чтения.

Об этом-то я и рассказал теперь автору.

— Да, такие рассказы, видимо, нужны,— сказал Вячеслав Яковлевич,— спрос на них и здесь большой, а вот критика меня за них не жалует.

После завтрака, хотя накрапывал дождь, Вячеслав Яковлевич предложил мне посмотреть детскосельские парки. Бегло взглянули мы и на Екатерининский и Александровский дворцы, и Вячеслав Яковлевич увел меня в глубь парков, где каждая тропинка была им исхожена. Он показывал мне свои любимые места, обращал внимание на художественную группировку деревьев и кустарников, любовался оттенками зелени. Он, однако, выражался немногословно, несколькими словами, давая почувствовать, что возбуждало его внимание.

Узнав, что я скоро перееду в Ленинград и буду работать в Политико-просветительном институте имени Крупской, Вячеслав Яковлевич начал убеждать меня поселиться в Детском Селе.

— Здесь куда лучше чувствуешь себя, чем в Питере,— доказывал он.— И место здоровое, высокое, и ветров балтийских нет, и тихо, и благоустроенно, и природа, как видите, чудесная. А до Ленинграда — рукой подать, полчаса поездом.

Я поступил по его совету.

С этого времени и начались мои частые встречи с Вячеславом Яковлевичем, вскоре приведшие к длительной, постоянной и никогда ничем не омраченной дружбе.

2

Постепенно, в долгих задушевных беседах, раскрывался передо мной характер Вячеслава Яковлевича. Основной чертой его натуры было крепкое жизнелюбие,

из которого исходили жизненная стойкость и здоровый реалистический оптимизм.

Вячеслав Яковлевич, как многие русские писатели, был смолоду неутомимым странником по родной земле. Любовь к странствиям сохранил и в старости. Он страстно любил свое обширное отечество, его природу, людей и их дела.

Родиной писателя был г. Бежецк, Тверской губернии. С этим городом и его окрестностями связаны были детские воспоминания Вячеслава Яковлевича.

В течение долгих лет моего близкого знакомства с Вячеславом Яковлевичем он, однако, редко и скупо говорил о своем детстве. Из его слов можно было заключить, что он с ранних лет был очень восприимчив к красоте природы и отличался большой наблюдательностью. Быт, нравы, язык окружавшей его в те годы провинциальной мещанской среды накрепко запечатлелись в памяти Вячеслава Яковлевича. Одно время он даже подумывал об автобиографической повести, ограниченной годами детства и отрочества. Работа над «Угрюм-рекой» и «Пугачевым» помешала ему осуществить этот замысел. Гораздо чаще вспоминал Вячеслав Яковлевич о Сибири, где в молодости работал техником на строительстве дорог. Величественная тайга, сквозь которую он пробирался с партией рабочих-дорожников, могучие Енисей и Лена, суровая проза и поэзия Севера очаровали его на всю жизнь.

Часами мог он рассказывать о встречах своих с интереснейшими сибирскими людьми (особенно любил и ценил он Г. Н. Потанина), о таежных обитателях и бродягах, чукчах, о тунгусах, быт которых он знал до мелочей. Огромное количество заметок и наблюдений над сибирской жизнью заключено было в двенадцати его записных книжках той поры. Лишь частью их он успел воспользоваться для «Тайги», «Пурги», «Угрюм-реки», «Ватаги», «Страшного кама», «Черного часа» и других повестей и рассказов. К сожалению, эти ценные материалы были оставлены Вячеславом Яковлевичем при эвакуации из города Пушкина во время войны и погибли.

Насколько хорошо знал Шишков быт дальнего Севера, показывает следующий случай.

В 1929 году в Политико-просветительном институте имени Крупской, где я заведовал кафедрой литературы, существовал антирелигиозный факультет. Студенты как-

то пожаловались мне, что из лекций не смогли составить себе ясного представления о религиозных верованиях народов Северной Сибири и о характере шаманства. Я посоветовал декану устроить встречу студентов-антирелигиозников с Вячеславом Яковлевичем.

Шишков не без колебания принял приглашение и добрую неделю основательно готовился к своей лекции. В аудиторию он явился с бубном, принес еще какой-то металлический треугольник с палочкой и какие-то другие принадлежности шаманского культа. В течение двух часов он подробно и красочно рассказывал о своих наблюдениях над шаманами и их религиозными обрядами. Этой увлекательной лекцией захвачены были не только студенты, но и преподаватели факультета, с интересом ожидавшие, что выйдет из писательской беседы. А вышло то, что студенты подробно законспектировали ее и так забросали лектора вопросами, что пришлось отменить следующую лекцию, чтобы дать Вячеславу Яковлевичу возможность всем ответить. После лекции студенты с особенным интересом взялись за чтение его сибирских рассказов. Повесть «Страшный кам» фигурировала даже в качестве пособия для экзаменов.

Возвращаясь после лекции домой, Вячеслав Яковлевич с удивлением сказал мне:

— Как заинтересовались! Вот не думал, что у меня выйдет из этого что-нибудь путное.— В этих словах сказалась его обычная скромность.

Вряд ли кто из русских писателей так одухотворенно и любовно воспроизвел поэзию сибирской природы, как Шишков в замечательной своей «Угрюм-реке».

Он не порывал связи с Сибирью, и частенько у него в Пушкине бывали заезжие сибиряки: и писатели с именем, и начинающие, и инженеры, и техники, и агрономы.

Вячеслав Яковлевич прекрасно знал литературу о Сибири, очень ценил очерки Наумова и Тана, повести Серошевского и особенно Короленко и Мамина-Сибиряка.

Он называл Сибирь своей второй родиной и предсказывал ей блестящую будущность.

— Прекрасный народ — сибиряки! — говорил он, улыбаясь.— Кряжистые, волевые.

В начале Великой Отечественной войны, когда наша Красная Армия была вынуждена отступать под бешеным

натиском гитлеровских полчищ, Вячеслав Яковлевич взволнованно сказал:

— Армия еще не отмобилизована полностью. Вот увидите: придут сибиряки на фронт — другая музыка будет.

Когда я по эвакуации попал в Новосибирск, Вячеслав Яковлевич 26 января 1943 года писал мне: «Вот и Вы в Сибири живете, жаль, что в такое тяжелое время, пожалуй, превратное составите о ней мнение». Он огорчался при мысли, что я не сумею оценить Сибирь по достоинству.

В словах Вячеслава Яковлевича о Сибири всегда звучала нотка благоговейной благодарности. Он говаривал, что тайга-матушка сделала его писателем, научила его понимать и любить природу и человека.

— Так и тянуло меня смолоду,— рассказывал он,— записывать свои наблюдения и впечатления, и разные случаи и сценки, и портреты людей, а для чего — и сам толком не знал. Первые рассказики для себя писал, для собственного удовольствия. Показалось — выходит что-то. Друзья, которым читал, поддержали. Но только с «Тайги» почувствовал себя писателем. Очень обязан я Горькому. Ему «Тайга» понравилась, расхвалил он ее, но тут же и слабые стороны указал, по-строгому указал, и посоветовал целиком отдаться литературе и переехать в Петербург. Так и расстался я с Сибирью.

Этой «второй родине» Вячеслав Яковлевич отдал обильную дань в своем творчестве.

3

Глубоко любил Вячеслав Яковлевич и Ленинград, особенно город Пушкин.

Он восторгался планировкой города Ленина, его величественностью, размахом площадей, парками и садами, гениальным зодчеством Кваренги, Росси, Растрелли, Воронихина, замечательными памятниками работы Фальконе, Клодта и Козловского. Особенно нравились ему Дворцовая площадь, улица Росси и весь ансамбль площади Островского, Нева и ее набережные, перспектива Фонтанки от Аничкова моста и Казанский собор.

— Посмотришь на все это,— говорил он,— и радуешься: какую красоту может создать человек!

И все-таки, мне кажется, красоту природы Шишков любил больше, а поэтому и жил в Пушкине.

Пушкинские парки Вячеслав Яковлевич знал до самых потаенных уголков. У него были здесь свои любимые аллеи, любимые деревья. Он любил выходить за Бобловский парк и гулять в поле, наслаждаясь яркими красками заката и пряным запахом трав.

— Хорошо тут работать,— не раз повторял Вячеслав Яковлевич,— устанешь от писания — выйдешь в парк, погуляешь часок, и снова голова свежа. Да и обдумывать хорошо во время прогулки...

Природа действительно побуждала его к работе. Она же давала ему и наилучший отдых.

Именно здесь, в аллеях Екатерининского и Александровского парков, задуманы лучшие главы «Странников», «Угрюм-реки» и «Емельяна Пугачева».

Вячеслав Яковлевич очень любил северную осень, но побаивался сентябрьских и октябрьских ветров, туманов, хлябей. В это время он обычно уезжал на юг, преимущественно на Южный берег Крыма или на Черноморское побережье Кавказа. Иногда поездка совершалась весной. Крым ему был очень по душе.

Вячеслав Яковлевич умел наслаждаться заслуженным отдыхом. «На курорте надо жить, подобно цветку горному, произрастая, т. е. жизнью растительной, бездумной...» — поучал он.

Впрочем, долго отдаваться отдыху, даже среди самой цветущей природы, он не был способен. «Вот Вы впряглись в работу,— пишет он из Гаспры,— существуете с пользой для себя и для людей, а я лодырь, лежебок, Обломов, лень, как желчь, разлилась по всей моей душе, о Пугачеве вспоминаю изредка и, вспомнив, всякий раз вздыхаю: и надо бы, а ленишка одолевает, как монаха блудные видения». «Лениться уже надоело»,— жалуется он после двухнедельного отдыха в Сухуми.

Поэтому поездки для отдыха сменялись путешествиями познавательного характера. Вечно испытывал он жажду побольше видеть и побольше знать. То влекло его в Соликамск, то на Урал, то на Кубань — видеть новое строительство. И всякий раз он возвращался оживленный, обогащенный множеством впечатлений — всегда сильных и ярких благодаря его тонкой наблюдательности и умению быстро «вживаться» в новые условия.

Вячеслава Яковлевича увлекала, например, работа эпроновцев. Он наблюдал поднятие ледокола «Садко», с восхищением отзывался о Ф. Крылове и его героических водолазах.

С юмором рассказывал он:

— Нас было несколько писателей на борту спасательного судна: Алексей Толстой, я, Людмила Попова в мужских штанах и другие. Мы сидели у телефона и получали очередные донесения водолазов. Вели мы и бортовой журнал. А Фотий Иванович посмеивался и приговаривал: «Старайтесь, старайтесь».

И далее следовал подробнейший рассказ о приемах эпроновских работ и об удивительной волевой закалке водолазов.

В августе 1930 года Вячеслав Яковлевич писал мне из Краснодара: «Задыхаемся от пыли степей Сальских и Астраханских, дивимся на чудеса строительства... мы с А. Н. (Толстым) осматривали «Гигант», совхоз № 2. Послезавтра думаем двинуться на Азовское море, в Темрюк — по Кубани — места новые, интересные».

А осенью оба, и Шишков, и Толстой, наперебой с восторгом рассказывали о величественном зрелище грандиозных колосящихся нив, о великолепной совхозной технике. Вячеслав Яковлевич со своей милой усмешкой в усы добавлял:

— Один из совхозов называется «Верблюд». А почему — не мог дознаться.

Очень нравился Шишкову ростовский «Сельмашстрой», которому, по его мнению, уступал даже Сталинградский тракторный.

В 1931 году он писал мне из Свердловска:

«Сегодня сделал последний, 9-й рейс на Уралмашстрой. Материалов много. Сейчас там 700 бригад, охвативших 20 000 рабочих. Вблизи этого, второго по счету завода в Союзе вскоре будет выстроена группа новых заводов-гигантов. Здесь будет рабочий город на 600 000 человек. Новый город, в густом сосновом лесу, на возвышенном плато».

Из этой поездки Вячеслав Яковлевич привез обильный фактический материал и многочисленные, очень колоритные записи своих впечатлений. Он собирался написать ряд очерков о промышленном строительстве на Урале.

В каждом месте, в каждом городе Вячеслав Яковлевич быстро и тонко схватывал его особенности и накрепко их запоминал. И в письмах и в беседах он набрасывал оригинальные портреты городов.

Вот, например, писал он об Одессе в 1935 году. «Одесса нас очаровала. Чудесный город, очень красиво распланированный и обстроенный, с прекрасными панорамными перспективами, но, к сожалению, с блеклыми, чахлыми скверами. Наши детскосельские парки сверкают сочной зеленью, а здесь — все выжжено солнцем, которое здесь светит вовсю, ежедневно. Пыли мало, грязи нет, но чувствуется какая-то неприбранность — либо нет денег у города, либо хорошего глаза: надо город подрумянить, подкрасить, подпудрить. И все же Одесса прекрасна. По-иному воспел бы ее Пушкин, если б жил в наше время».

Он восхищался Москвой, и особенно ее памятниками старины. За год до смерти ему удалось побывать в Кремле и осмотреть Грановитую палату и терема. «Вот где душа моя окунулась в историческое наше прошлое,— писал он.— Какая изумительная архитектура, фрески, печи, трон, кровать. Входили и выходили через Спасскую башню, через весь Кремль, мимо всех соборов, мимо Царь-колокола».

Но как ни восторгался Вячеслав Яковлевич Сибирью, Крымом, Кавказом, Уралом, Москвой, Киевом, Одессой, Севастополем, а всегда с наслаждением возвращался в Пушкин.

«Нет ничего лучше Пушкина»,— писал он мне из Крыма. И это же повторял всякий раз по возвращении даже из самых интересных поездок. Этот чудесный зеленый город вдохновлял его, создавал условия, которые мощно возбуждали воображение и способствовали творческому труду.

4

В 1930 году Шишковы переехали на новую квартиру по Московской улице в доме № 7, во втором этаже, с большой, выходящей в сад верандой, по бокам прикрытой цветными стеклами. В этой квартире было три комнаты.

В большой столовой (она же гостиная), очень светлой, с выходом на веранду, стены были оклеены оранжевыми обоями, на фоне которых очень красиво выделялась мебель красного дерева, большая ковровая тахта. Около последней стояли буфет, шкафик — радиоприемник и горка со стеклом и фарфором. У противоположной стены — пианино, а на нем коллекция фарфоровых кукол — этнографических типов народностей СССР.

Обеденный стол, стулья, высокое зеркало в углу — вот и вся обстановка.

В кабинете Вячеслава Яковлевича было тесновато, но очень уютно. Справа от входа стоял шкаф с книгами, а вдоль стены до окна письменный стол. В углу, на подставке,— бронзовый Данте. Еще один книжный шкаф помещался в простенке между двух окон. В нем находились все издания произведений Вячеслава Яковлевича. Напротив него — шкафик, где хранились рукописи и архив. У стены — в глубине комнаты — диван, два кресла, небольшой стол с лампой, на котором обычно лежали новые книги. На стенах развешаны были любимые картины Вячеслава Яковлевича.

Вячеслав Яковлевич, в роговых очках, большую часть своего рабочего дня проводил за письменным столом, на котором лежали груды его тетрадей и записных книжек. Здесь не было педантичного порядка, да и не могло быть: стол не знал отдыха и материалы всегда должны были находиться под рукой.

Сам Вячеслав Яковлевич вздыхал по поводу своей «неряшливости», как он выражался, но оправдывался тем, что это же «лаборатория в действии».

Писал он быстро и уверенно, непокорная прядь свисала на лоб. Иногда, прервав писание, он задумчиво глядел в окно на деревья сада или на Данте и в эти минуты чем-то неуловимым в лице напоминал портреты Чехова.

Лежали на столе и книги, которыми пользовался Вячеслав Яковлевич при работе. По содержанию они были весьма разнообразны.

Во время создания «Угрюм-реки» здесь можно было увидеть и книги о Сибири, и научные сочинения по психиатрии, которыми Вячеслав Яковлевич интересовался, когда писал о душевном недуге Прохора Громова, и том Ленина со статьей о Ленском расстреле, исторические материалы о рабочем движении и т. п.

Когда Вячеслав Яковлевич писал «Пугачева», на столе находились исторические и экономические труды XVIII века: книга Беляева и статьи Грекова об истории крестьян соседствовали с мемуарами Болотова, «Записки» Державина — с брошюрами Рычкова, статистическими справочниками и томами «Русской старины».

Вячеслав Яковлевич по натуре был человек общительный, и его дом стал притягательным центром в Детском Селе. В конце двадцатых годов здесь жили многие деятели искусства и науки. Все они были знакомы друг с другом и часто собирались по-товарищески потолковать и совместно отдохнуть от работы. Шишковские «пятницы» собирали обычную компанию, в которой, однако, то и дело появлялись новые лица, приезжие из Москвы, Сибири или из провинции.

Завсегдатаями «пятниц» бывали А. Н. Толстой, К. А. Федин (подолгу живавший в Детском), художник К. С. Петров-Водкин, из Ленинграда наезжали О. Форш, Евг. Замятин, Ал. Прокофьев, И. С. Соколов-Микитов, Л. О. Раковский, бывали приезжие — М. М. Пришвин и др. Впоследствии я часто встречал здесь композиторов: Г. Н. Попова (великолепного пианиста), Ю. Шапорина, Д. Френкеля, писавшего оперу на сюжет «Угрюм-реки», музыковеда В. Богданова-Березовского, артистов оперы Г. Нэлеппа и Б. Фрейдкова и др.

Живые и веселые были эти шишковские «пятницы». Здесь все чувствовали себя свободно и непринужденно. Не было никакой предвзятости. В товарищеской беседе мирно уживались люди разных воззрений на искусство, хотя беседы эти имели очень дискуссионный и страстный характер, отражая те споры, которые волновали тогда и литературную общественность, и критику, и читателей.

«Пятницы» лишены были какой бы то ни было программы, разве что иногда заранее было известно, что кто-либо собирается прочитать товарищам по искусству новый рассказ или отрывок, чтобы услышать нелицеприятное мнение.

По поводу прочитанного обыкновенно не бывало каких-либо прений общего характера, да они и не нужны были. Отдельные замечания, подчас очень острые, обличавшие подлинных мастеров словесного искусства, тонкие штрихи писательской мысли давали автору больше, чем критические рассуждения общего характера. Тут и

можно было убедиться, насколько необходима писателям компетентная критика и как они дорожат ею, хотя бы в дружеской форме и был высказан самый отрицательный взгляд на прочитанное.

Из этих чтений мне особенно запомнилось одно: Вячеслав Яковлевич читал «Веселый разговор» — забавную пьесу на современную тему в духе народного лубка. Она была направлена против кулаков и пройдох-хозяйчиков и сопровождалась комическими хоровыми песнями на церковные мотивы. Сам Вячеслав Яковлевич распевал их баском очень забавно, особенно припев:

Вот так диво дивное —
Кооперативное.
Вот так чудо чудное —
Дело вышло трудное.

Получалась острая пародия на мистериальное действо. Вячеслав Яковлевич пробовал создать современную пьесу-лубок, и этот опыт не лишен был значения, комедия ведь и до сих пор наиболее бедный участок советской драматургии.

После окончания чтения водворилось молчание.

— Что скажут дорогие гости? — спросил наконец автор.

Вячеслав Яковлевич, видимо, волновался, ожидая отзывов.

Но все молчали. Только кто-то предложил:

— Просить автора еще раз спеть песни.

Вячеслав Яковлевич улыбнулся и больше не настаивал на обсуждении. Он сразу почувствовал, что пьеса не понравилась, и утерял к ней интерес. Мне представлялось, однако, что некоторые моменты этого оригинального опыта могли быть существенно полезны, а самая пьеса — вполне пригодна для театра кукол. На следующий день я сказал об этом Вячеславу Яковлевичу. Он, по обыкновению, внимательно выслушал и ответил:

— Мне тоже, пока писал, казалось, что есть тут кое-что интересное, но теперь я вижу ясно, что ошибался. Товарищам пьеса не понравилась, и они, конечно, правы. Пес с ней, с пьесой...

Он пробовал все же заинтересовать комедией один театр, но и тут потерпел неудачу.

Текст пьесы, к сожалению, погиб в городе Пушкине во время войны.

О своих планах писатели говорили охотно, но только в самых общих чертах, написанное предпочитали читать, а не пересказывать. Зато гораздо больше рассказывали о своих наблюдениях, впечатлениях, житейских встречах.

Сам Вячеслав Яковлевич на «пятницах», по обыкновению, бывал неговорлив, предпочитал послушать других, но мастерски заводил разговор и умел прекрасно оживлять его метко вставленной фразой или острым словечком, вызывавшим дружный смех. На такого рода словечки он был великий мастер.

Иногда с самым серьезным видом, но с лукавинкой в глазах он рассказывал такие истории и житейские эпизоды, что слушатели помирали от хохота.

Приезжие из Ленинграда покидали гостеприимный дом часов в одиннадцать, чтобы не опоздать к последнему поезду, местных — хозяева задерживали. Толстенький самовар иногда появлялся на столе и во второй, и в третий раз. Засиживались и до часу ночи, после обязательного ужина.

В отношении Вячеслава Яковлевича к гостям своим сказывалась характерная особенность его: в каждом человеке он искал раньше всего положительные черты, светлые качества. Оттого и юмор его был беззлобен и мягок. Оттого так любили его все, кто соприкасался с ним. Он каждого умел понять, успокоить, поддержать. Наш общий друг врач А. В. Пилипенко шутя говорил Вячеславу Яковлевичу, что он мастер по части психотерапии.

5

Вячеслав Яковлевич Шишков принадлежал к числу многочитающих писателей. Читал он, по преимуществу, русских писателей. Иностранными языками Вячеслав Яковлевич не владел, а плохие переводы его раздражали. Тем не менее произведения мировых классиков и лучших из современных иностранных писателей он знал. Из отечественной литературы особенно высоко ценил Пушкина, Л. Толстого и Чехова.

Я не преувеличу, если скажу, что Пушкин был его кумиром. Проходя мимо лицейского садика, он неизменно любовался статуей лицеиста Пушкина, сидящего на

скамье, работы скульптора Баха. В начале войны Вячеслав Яковлевич очень беспокоился, не пострадает ли памятник от бомбежки, и успокоился лишь тогда, когда узнал, что статуя снята и зарыта в землю. В парках его привычная прогулка часто совершалась по излюбленным пушкинским местам.

Посетив в 1935 году Одессу, он писал:

«Пушкинские места такожды осмотрены: и квартира Ризнич, и — через дорогу — угловой дом-квартира М. С. Воронцова, и дом на Пушкинской с воротами посредине и с памятной доской над ними».

При Пушкинском райисполкоме была учреждена специальная комиссия, которая заботилась об охране памятных пушкинских мест, вела пропаганду творчества поэта и т. п. По моему предложению Вячеслав Яковлевич был избран председателем этой комиссии. Сперва, по обычной своей скромности, он отказывался, но когда мы уговорили его принять избрание, он стал исполнять свои обязанности очень ревностно, входя в малейшие подробности всех дел. Насколько чувствовал он свою ответственность и почитал память великого поэта, показывает следующий факт:

У нас была традиция 6 июня праздновать день рождения Пушкина. С утра к его памятнику сходились школьники с цветами, представители организаций, трудящиеся, обитатели домов отдыха. У памятника проводился митинг, посвященный памяти поэта, потом следовала традиционная прогулка по пушкинским местам с чтением соответствующих стихов. Вечером в клубах, санаториях, домах отдыха устраивались пушкинские вечера. Вячеслав Яковлевич обыкновенно принимал весьма деятельное участие в подготовке и проведении этого празднества.

Но вот в мае 1940 года он задержался в Крыму и с огорчением писал мне из Ялты 21 мая: «А мы приедем не ранее 8 июня. Так-то... Я говорил, не надо было меня ставить председателем, Александр Сергеевич будет на меня в обиде и лишит, как раба нерадивого, и тех крупиц дарования, которыми я обладаю».

Творения Пушкина Вячеслав Яковлевич знал очень хорошо и в разговоре неоднократно цитировал их. Перед началом работы над «Пугачевым» Вячеслав Яковлевич тщательно изучал «Капитанскую дочку».

В поэзии Пушкина Вячеслав Яковлевич любил не только ее исключительные эстетические достоинства, но и жизнелюбие поэта, его неиссякаемые оптимизм, здоровое гармоничное жизнеощущение.

Классиков обыкновенно он с наслаждением перечитывал во время отдыха.

«С упоением перечитываю Тургенева»,— писал он мне летом 1937 года. Так же горячо отзывался он о прозе Лермонтова.

Вячеслав Яковлевич неоднократно беседовал со мной о Л. Н. Толстом, восхищаясь и монументальностью «Войны и мира», и простотой и ясностью народных рассказов, и глубочайшим психологизмом «Смерти Ивана Ильича». Очень интересовал его Толстой как личность, и он неоднократно расспрашивал меня о подробностях жизни Толстого, особенно в последний период. Ему по душе было великое бунтарство Толстого. «Озорной!» — говорил Вячеслав Яковлевич с восхищением, но религиозное учение Толстого было ему чуждо.

Особенно нежно отзывался Вячеслав Яковлевич о Чехове, рассказы которого считал совершенными образцами прозы. Помню, как-то зайдя ко мне днем, Вячеслав Яковлевич вдруг попросил прочитать вслух какой-нибудь из моих любимых рассказов Чехова. Я прочитал «Попрыгунью». В глазах Вячеслава Яковлевича стояли слезы. Помолчав, он сказал:

— Немного страниц, а в них драма целой жизни! — Он взял книгу, перечитал несколько страничек и воскликнул: — Ни одного лишнего слова! Тут ничего не вычеркнешь. Вот мастерство! Куда нам, грешным!

Одним из его наиболее любимых писателей был Н. С. Лесков, которого Шишков особенно ценил за мастерскую композицию рассказа и сочный, колоритный язык. Неоднократно указывал он на «Соборян», «Сказ о левше», «Очарованного странника» и на «Леди Макбет Мценского уезда», как на наиболее близкие ему произведения Лескова. Своего дьякона из «Угрюм-реки» он считал родственным лесковскому дьякону Ахилле.

Вячеслав Яковлевич высоко ценил сатирическую силу и юмор Гоголя, Щедрина, Чехова, Лескова, Некрасова.

Рассказывая о своих наблюдениях над каким-нибудь головотяпством, Вячеслав Яковлевич хохотал и частенько повторял: «Щедрина на них нет!»

Однако в характере самого Вячеслава Яковлевича не было склонности к беспощадно разящей сатире. Ему ближе был смех Чехова и, особенно, Диккенса, которого, кстати заметить, он очень любил.

— Нужно иметь много душевной чистоты и любви к людям, чтобы так смеяться,— сказал он как-то о Диккенсе.

Мне кажется, что это выражение подходит как нельзя лучше к самому Шишкову.

К советской литературе Вячеслав Яковлевич относился пристрастно в лучшем смысле этого слова. Для него она была важнейшим и любимейшим делом жизни. Он внимательно следил за новинками, и на его столике в кабинете всегда лежало по нескольку «дежурных» книг, по большей части с товарищескими надписями, ожидавших своей очереди.

Понравится Вячеславу Яковлевичу книга — он не нарадуется успеху собрата по перу, несколько недель носится с ней, горячо рекомендует ее, то и дело цитирует удачные фразы.

Вот пример.

«Прочел три книги,— писал он мне из Сухуми 8 октября 1938 года,— одна из них особенно мне понравилась. Это Анатолия Виноградова «Осуждение Паганини». Прекрасно описана изумительная жизнь этого гения, по мастерству книга бесспорно принадлежит большому искусству. Совершенно непонятно, почему ее замалчивает критика».

Не понравится — Вячеслав Яковлевич огорчается, будто из-за собственной неудачи и, даже при большом уважении к личности автора, не стесняется в резких выражениях.

Из советских писателей Вячеслав Яковлевич, как и А. Н. Толстой, особенно выделял А. М. Горького. С большой теплотой и благодарностью вспоминал он первую свою встречу с Алексеем Максимовичем и поддержку, которую тот оказал ему в трудное время первых литературных шагов. Из произведений Горького Вячеслав Яковлевич наиболее ценил ранние рассказы — «На плотах», «В степи», «Коновалов», из позднейших — «Детство» и, особенно, «Дело Артамоновых»; из пьес предпочитал «На дне» и «Егор Булычев и другие». Ему нравились яркие описания, мастерские портреты персонажей Горького.

В глазах Шишкова Горький был великим авторитетом, и к мнению его он внимательно прислушивался. Помню, как был огорчен Шишков, когда Алексей Максимович однажды отозвался неодобрительно об отделке одного из его произведений. Это взволновало Вячеслава Яковлевича больше, чем любая разносная статья.

— Алексей Максимович даром не скажет,— твердил он,— значит, есть что-то...

И он тревожно и придирчиво пересматривал страницу за страницей, строку за строкой.

Долгие дружеские отношения связывали Вячеслава Яковлевича с А. Н. Толстым.

Шишков высоко ценил Толстого как художника и очень ревниво относился к его творчеству. Особенно огорчал его непомерно долгий перерыв в работе над «Петром Первым». Это чувство Вячеслава Яковлевича разделяли и другие друзья Алексея Николаевича.

— Как он не понимает,— раздраженно говорил Вячеслав Яковлевич,— что «Петр Первый» навсегда останется в литературе. Это его шедевр, лучшего он не напишет. И, вместо того чтобы все силы отдать «Петру» и поскорее его закончить, он разбрасывается, расходует силы по мелочам.

— Опять начудил! — жаловался Шишков в другой раз.— Посмотрите, что он написал! — и показывал книжку журнала с новой пьесой Толстого.

Зато как он торжествовал, кода Толстой читал у него или печатал новые главы «Хождения по мукам» или второго тома «Петра».

— Экий талантище могучий! — восхищался Вячеслав Яковлевич.— Богатырь! Никто у нас так народного языка не знает, как он!

Насколько любил он Толстого, показывает следующий случай. Как-то в моем присутствии Вячеслав Яковлевич читал Алексею Николаевичу новые свои маленькие рассказы. Особенно удался ему один — «Вспомнил», полный глубокого и тонкого лиризма подлинно чеховской силы. Содержание рассказа было таково.

В село, где имелась церковь, пришел из другой деревни старик крестьянин и обратился к попу с просьбой помолиться за упокой души его умершей жены. Поп спросил ее имя. И вот тут-то оказалось, что старик забыл

имя жены и никак не мог вспомнить его. Тщетно напрягал он память.

«Как ее звали? — недоуменно разводил он руками.— Девкой была — так и звали ее: деваха, замуж вышла за меня — все стали звать хозяйкой, и я так ее звал, состарилась — все старухой звали, и я так ее звал...— Старик ушел было в свою деревню узнавать, как же имя жены, но с полдороги вернулся.— Вспомнил,— радостно сказал он попу,— Петровной звали, Петровной!»

Столько было в этом маленьком рассказе щемящей тоски и нелепости старого уклада жизни, обезличенности человеческой, что на минуту воскрес в воображении призрак прошлого и показался какой-то фантасмагорией.

Толстой так и ахнул и взволновался.

— Вячеслав,— возбужденно заговорил он,— подари мне этот рассказ, он чертовски хорош и очень мне нужен, я все искал подобный эпизод для «Хождения по мукам»... Это замечательно!

Шишков, ни минуты не колеблясь, протянул Толстому свою рукопись.

В несколько сжатом виде этот рассказ вошел в качестве эпизода в «Хмурое утро».

Я заметил потом Вячеславу Яковлевичу:

— Как же вы так с маху отдали один из лучших своих рассказов!

Вячеслав Яковлевич улыбнулся:

— Обобрал Алеша. Да как не дать, коли ему так полюбилось? Увидите, «Хмурое утро» — замечательная вещь будет. Как же не помочь?

В свою очередь, Алексей Николаевич «подарил» Шишкову свой рассказ — импровизацию на одной из «пятниц». Это была забавнейшая пародия на «охотничьи» рассказы об уме собаки. Эта импровизация вошла в виде эпизода в роман «Угрюм-река».

Болезнь Толстого очень удручала Вячеслава Яковлевича. Уже 16 июля 1944 года он тревожно писал мне: «Говорят, А. Н. Толстой тяжко заболел: нечто вроде рака легких, лежит в клинике. Дай-то бог, чтоб это было бабьей сплетней». 7 сентября он сообщал: «С А. Н. Толстым как будто все более или менее благополучно». Но письмо от 2 декабря опять полно тревоги: «Алексей Николаевич, этот обаятельный и человек и писатель, болен. У него что-то нехорошее с легкими. Но путем никто ничего не

знает, он у себя в Барвихе, под Москвой, к нему никого не пускают. Я тоже не видел его с лета. Он, говорят, приезжал посмотреть свою пьесу, но ему стало опять плохо. Потерять его — большая скорбь».

Смерть Алексея Николаевича глубоко потрясла Вячеслава Яковлевича, хотя он и знал, что болезнь Толстого неизлечима. Его жена писала мне: «В день смерти Алексея Николаевича он очень расстроился, я вошла в кабинет, он сидел у стола и плакал. Пойти проститься с Алексеем Николаевичем он не смог».

Ненадолго пережил Шишков своего друга...

Очень любил Вячеслав Яковлевич и как человека и как писателя Константина Александровича Федина.

Не раз при мне он восхищался точностью и образностью прозы Федина, его редким умением искусно строить сюжет и мастерски его развивать. Особенно любил он повесть «Старик». Мы как-то целый вечер обсуждали роман «Санаторий Арктур». Вячеслав Яковлевич негодовал на критику, по его мнению не сумевшую по достоинству оценить это произведение.

— Видали вы когда-нибудь такой короткий роман? — спрашивал он.— Такую сгущенность событий и уплотненность текста? Вот здесь подлинно словам тесно, а мыслям просторно. И сущность человеческой души — разных человеческих душ — раскрывается в вековечной теме жизни и смерти. Этот роман со временем будут изучать как образцовый. А пейзажи какие! Очень трудно показать природу по-новому. У нас это умеют делать только Шолохов и Толстой. А у Федина и это по-своему. У него удивительное чувство дистанции, перспективы, ракурса и освещения... Большой мастер!

Он глубоко уважал Федина за принципиальность, за отрицание каких бы то ни было сделок со своей писательской совестью, за нежелание идти проторенными путями.

— Он пишет лишь то, что выношено в душе, и каждое слово гранит, как ювелир бриллиант. Так и должен поступать каждый истинный художник, да не всякий к себе настолько строг. Все мы почасту неряшливы и скоры на слово, а он — особенный.

Вячеслав Яковлевич всегда говорил о Федине с какой-то необычной теплотой в голосе, а слушая его чтение или устный рассказ, нет-нет да и нагнется к соседу и с отцовской гордостью шепотом скажет на ухо:

— Каков Костя, а?

По-дружески, любовно относился Вячеслав Яковлевич и к В. М. Бахметьеву, которого он знал еще по Сибири.

Встречались они по большей части в Москве. Наезжая в столицу, Вячеслав Яковлевич обыкновенно останавливался у Владимира Бахметьева, в семье которого чувствовал себя как дома.

От Бахметьева у Вячеслава Яковлевича не было никаких тайн. Он ценил его писательский и редакторский опыт и охотно следовал его советам.

— Бахметьев мне как брат. Он советчик верный,— говорил Вячеслав Яковлевич.

Его удивляла писательская судьба Бахметьева. По его мнению, он должен был бы занимать в литературе более видное место:

— И талант у него крепкий, и наблюдательность острая, и опыт житейский большой. Очень уж скромный он, не кричит о себе, рекламы себе не делает... Это во-первых. Во-вторых, слишком уж много расходует он времени в ущерб творческой работе на выполнение всяческих общественных обязанностей.

Между прочим, к писательской скромности вообще Вячеслав Яковлевич не раз возвращался в своих разговорах и письмах. Он утверждал, что есть немало весьма талантливых писателей, остающихся недооцененными именно из-за их скромности.

Первым из них он считал М. М. Пришвина, которого называл одним из крупнейших мастеров современности. Он заставил меня прочитать все книги И. С. Соколова-Микитова, чтобы убедить (и убедил!), что этот скромнейший человек — писатель незаурядного дарования и мастерства.

Величайшую надежду возлагал Шишков на М. А. Шолохова. О нем он говорил неоднократно и подробно расспрашивал всех, знавших Шолохова, называл его «коренным талантом» «от нутра народного», «напитанным соками русской земли», «казацкой душой». Шолохов казался ему чудесным самородком с буйным размахом народной силы и воображения и вместе с тем одаренным мудрым умением сдерживать эту буйную силу и подчинять ее законам большого искусства. Он глубоко уважал упорный труд Шолохова, его упрямую сосредоточенность

над разрабатываемой темой, длительное вынашивание каждого замысла, писательскую волю и выдержку, требовательную самокритику, не столь часто встречающиеся у молодых писателей.

Пожалуй, наиболее четко определил Вячеслав Яковлевич свой взгляд на Шолохова в письме ко мне от 21 мая 1940 года: «С радостью читаю 7-ю и 8-ю части (конец) «Тихого Дона». М. Шолохов бесспорный и самый большой писатель. Он знает самые затаенные движения человеческих душ и с большим мастерством, по-серьезному умеет показать это. Даже самые случайные его герои, жизнь которых началась и закончилась на одной и той же странице, надолго остаются в вашей памяти. Правда, есть и промахи, например, излишне щеголяет своими (всегда прекрасными) пейзажами, излишним, порой, натурализмом. Так, уж если он начинает показывать вшей на мертвом ли отце Григория Мелехова или на живой беженке — генеральше, он будет показывать вам до душевной вашей тошноты, ничуть не считаясь с требованиями эстетики. Но во всяком разе, по моему мнению, «Тихий Дон» занимает в советской литературе первое место».

Из других современных прозаиков Вячеслав Яковлевич неоднократно с одобрением отзывался о Каверине (особенно о романе «Два капитана»), а также о Паустовском, а из новейших произведений выделял повесть Вас. Гроссмана «Народ бессмертен».

Внимательно следил Вячеслав Яковлевич и за советской поэзией.

В этой области у него был определенный, твердо установившийся вкус. Он не любил, например, поэтических изысков, сложных словесных экспериментов и причудливостей, как и упрощенности и вульгаризации под маской народности.

Будучи, как он сам выражался, «закоренелым» прозаиком, Вячеслав Яковлевич не считал себя знатоком и компетентным судьей в области поэзии. Он говорил, что судит о ней по-читательски, и подозревал в себе некоторую консервативность вкуса. Ему роднее было то, что «поближе к Пушкину, Лермонтову, Кольцову, Некрасову». Он и уверен был, что с течением времени советская поэзия придет к классической простоте, способной с наибольшей выразительностью передать многогранную и

своеобразную красоту социалистической действительности. Пути к ней, как он понимал, сложны и трудны.

Из новейших произведений Вячеслав Яковлевич особенно отличал поэму Твардовского «Василий Теркин», которую называл «замечательной». Близка была его сердцу и народность поэзии Исаковского.

6

Вячеслав Яковлевич очень любил музыку и пение. Впрочем, его больше тянуло к опере и романсу, чем к симфоническому жанру. Из классиков его излюбленными композиторами были Глинка и Чайковский. «Ивана Сусанина» могу слушать без конца»,— говаривал он. Нравились ему и оперы Даргомыжского, Римского-Корсакова и Бородина.

Особенно любил Вячеслав Яковлевич народные песни и знал их множество — и русских и украинских. Если, случалось, во время дружеской вечеринки запевали хором, он неизменно вступал в пение и подтягивал басом.

Он не очень часто бывал в театре, и, помнится, преимущественно в опере. Я не встречал у него в доме драматических актеров, оперные же бывали довольно часто, особенно Б. М. Фрейдков и Г. Нэлепп, к которым он чувствовал симпатию и которые, не чинясь, охотно и много певали у него.

Как уже упоминалось, из советских композиторов Вячеслава Яковлевича частенько навещали Ю. Шапорин и Г. Попов. Особую симпатию Вячеслав Яковлевич испытывал к последнему и не раз говорил мне, что ожидает от него больших достижений, хотя многое в музыкальной манере Попова было ему непонятно и казалось нарочитым и надуманным.

— Это отойдет, как шелуха,— уверял он,— у Гаврилы Николаевича душа есть и сила, у него душа поет.

Он очень интересовался работой Ю. А. Шапорина над оперой «Декабристы», текст для которой писал А. Н. Толстой.

Прослушанные им отрывки вызвали его большое одобрение.

Но особенно тесные отношения возникли у Вячеслава Яковлевича с молодым ленинградским композитором Д. Г. Френкелем, который увлекся «Угрюм-рекой» и об-

ратился к автору с просьбой написать либретто на этот сюжет.

Предложение Д. Г. Френкеля очень заинтересовало Вячеслава Яковлевича. Он зашел ко мне посоветоваться.

— Трудное дело! — опасливо говорил он.— Как сократить такую большую вещь, чтобы выжать интригу для либретто и не изуродовать весь роман? Не получилось бы, как у Охлопкова!

Вячеслав Яковлевич имел в виду опыт переделки «Угрюм-реки» в драму, сделанный в начале тридцатых годов известным режиссером Охлопковым.

Роман под опытной рукой инсценировщика превратился в ряд сцен, ловко выделенных из текста, но мало связанных между собой. К тому же исчезли все лирические элементы, выпали или обесцветились эпизодические лица, игравшие в романе значительную роль. В инсценировке «Угрюм-река» потускнела и обеднела. Вячеслав Яковлевич пробовал кое-что подправить, но безуспешно.

Это очень смущало Вячеслава Яковлевича. Он удивлялся драматургической смелости и умению Охлопкова, но сомневался, чтобы инсценировка имела успех.

Не помню уж, по какой причине, «Угрюм-река» не была поставлена. Вячеслав Яковлевич этим обстоятельством не был очень огорчен.

Замечу тут же, что несколько своих драматургических опытов двадцатых годов Вячеслав Яковлевич считал неудачными. Между тем он обладал всеми данными незаурядного драматурга. Иногда он рассказывал сюжеты, которые, казалось, рождены были для комедии. Но после не удовлетворивших его первых пьес и неуспеха «Веселого разговора», о чтении которого я рассказывал выше, он больше к драматургии не обращался, а комедийными сюжетами пользовался для своих «шутейных» рассказов.

Между тем сцена несомненно манила его к себе. Я не раз говорил с ним на эту тему, стараясь подбить на писание комедии.

— Соблазн большой,— говорил он.— И материалу есть немало, и, пожалуй, справился бы с ним. Да провести пьесу на сцену очень уж трудно, особенно при той репутации, которую мне делает критика.

Едва ли последнее опасение было главной причиной того, что Шишков так-таки и не написал комедии.

— Боюсь браться за либретто,— говорил он,— боюсь портить роман, а с другой стороны: если я не возьмусь, то как найдется какой-нибудь закройщик да испоганит все? А ведь запретить я не могу, да и композитор симпатичен и очень увлекся. Рассказывал кое-что о своем замысле, немного напел козликом, немного проиграл — интересно. Видно, способный. И молодой, горячий...

Несколько поколебавшись, Вячеслав Яковлевич решил взяться за либретто и вскоре очень увлекся этой работой. Сохранив в неприкосновенности основной смысл романа, он, однако, не инсценировал старый текст, а написал новый, дал ряд новых ситуаций и сцен. Он применялся к пожеланиям композитора и к условиям сцены и вокального исполнения. Это была тонкая творческая работа, заинтересовавшая Вячеслава Яковлевича своей новизной.

Создалось подлинно творческое содружество, и от встречи к встрече Д. Френкель все больше и больше увлекался материалом. Отрывки, которые он играл на пианино и «козликом» пел, становились все интереснее. Молодой композитор рос и совершенствовался у нас на глазах.

— А ведь получается! — с загоревшимися глазами говорил Вячеслав Яковлевич.— Хорошая опера будет.

Он иногда напевал мелодии сибирских песен, которые очень интересовали композитора, сам написал хорошую песню «Ах ты матушка, Угрюм-река», для которой композитор создал захватывающую музыку. Вячеслав Яковлевич прослушал ее с жадностью и прослезился.

— Фу ты! — смущенно сказал он.— Прошибает!

Наконец опера была окончена. Это событие было отпраздновано торжественным обедом у Вячеслава Яковлевича.

Еще до окончания оперы был заключен договор на ее постановку в Ленинградском Малом оперном театре. Этому предшествовало немало хлопот и треволнений.

Как всегда бывает, на всяких предварительных просмотрах и прослушиваниях было много противоречивых мнений и оценок. Дезорганизующая разноголосица очень нервировала и композитора и либреттиста.

Наконец договор был подписан.

Однако постановка оперы оттягивалась. Затем началась война, театр эвакуировался в провинцию, и о постановке «Угрюм-реки» речь совсем замолкла.

Так и не услышал Вячеслав Яковлевич этой оперы на сцене.

Поставлена она была лишь после войны, но в значительно измененном виде, причем от текста Вячеслава Яковлевича осталось всего несколько сцен. Прочие, по указанию Комитета по делам искусств, были переработаны поэтом Островым.

Окончив либретто «Угрюм-реки», Вячеслав Яковлевич сказал мне:

— Хватит! Теперь все время и силы — Емельяну Ивановичу («Пугачеву»).

Через некоторое время он рассказал мне, что получил от композитора В. В. Щербачева просьбу написать либретто для оперы «Иван Грозный». Эта тема показалась Вячеславу Яковлевичу очень заманчивой.

Вскоре, однако, Вячеслав Яковлевич пожаловался, что работа над либретто не доставляет ему удовлетворения. На этот раз не было того тесного содружества с композитором, той постоянной совместной работы, в которой драматург и музыкант заражают и вдохновляют друг друга — оба они были разлучены войной. Да и материалом Вячеслав Яковлевич владел недостаточно. То, что он вычитал у Соловьева и Ключевского, естественно не удовлетворяло его. В конце концов он явно охладел к этой работе и первоначальный эскиз остался без обработки.

7

Вячеслав Яковлевич любил общаться со своими читателями и охотно искал встреч с ними. Он превосходно и весьма своеобразно читал свои произведения, отнюдь не прибегая к актерским эффектам. Чтение его отличалось большой простотой, четкой дикцией и колоритностью. Ему одинаково удавались и сильные драматические эпизоды «Угрюм-реки» и «Пугачева», которые он читал без аффектации, без нажимов и выкриков, и мастерские «шутейные» рассказы, особенно излюбленные публикой. Эти последние он читал всерьез, без малейшей улыбки, но в голосе его было столько юмора — то добродушно-лука-

5 Зак. 942

вого, то колкого, то озорного, что каждый персонаж представал как живой, а каждая ситуация выступала в своей естественной комичности. Сколько раз приходилось наблюдать: сидит Вячеслав Яковлевич за столиком на эстраде или просто перед публикой и, в очках, с невозмутимым видом, читает «Гумагу» или «Мистера Веретенкина», а сотни людей в зале помирают со смеху или растроганно улыбаются, слушая главы о маленьком беспризорнике инженере Вошкине из «Странников».

Вячеслав Яковлевич любил наблюдать непосредственное воздействие своих произведений на читателей различного общественного положения и возраста. Это было для него ценной самопроверкой, поэтому-то он охотно бывал и в интеллигентских и в рабочих клубах, среди студентов и домохозяек, среди красноармейцев и моряков. Его любили и встречали восторженно. Можно сказать, что читательская масса признала его гораздо раньше, чем профессиональные критики. После каждого удачного чтения он возвращался к своему столу ободренный и посвежевший. Впрочем, он недолюбливал вечера со сборными программами и предпочитал свои отдельные «авторские» вечера. Только в последние годы жизни, ощутительно испытывая тягость лет, он постепенно сокращал количество своих выступлений, но еще в тридцатых годах он безотказно удовлетворял просьбы клубов, библиотек и всяких организаций, особенно военных и студенческих.

Беседы с читателями, наблюдения над реакцией слушателей во время чтения рассказов неоднократно приводили Вячеслава Яковлевича к переработке или доработке уже напечатанного текста.

Приведу один пример.

Я упомянул выше, что весьма охотно читал для самых разнообразных составов слушателей рассказ «Спектакль в селе Огрызове». В этом рассказе есть фраза: «Антракт продолжался час». Публика всегда смеялась, услышав эту фразу, и понятно почему. Однажды в рабочем клубе я оговорился и сказал: «Антракт продолжался полтора часа». Раздался не смех, а громовой раскат хохота. Пришлось сделать паузу, чтобы дать публике успокоиться. Меня удивила столь бурная реакция, и я уже нарочно в другом рабочем клубе, а потом и в третьем — инженерном — произносил эту фразу по-новому. И опять в

ответ гремел безудержный хохот. Я рассказал об этом случае Вячеславу Яковлевичу. Он очень заинтересовался моим рассказом и захотел сам понаблюдать столь неожиданную реакцию. Недели через две мне довелось читать «Спектакль в селе Огрызове» в одном из крупных ленинградских Домов культуры. Вячеслав Яковлевич поехал со мной и уселся среди публики. Когда дошло до известной фразы, опять поднялся такой хохот, что я вынужден был сделать длительную паузу. Гляжу: сам Вячеслав Яковлевич покатывается со смеху.

— Это не случайность и не мелочь,— сказал он мне после чтения,— это урок мне как юмористу.

В самом деле: гиперболическое заострение детали ярко раскрыло типичность явления.

В новом издании рассказов Вячеслав Яковлевич в этой фразе заменил слово «час» словами «полтора часа». Доказательством тому, что читатели реагировали на эту замену так же, как и слушатели, служат воспоминания писателя Л. О. Раковского.

Насколько охотно он читал свои рассказы и беседовал с читателями, особенно в небольшом кругу, настолько тягостны бывали для него выступления с речами или докладами. Их он избегал, елико мог. А если уж приходилось, то предварительно писал текст, черкал и перечеркивал его нещадно, жаловался на свою судьбу, советовался с женой и друзьями и снова писал. Так и читал по писаному.

— Не мое это дело,— вздыхал он,— с души воротит!

Однако он умел хорошо, по-сердечному беседовать с молодежью, особенно если ему задавали вопросы, касавшиеся его произведений, причем в таких случаях не стеснялся критически отзываться о своих неудачах. Вот очень показательный пример.

Когда появилась в печати повесть Вячеслава Яковлевича «Странники», студенты Политико-просветительного института имени Н. К. Крупской, особенно комсомольцы, чрезвычайно заинтересовались ею. По их просьбе кафедра литературы устроила публичное обсуждение этой книги и просила Вячеслава Яковлевича принять в нем участие. Он охотно согласился. Студенты обстоятельно и серьезно готовились к встрече с писателем. На обсуждении «Странников» присутствовало до двухсот человек.

Вячеслав Яковлевич рассказал, какие задачи ставил себе, когда задумал писать «Странников», как знакомился с жизнью беспризорников, как работал над книгой.

Затем стали высказываться студенты. Среди них оказались бывшие инструкторы горкомов и райкомов ВЛКСМ по борьбе с беспризорностью, хорошо знакомые с действительностью, изображенной в книге Шишкова.

Все горячо приветствовали «Странников» как правдивую и мастерски, увлекательно написанную повесть, исполненную большой любви к детям и веры в воспитательную силу советской системы. Один только образ комсомольца-инструктора вызвал возражения. О нем говорили почти все. Выступавшие единодушно отмечали, что Вячеслав Яковлевич, превосходно зная жизнь беспризорных, в то же время, по-видимому, недостаточно был знаком с условиями борьбы комсомола против беспризорничества. Двое участников дискуссии принесли инструкции и другие материалы комитетов комсомола, двое других — свои дневники и обильно цитировали эти источники, доказывая, что фигура комсомольца-инструктора в повести получилась бледной и неубедительной.

— Право же, Вячеслав Яковлевич,— тщательно выбирая слова, чтобы ненароком не обидеть писателя, искренне убеждал один из ораторов,— образ комсомольца получился у вас не вполне удачным.

Вячеслав Яковлевич рассмеялся. Рассмеялась и вся аудитория.

Около трех часов продолжалось горячее обсуждение. Вячеслав Яковлевич слушал все выступления с напряженным интересом и кое-что записывал для памяти.

В заключительном слове Вячеслав Яковлевич сердечно поблагодарил всех участников дискуссии и между прочим заметил:

— Здесь говорили, что фигура моего комсомольца не вполне удачна. Это неверно. Она не «не вполне удачна», а отвратительна. Теперь я вижу это ясно. Вы были очень деликатны в выражениях, но ваши материалы говорят об этом непреложно. Я ко второму изданию переработаю этот образ. Ваши выступления оказали мне большую помощь, и я глубоко благодарен вам за нее. Очень прошу вас предоставить мне на некоторое время ваши материалы.

Критики тотчас вручили Вячеславу Яковлевичу свои папки и тетради с записями.

На обратном пути в Детское Село, в поезде, Вячеслав Яковлевич делился со мной своими впечатлениями:

— Прекрасная молодежь! Горячая, искренняя, откровенная. Вот это и есть настоящая критика. И вместе с тем какая деликатность, какое уважение к писательскому труду!

Первое издание «Странников» разошлось очень быстро. Подготовляя второе, Вячеслав Яковлевич внимательно вчитывался в переданные ему материалы и перерабатывал фигуру своего комсомольца.

А в институте надолго сохранилась память об интересной встрече с Вячеславом Яковлевичем, и каждое новое его произведение возбуждало всеобщее внимание молодых читателей.

В институте возник литературный кружок, который весьма интенсивно работал в течение нескольких лет. Кружок ставил себе ограниченную задачу: научить политпросветработников владеть словом настолько, чтобы, в интересах своей специальной работы, применять различные художественные жанры — очерк, сценку, агитационное стихотворение, эпиграмму, живую корреспонденцию и т. д.

Некоторые из членов кружка дерзали даже писать рассказы.

Вячеслав Яковлевич стал постоянным консультантом кружка и частым гостем на его собраниях. Молодые авторы, не чинясь и не конфузясь, отдавали на суд Вячеслава Яковлевича свои опыты. Его любили за то, что он был строг, не делал никаких скидок ни на молодость, ни на неопытность, но в то же время не разыгрывал из себя жреца, снисходительно взирающего на непосвященных. У него был редкий такт в общении с начинающими авторами, он с ненаигранным интересом относился к их попыткам и очень радовался, если находил удачный образ, фразу, словечко.

Когда его одолевали вопросами, как надо учиться писать (а эти вопросы повторялись ежегодно, как только кружок пополнялся новичками), он неизменно отвечал, что давать рецепты не умеет.

Он рассказывал, как сам начинал писать, как пользовался сперва чужим опытом, как учился наблюдать

жизнь и людей, как овладевал художественной формой. Он доказывал слушателям, что пуще всего необходимо индивидуальное своеобразие в творчестве, «свое лицо», как он выражался. Штамп, шаблон, стандарт — злейшие враги всякого искусства. Главное — правдивое изображение жизни, смелая выдумка, зрительно-образное слово.

Особенно настойчиво советовал Вячеслав Яковлевич начинающим писателям любовно изучать народный русский язык, народное творчество, как богатейшую сокровищницу словесного мастерства. Он постоянно возвращался к этой теме, охотно цитируя высказывания Пушкина и А. М. Горького, которые советовал накрепко запомнить.

Часто брал он с собой рукопись и возвращал ее через некоторое время с многочисленными поправками, изменениями, сокращениями, наглядно показывая автору, как надо работать над текстом.

Однажды ранней осенью кружок в полном составе совершил экскурсию в город Пушкин. Осмотрев дворцы и пушкинские места, кружок, по приглашению Вячеслава Яковлевича, посетил его на дому. По просьбе участников кружка писатель показал им рукописи «Угрюм-реки» и нескольких рассказов и подробно объяснил, как он работает над своим текстом. Этот наглядный урок был весьма назидателен для начинающих авторов, и они сильно призадумались.

Один из них озадаченно сказал:

— Ну, если опытнейший писатель так беспощадно относится к своей работе, что же делать нам, грешным?

Вячеслав Яковлевич улыбнулся.

— Что вам делать? Быть еще беспощаднее. Слово что норовистый конь. Не сумеете его подчинить себе — сбросит. Бывает это и с опытными писателями. Бывает, напечатаешь книгу, а потом вдруг с ужасом видишь слова и фразы, которые не смел не то что напечатать, но и написать. За волосы хочешь себя драть. Редко с кем таких историй не бывает. Вот с Алексеем Толстым, Пришвиным, Фединым не бывает.

Сколько я помню, Вячеслав Яковлевич постоянно заботился о молодых писателях. Одних направлял к нему Союз писателей, другие являлись сами. Присылали к не-

му рукописи из Сибири, с Урала. На столе у него почти неизменно дежурили чьи-нибудь повесть или рассказ. Он не раз жаловался, что чтение и правка чужих рукописей отнимают много времени и сил, очень огорчался, если вещь оказывалась слабой или попросту бездарной, но отказаться от просмотра ее не считал возможным.

— Помочь начинающему — святой долг писателя,— говорил он и неизменно вспоминал, какое огромное для него значение имела поддержка А. М. Горького в начале его литературного пути.

Не только в помощи начинающим писателям сказывались профессионально-общественные интересы Вячеслава Яковлевича, но и в помощи нуждающимся литераторам. Он был в течение многих лет очень активным деятелем Литфонда, состоял председателем его Ленинградского отделения.

Он хорошо знал, как мучительны бывают для писателя периоды безденежья из-за болезни его или семьи, из-за задержек гонорара в издательствах. Его угнетали тяжелые бытовые условия тех из его товарищей по профессии, которые не успели еще создать себе прочного положения в литературе. Поэтому особое внимание обращал Вячеслав Яковлевич на устройство Домов творчества и на обеспечение творческих поездок.

— По себе знаю,— говорил он,— писателю надо много ездить и видеть, особенно молодому. А как тут поедешь без гроша? Или вот N например, живет в невыносимых условиях, питается плохо, одна комната, жена с младенцем. Младенец пищит, тут же пеленки развешаны. Ну, как тут писать? А в Доме творчества все к его услугам — и комната, светлая, тихая, и с месяц покормят по-человечески. Все-таки поддержка. Большое дело. Писание — дело нервное, изматывающее. Вовремя хорошо отдохнуть — значит вернуть себе растраченные силы. Дома творчества и дома отдыха у моря, в лесу — прекрасная мысль.

Вячеслав Яковлевич пользовался большим авторитетом среди писателей. К нему доверчиво обращались со своей нуждой, не скрывали от него самых трудных и щекотливых обстоятельств. Он всегда относился бережно и сочувственно к чужому горю и умел помочь тактично, по-товарищески, когда удавалось помочь основательно, он по-детски радовался.

8

Вячеслав Яковлевич часто и охотно беседовал со мной о своих произведениях, делился своими творческими замыслами, обращался с просьбой выслушать или прочитать тот или иной черновой или обработанный отрывок и высказать о нем свое мнение.

В наших отношениях всегда была полная и дружеская откровенность. Я никогда не скрывал своего мнения, хотя подчас и приходилось спорить с Вячеславом Яковлевичем. Он не только не обижался на дружескую, хотя бы придирчивую критику, но ценил и искал ее.

Мне снова приходится вернуться к вопросу об отношении Вячеслава Яковлевича к критике. Я говорил уже о том, как воспринимал он критику читательскую и профессиональную.

Последняя до сороковых годов зачастую была крайне несправедлива к Вячеславу Яковлевичу и временами носила попросту издевательский характер. Вячеслав Яковлевич очень страдал от таких нападок, в которых видел раньше всего крайнее неуважение к писательскому труду.

— Ведь не знаешь, что и думать...— говорил он.— Сбивают эти люди с толку, вот что.

Вячеслав Яковлевич сам был наиболее строгим своим критиком. От издания к изданию он перерабатывал те из своих произведений, которым придавал значение.

Я упомянул уже о переработке «Странников». Еще большей переработке подвергалась повесть «Ватага», написанная в 1923 году в форме сибирского сказа. Уже через несколько лет эта повесть не удовлетворяла его ни по композиции, ни по языку, и он коренным образом переделал ее. К сожалению, эта вторая редакция «Ватаги» не была опубликована, а рукопись ее погибла в городе Пушкине, где была оставлена Вячеславом Яковлевичем при эвакуации в 1941 году.

Бывали вещи, которые Вячеслав Яковлевич откладывал «в долгий ящик», неоднократно возвращаясь к ним для доделок и переделок и все не удовлетворяясь ими до конца.

Так, например, в 1935 году он работал над довольно крупной повестью «Матрена Николавна» и, окончив ее, все не решался сдать в печать. Это была повесть о кре-

стьянке-единоличнице, ненавидевшей колхоз и враждовавшей с женщиной-врачом, которая убеждала крестьянок в преимуществе колхозного хозяйства. Врач устроила колхозные ясли. Случайно зайдя туда, Матрена Николавна была поражена благоустройством ясель и прекрасным отношением к детям. Она поневоле подумала о том, как тяжело приходится ей с двумя малышами. Врач предложила крестьянке принести детей в ясли. Она это и сделала, но поначалу побоялась оставить детей одних, опасаясь, как бы с ними не случилось чего плохого. А оставшись, чтобы не сидеть сложа руки, стала помогать воспитательницам. Повторилось это и на другой день, и постепенно Матрена Николавна увлеклась работой в яслях и втянулась в колхозную жизнь.

Окончив повесть, Вячеслав Яковлевич положил «Матрену Николавну» в стол. «Чтоб вылежалась»,— пояснил он. Несколько раз возвращался он к повести и снова убирал ее в ящик. К сожалению, и эта рукопись, как и вторая редакция «Ватаги», погибла в городе Пушкине.

Или вот, например, маленький забавный «шутейный» рассказ «Полет». Я знал не менее пяти его редакций. Напечатанная в сборнике «Гордая фамилия» последняя редакция этого рассказа отнюдь не лучшая. Три варианта Вячеслав Яковлевич оставил в Пушкине, и они погибли там, разумеется. Впрочем, вторая, и лучшая, по-моему, помнится, была напечатана в пушкинской газете «Большевистское слово», четвертая была в моем архиве. Не помню, почему я не смог сразу переслать ее Вячеславу Яковлевичу, а когда собрался, он уже воспроизвел рассказ по памяти — многое позабыв и сильно изменив применительно к военным обстоятельствам — и напечатал в «Гордой фамилии».

Когда-нибудь исследователь творчества Шишкова, терпеливо проделав текстологическую работу над рукописями и печатными текстами писателя, наглядно покажет, как упорно и неустанно трудился Вячеслав Яковлевич над своим слогом, над каждой фразой, над каждым словом.

Писал Вячеслав Яковлевич обыкновенно на больших листах бумаги, а для «Пугачева» завел толстые тетради в переплетах, вроде конторских книг. Увлеченный сюжетом, он писал своим тонким, округлым почерком, писал

быстро, стараясь поскорее излить на бумагу то, что виделось ему в воображении. Обыкновенно он не заботился в это время об окончательной обработке написанного. Разве делал несколько попутных поправок или изменений.

Когда он подходил к своему письменному столу, он хорошо знал, что и как он будет писать. А если случится затор, воображение переставало разворачивать перед ним картины и образы, он не пытался насиловать его, тотчас прекращал писание и переключал работу на что-нибудь иное: брался за чтение, делал нужные ему выписки, заметки или снова шел гулять. Я никогда не замечал, чтобы подобные перерывы длились у него долго.

Он никогда не жаловался на отсутствие материала для воображения. Да это и понятно: он не был «кабинетным» писателем. Он обожал живую жизнь и впитывал ее в себя, как губка воду, а острая наблюдательность безотказно выхватывала из жизни то, что было в ней характерного и яркого. Так получался материал для писательской мысли; впечатления, тщательно осмысленные после отбора, и питали его воображение. Он не раз говорил мне, что именно этот момент обдумывания, сопровождаемый творческой догадкой, является для него наиболее дорогим и приятным.

Маленькие «шутейные» рассказы не отнимали у Шишкова много сил, пе вызывали большого напряжения. Иное дело крупные композиции. Они требовали огромной сосредоточенности, напряжения всех творческих способностей, большой выдержки.

Окончив часть или главу, Вячеслав Яковлевич принимался за ее отделку. Насколько быстро он писал, настолько медленно отделывал написанное. Рукопись покрывалась иной раз целой сетью поправок и исправлений, причем первым делом Вячеслав Яковлевич выискивал, нельзя ли что сократить.

— Длинноты — первый враг,— говорил он,— растянутость — мать скуки, а скука — убийца искусства.

Его всегда преследовало опасение, не пишет ли он слишком растянуто. Даже лучшие страницы «Угрюм-реки» и «Пугачева» вызывали у него подозрение на этот счет. Он умел мастерски развертывать сюжет и делать повествование увлекательным — искусство, присущее, к сожалению, лишь немногим из наших современных пи-

сателей, любил он и яркие словесные краски, буйную цветопись.

Я сравнивал его писание с художественной манерой Сурикова и Репина, которые, к слову сказать, были его любимыми русскими художниками.

Но тут-то его и подстерегала опасность, которую он не всегда преодолевал. Увлекшись острыми ситуациями или колоритным эпизодом, он перекладывал краски: красочность превращалась в цветистость, чувствовался чрезмерный нажим, выразительность сменялась подчеркнутой эффективностью.

Вячеслав Яковлевич знал этот свой грех и боролся с ним, но не всегда справлялся до конца. Меня поражало в нем это буйство красок, какой-то неуемный темперамент, столь неожиданный в его годы. Но такова уж была его душа — совсем молодая душа, даже на пороге смерти.

В работе над «Угрюм-рекой» Вячеслав Яковлевич в общем выполнил начальный план, но в отдельных частях и элементах значительно отступил от него.

Вначале на первом плане была, так сказать, экзотика Сибири, таежная поэзия, местами превращавшая повествование в сказ и даже в сказку. Сильные и мрачные характеры Громовых и самого Прохора, сложная и противоречивая душа Анфисы непосредственно вырастали из этой полусказочной чащи Сибири. Великолепный сочный бытовой язык часто получал напевный ритмический строй и переводил рассказ в лирические сказания, в таежные легенды.

Это было очень красиво. Однако в работе над продолжением романа писатель постепенно устранял эти лирические и сказочные элементы, хоть и жалко ему было расставаться с некоторыми из них.

Большие изменения он внес в характеристики действующих лиц и в показ реальной действительности.

Эти изменения вызваны были очень серьезной причиной.

Шишкову в молодости свойственны были некоторые иллюзии народнической интеллигенции. Они проявились в ранних его произведениях и оказались довольно устойчивыми. Их влияние можно проследить и в «Дикольче», а в «остаточном» виде даже в «Угрюм-реке» — в образе ссыльного Шапошникова. Многому научила писателя

Великая Октябрьская революция. Тщательно изучая сдвиги, происшедшие в жизни страны, одновременно с глубоким интересом знакомясь с работами В. И. Ленина, Шишков по-новому для себя осмыслял перестройку жизни, как закономерное следствие классовой борьбы.

Чем больше развертывал Вячеслав Яковлевич историю жизни своих героев, тем, вполне естественно, глубже и шире развивалась основная тема — борьба капитала и труда, тем громче звучал мотив хищнического капиталистического закона: человек человеку — волк. Ярко написанная картина расстрела рабочих, сделанная по материалам Ленских событий 1912 года, явилась естественной кульминацией романа.

Характеры персонажей получили крепкое социальное обоснование, и Вячеслав Яковлевич упорно работал над динамическим показом их противоречивого развития.

В то же время в роман вводилась большая галерея второстепенных и эпизодических лиц.

В этот период работы я встречался с Вячеславом Яковлевичем почти ежедневно. Он радостно рассказывал о своих находках: то о дьяконе — любопытном варианте лесковского Ахиллы, то об американском инженере — любителе русских народных пословиц, безбожно их коверкающем, то о трусливом губернаторе — охотнике на медведя.

Рассказывал — и сам смеялся, и тут же импровизировал новые подробности, многие из которых вводил потом в текст.

Образ Ильи Сохатых постепенно получал большее значение, чем это предполагалось вначале. Напротив того, экзотическая фигура Ибрагима Оглы стала отступать на второй план.

Сомнение вызывал у Вячеслава Яковлевича образ ссыльного Шапошникова, как-то ему не дававшийся. Он не раз говорил со мной об этом персонаже, который действительно остался бледным: писатель так и не сумел дать этому лицу четкую политическую характеристику.

Главное внимание Вячеслав Яковлевич обратил, конечно, на героя романа — Прохора Громова. Он стоил писателю огромного труда. Придирчиво и кропотливо проверял Вячеслав Яковлевич все свои психологические построения, касавшиеся этого лица. Иногда, прочтя мне две-три новые страницы рукописи, он останавливался на

отдельных фразах и даже словах, тщательно взвешивал их и проверял на моем впечатлении, удалось ли ему достигнуть поставленной цели.

Как относился Вячеслав Яковлевич к своему герою? Он любовался им как художник, отлично понимал, что Прохор Громов — одно из лучших его созданий. Ему нравились в Прохоре буйная удаль широкой русской натуры, смелый размах предприимчивости, сила чувств и вместе с тем крепкая практичность, умная сметливость.

Но Прохор был ненавистен ему как социальный тип, как хищник, поглощающий все живое вокруг себя и признающий лишь закон насилия и жадного накопления.

В такой сложной натуре, как Прохор, естественно, должна была происходить острая борьба душевных сил.

Умный Прохор не мог не понимать, что он падает в пропасть, в нем должен был не раз возникать ужас перед грядущим. Пресыщение богатством и властью приводило к душевной опустошенности, и тогда Прохор должен был мучительно искать смысл своей испоганенной дикой жизни, чтобы преодолеть овладевавшее им отчаяние.

Смысл большой сцены пребывания Прохора у отцов-пустынников, сильно сокращенный в печатном тексте, и заключался в показе этих судорожных метаний Прохора.

Но волк не может сделаться ягненком. Отцы-пустынники не смогли бы переделать Прохора, даже если бы он и поддался их влиянию.

Такова была мысль Вячеслава Яковлевича. И недаром он постоянным спутником Прохора сделал символического ручного волка.

Кстати уж тут заметить о символике романа.

Один из критиков разбранил Вячеслава Яковлевича за «мистический» образ тунгуски-шаманки, не поняв, что он так же символичен, как и волк Прохора, и выражает стихийную силу могучей природы, столь привлекающей Прохора, пробуждающей в нем буйные инстинкты.

Кое-кого поражало в этом романе Шишкова странное, на первый взгляд, сочетание сочного реализма с романтикой сибирской тайги и этими символическими элементами. Им это казалось нарушением единого стиля, каким-то художественным эклектизмом. По этому

поводу у меня был как-то разговор с Вячеславом Яковлевичем.

— Реализм... романтизм... символизм...— сказал он, медленно и словно недоуменно цедя слова.— Ведь это все формулы! А разве можно творить по формулам? Когда я пишу, могу ли я думать о том, реализм это или романтизм? Я знаю только один закон: писать надо правдиво. И когда я пишу, я только и думаю о том, чтобы с наибольшей правдой выразить то, что вижу и хочу показать... Реальная действительность и романтика мечты тесно сплетены в нашей жизни, почему же устранять это в художественном отражении жизни? Волк Прохора, говорят, символичен? Пусть так. Но разве символический образ подлежит запрету? На каком основании? Мне нужно было показать безнадежное одиночество Прохора, злобное одиночество, отрешенность от всего, что может быть близко человеку, недоверие ко всему, что дружественно человеку. Вот почему не близкий человек около Прохора и даже не собака, а волк на цепи. Не вижу, в чем это может противоречить правдивости образа Прохора, а в ней я уверен.

Этот разговор был мною записан в тот же день, и приведенные слова, думаю, достаточно точно воспроизводят подлинную речь Вячеслава Яковлевича.

Самое название романа было символично: Угрюм-река выражала мрачную осужденность Прохора Громова. Мотив судьбы, рокового фатума, сильно звучал в первоначальной редакции романа. Наиболее сильного звучания достигал он в лирической концовке «Угрюм-реки», которую можно найти в первом издании романа. Между тем эта концовка, при всей своей красоте, снижала социальное значение основной идеи «Угрюм-реки», обволакивала ее фаталистическим туманом. Я указывал на это обстоятельство Вячеславу Яковлевичу, и он согласился со мной. Во втором издании он эту концовку снял. В следующих изданиях он, однако, восстановил ее, но в измененном виде.

Огромное значение придавал Вячеслав Яковлевич построению и развитию сюжетного повествования.

— Слишком уж наша литература стала хроникальной,— говорил он,— между тем увлекательно развитый сюжет захватывает читателя и значительно усиливает действие книги.

Для этой же цели он любил применять чередование драматических и комических сцен.

— Как в жизни,— пояснил он.

Однако он относился к этому приему с большой осторожностью и тщательно себя проверял, боясь впасть в вульгарность.

В «Угрюм-реке» реализм Шишкова получил очевидную социалистическую направленность.

В смысле творческого метода этот роман был преддверием к «Емельяну Пугачеву».

К 1933 году роман был закончен.

Огромный успех «Угрюм-реки» у читателей сильно приободрил Вячеслава Яковлевича. Издание романа разошлось с необычайной быстротой.

Одна из библиотек прислала Вячеславу Яковлевичу оригинальный подарок: экземпляр «Угрюм-реки», зачитанный буквально до дыр; на многих страницах стерлась даже печать. Это было наглядным доказательством большой популярности романа.

Окончив «Угрюм-реку», Вячеслав Яковлевич решил было дать себе продолжительный отдых после напряженной творческой работы, тем более что предстояла редакционная работа и правка романа.

— Буду пробавляться мелочишками, пока голова отдохнет,— шутил он.— Эх, надо бы отдохнуть по-настоящему, бездумно...

Однако не в натуре Вячеслава Яковлевича было надолго оставаться без крупных творческих замыслов. Его манили сложные сюжеты и крупные композиции.

Он давно уже мечтал об историческом романе. Кое-кто из критиков прозрачно намекал, что Вячеслав Яковлевич взялся за «Пугачева» из желания уйти от современности, от запросов сегодняшнего дня, от актуальных политических и социальных проблем.

Это, конечно, не верно. Искусство — не археология. Изолировать себя от своего времени и его запросов писатель не может, даже избрав себе историческую тему.

Вячеслав Яковлевич отлично сознавал это. Ему и в голову не приходило убегать куда бы то ни было от современности, в которой он сам принимал столь действенное участие как писатель, общественный деятель и гражданин.

Вячеслава Яковлевича давно тянуло к заманчивому литературному жанру, еще им не изведанному. Он полагал, что за исторический роман писателю следует браться лишь при полном обладании творческими силами и писательским опытом.

Такой момент и наступил для Вячеслава Яковлевича после окончания «Угрюм-реки».

Сперва его привлекла тема об Аракчееве. Он много читал о декабристской эпохе. Но, по мере ознакомления с источниками, он постепенно стал охладевать к своему замыслу. Он возненавидел Аракчеева и, главное, разуверился в «масштабности» его фигуры.

— Лицемер и жестокий солдафон. Только и всего!

После долгих раздумий он остановился на теме о Пугачеве.

Смущала его «встреча» с Пушкиным.

— Вчера нарочно перечитал «Капитанскую дочку»,— говорил он,— мастерство изумительное. Пришлось бы, конечно, подходить к Пугачеву с другого боку. Да, вот писал еще о Пугачеве граф Салиас. Этого я не знаю.

А. Н. Толстой, и сам увлекавшийся историческим жанром, горячо поддержал намерение Вячеслава Яковлевича взяться за роман, посвященный Емельяну Пугачеву. Через несколько дней Вячеслав Яковлевич и Толстой были у меня в гостях. Естественно, зашла речь о Пугачеве и о «встрече» с Пушкиным.

— Бояться нечего,— живо заговорил Алексей Николаевич.— У Пушкина повесть, так сказать, «камерного» характера. Вся эпоха пропущена через семейную хронику. Это гениально. И, разумеется, дураком нужно быть, чтобы попытаться повторить это после Пушкина. Надо совсем по-иному браться за Пугачева, дать большое полотно, народную эпопею. Тут никакой встречи и не будет. Да и чего бояться? Раз кто из классиков писал, так уж и не трогать нужной темы? Да ведь и эпоха и тема таковы, что их и на десять писателей хватит. Были бы силы!

— Да вот Салиас еще! — опасливо заметил Вячеслав Яковлевич.

— Не знаю, не читал, — ответил Алексей Николаевич и улыбнулся,— да его, вероятно, и никто из нашего поколения не читал, а молодежь и подавно. Что такое Салиас!

Сели ужинать, Алексей Николаевич поднял свою рюмку:

— За шишковского «Пугачева»!

— Сосватали,— усмехнулся Вячеслав Яковлевич и, выпив свою рюмку, зажмурился и крякнул: — Крепонек Пугачев!

Через несколько дней удалось раздобыть экземпляр огромного романа Салиаса. Шишков прочитал его и успокоился:

— «Встречи» не будет.

Роман «Пугачевцы» Салиаса был, по его мнению, написан профессионально умело, но в идейном отношении отличался реакционностью, и в народном движении пугачевцев Салиас ничего не понял.

Вскоре Вячеслав Яковлевич вплотную взялся за «Пугачева». Начал он с составления подробного списка материалов, с которыми надо было познакомиться для работы над романом. Мне довелось помогать Вячеславу Яковлевичу и в составлении этого указателя и затем в разыскании нужных источников. Не помню точно, сколько номеров заключала в себе эта библиография, но уверенно могу сказать, что в ней значилось несколько сот названий — от капитальных трудов по истории XVIII века и сборников исторических материалов, вплоть до журнальных статей и публикаций. Параллельно шло собирание иконографического материала. Книги Вячеслав Яковлевич получал из библиотек и что мог охотно покупал. Так, например, он приобрел комплект «Русской старины» за много лет, издания Центрархива о пугачевском движении и о суде над Пугачевым и др.

Для изучения языка XVIII века он читал мемуары и книги того времени (Болотова, Фонвизина, Екатерины II, Дашковой, Радищева, Державина, Рычкова и др.), письма. Однако он помнил, что все сочинения такого рода писаны литературным языком, и тщательно собирал также памятники народной речи XVIII века, пересмотрел сборники фольклорных материалов, имевшихся в моей библиотеке.

Это была огромная, трудоемкая и очень кропотливая исследовательская работа заправского историка. По мере ознакомления с материалом у него возникал ряд вопросов как общего, так и специального характера. В таких случаях он обращался за консультациями к

специалистам, советы которых неуклонно принимал к сведению.

Он не раз посещал Русский музей и Эрмитаж, знакомясь с живописью, фарфором, ювелирными работами XVIII века.

С новым и особенным интересом ходил он теперь по улицам Ленинграда, приглядывался к старинным зданиям и памятникам, заново тщательно осматривал детскосельские дворцы, ездил в Петергоф.

Уяснив себе эпоху, события и людей — подлинных, исторических, Вячеслав Яковлевич попытался свести все эти сведения в некоторую обобщающую схему.

Летом 1935 года он попросил меня посмотреть эту схему.

На большом столе на веранде он расстелил огромную бумажную «простыню» из нескольких склеенных листов, занявшую весь стол. На этой «простыне» тонким и аккуратным почерком были обозначены все интересовавшие его события и лица, связанные с ними. В сводной схеме перечислены были события, связи и люди мира официального — петербургского — и мира народного, особенно в местах, где развивалось пугачевское движение, события в Москве, в приволжских и уральских городах. Не были забыты и такие явления, как деятельность Вольного экономического общества, Большой комиссии и др. Стали выделяться целые гнезда: екатерининских сановников, генералитета, чиновников, ученых, деятелей искусства. С другой стороны стали группироваться лица, так или иначе связанные с пугачевским движением.

Схема была очень наглядна и потребовала громадной затраты сил и труда. Вячеслав Яковлевич был ею удовлетворен, но, естественно, придавал ей только подсобное, справочное значение.

Помимо схемы Вячеслав Яковлевич завел ряд книжек для записей и картотеку с предметными рубриками по темам. Меня поражала эта огромная и серьезная подготовка писателя к работе над романом. Он поставил себе целью быть как можно точнее в изображении исторических фактов.

В результате своих интереснейших изысканий Вячеслав Яковлевич превосходно изучил екатерининскую эпоху.

После опубликования первых глав «Пугачева» один

рецензент поторопился оповестить читателей, что Шишков истории не знает и его повествование полно ошибок.

На этот раз Вячеслав Яковлевич не только огорчился, но и страшно рассердился:

— Это же возмутительная недобросовестность! Если он знает все материалы, то это сознательная клевета, а если не знает, то это непростительное легкомыслие.

Но тут же, по свойственной ему мнительности, Шишков стал мучительно проверять себя, не наделал ли он в самом деле каких-нибудь исторических ошибок.

Глупая рецензия имела, однако, одно весьма благоприятное последствие. Окончив первый том «Пугачева» и заключив с Ленинградским отделением Гослитиздата договор на его издание, Вячеслав Яковлевич попросил издательство дать роман на рецензию нескольким историкам, специалистам по XVIII веку, чтобы проверить историческую концепцию романа и точность изображения исторических событий, а затем предоставить ему возможность побеседовать с рецензентами.

Издательство охотно согласилось на это предложение. Несколько специалистов-историков, во главе с академиком Е. В. Тарле, приняли приглашение Гослитиздата и участвовали в обсуждении романа, которое было застенографировано. Я читал эту стенограмму. Академик Тарле горячо приветствовал «Пугачева» и признал историческую концепцию Вячеслава Яковлевича правильной. Сделав несколько частных замечаний, авторитетный ученый подчеркнул большую познавательную роль «Пугачева», оттенил ряд ценных исторических картин и окончил оригинальной, шутливой жалобой на то, что Вячеслав Яковлевич «отбивает хлеб» у историков, до такой степени он точен в воспроизведении исторических фактов. Академик Тарле находил, что автор как художник имел полное право и больше отступать от фактов, дать больше простора своему художественному воображению. Остальные участники совещания также ограничились отдельными замечаниями, отметили несколько промахов и единодушно признали историческую ценность «Пугачева».

С этого совещания Вячеслав Яковлевич вернулся оживленный и как-то помолодевший. Строгая проверка дала ему полную уверенность в своих силах. Подробно рассказал он мне о всех высказываниях. Он был очень тронут внимательным отношением к нему со стороны

ученых и не преминул вспомнить злополучную газетную рецензию.

— Надо было и этого франта доставить на совещание ума-разума набраться. Удивительно, как могут допускать таких людей решать судьбу книги.

— Такую же проверку, по желанию Вячеслава Яковлевича, прошел и второй том «Пугачева».

23 октября 1942 года он писал мне из Москвы: «По моему настоянию рукопись (27 л.) была представлена Тарле, жившему некоторое время в Москве. Он дал очень хороший отзыв».

Далее Вячеслав Яковлевич цитирует этот отзыв:

«Роман т. Шишкова был мною прочитан с неослабевающим интересом и удовольствием,— и со стороны чисто эстетической я бы затруднился отметить сколько-нибудь бросающиеся в глаза неровности или погрешности. Но от меня редакция ведь и не требует критики «художественной», но исключительно исторической. С этой точки зрения роман «Пугачев» тоже производит очень благоприятное впечатление. Может быть, чуть-чуть идеализирован Пугачев и не оттенены тоже бесспорно присущие Емельяну Ивановичу чисто разбойничьи черты» и т. д.— некоторые советы, некоторые указания на ошибки (довольно спорные) и конец: «Все эти попутные мелкие замечания не могут никак повлиять на высказанную вначале положительную оценку правдивости и исторической верности изложения всего романа, такого интересного и содержательного и такого художественно-ценного».

Наряду с кропотливыми историческими изысканиями Вячеслава Яковлевича весьма заботила жанровая структура «Пугачева».

Написав несколько глав, он не без недоумения говорил:

— Как-то странно складывается «Пугачев»: ни повесть, ни роман. Впрямь становлюсь историком, бывают страницы, когда не выхожу из фактов, а за ними как-то сами собой следуют и воображаемые лица и воображаемые события. Так я еще не писал, да и другие тоже, кажется, так не писали, я, по крайней мере, таких случаев не знаю.

Эти поиски особого жанра очень занимали Вячеслава Яковлевича. Читая мне некоторые отрывки, он озабоченно спрашивал:

— Не скучно получается? Не засушил я?

Убедившись, что встал на правильный путь, Вячеслав Яковлевич после ряда экспериментальных эпизодов и глав твердо овладел избранной им формой и назвал этот своеобразный жанр «историческим повествованием».

Его очень прельщала новизна этого жанра, дававшая писателю большой простор для широких исторических картин, для художественных экскурсов в быт разнообразных общественных слоев и групп. Главы о Кунерсдорфском сражении, о чуме в Москве, о крепостном быте, о Большой комиссии — наглядное доказательство того, какие большие художественные возможности извлек Вячеслав Яковлевич из найденного им жанра.

Но главное заключалось в органическом слиянии этих фактографических сцен с домыслом писателя, с вымышленными эпизодами.

Об этом у нас бывали частые разговоры.

Вячеслав Яковлевич прекрасно изучил быт XVIII века и нашел в его изображении широкое поле для своего реалистического мастерства.

Его правдивые и яркие сцены часто напоминали мне полотна Сурикова, а сочные, размашистые портреты — мощную репинскую кисть. Об этом я не раз и говорил и писал Вячеславу Яковлевичу, и он, в свою очередь, не раз говорил, что эти художники научили его «видеть» жизнь и воспроизводить ее. Переводить это «видение» на язык слов доставляло Вячеславу Яковлевичу большую творческую радость. В этом ощущал он свою художественную силу, особенно когда удавалось найти красочную деталь, вдруг оживлявшую характер или целую картину.

Вячеслав Яковлевич внимательно следил за равновесием исторических и вымышленных элементов. Именно поэтому он выключил из «Пугачева» большой эпизод, который, по его словам, «не влезал в «Пугачева» и был издан отдельно под названием «Прохиндей». Ему и жалко было исключать из повествования историю Долгополова, но не хотелось и сжимать, обескровливать яркий эпизод. Требовательное чувство художника заставило его все-таки прибегнуть к «хирургическому» решению вопроса, и, лишь когда «Пугачев» разросся до трех томов, Вячеслав Яковлевич счел возможным вновь включить этот эпизод в текст романа.

Работа над историческими эпизодами была мозаична, кропотлива, утомительна; напротив того, как только доходило дело до жанровых сцен, Вячеслав Яковлевич давал волю своему воображению и «купался» в материале. «Батальные сцены и вообще всю фактическую сторону дела пишу по необходимости и без большой охоты,— писал он мне,— а вот на разных «купаниях пугачевской армии в Волге», на «пугачевских свадьбах» с удовольствием задерживаюсь. От этого рукопись вспухает. Ежели это — плоть и кровь, мускулы, жизненный жирок — хорошо. А ежели болезненная гипертрофия — худо».

Однако при чтении этих «фактических» сцен не чувствуешь отсутствия «большой охоты». Таково уж мастерство Шишкова, что силою и яркостью образного слова он побеждает трудный материал и делает его предметом искусства, оставаясь в то же время в пределах исторической правды.

Это-то и обеспечивает «Пугачеву» большую познавательную ценность.

Личность Пугачева очень привлекала Вячеслава Яковлевича. В процессе работы над повествованием писатель все больше и больше увлекался своим героем. Сложная и противоречивая натура Пугачева представляла большие возможности для домысла писателя, тем более что биографических данных о Пугачеве, особенно о молодости его, было очень мало.

Вячеслав Яковлевич «угадывал» Пугачева и в казачьем быту, и на войне. Он привел его на поля сражения в Пруссии, где впервые столкнул с Михельсоном и Суворовым, привел и в Берлин.

Читаешь эти страницы и думаешь, что иным Пугачев и не мог быть.

Буйная богатырская удаль, природный ум, крепкая мужицкая сметка, страстное жизнелюбие, большая любовь к угнетенному народу и своей родине, блестящие организаторские способности сочетаются в нем с удивительным простодушием и взрывом ярости и жестокости по отношению к врагам народа. Чудесный юмор Вячеслава Яковлевича смягчал слишком резкие противоречия этого характера. Вячеслав Яковлевич явно выдвигал на первый план в образе Пугачева те черты, которые он считал наиболее типичными для национального русского характера.

Шишков неоднократно восхищался умением Пугачева учиться управлять в условиях борьбы и жесткой ломки крепостнического уклада жизни. Он угадывал в Пугачеве и природную любознательность, инстинктивное, а потом и сознательное стремление к знанию.

— Удивительный самородок! — говорил Шишков о Пугачеве.

«Да он, Емельян Иваныч,— писал Вячеслав Яковлевич мне в 1944 году,— добропорядочный человек получается, он, несомненно, таким и был. Милостью своею подкупал народ, силой воли всех держал в руках, искусством воевать побеждал царицыных генералов».

Незадолго до моей эвакуации из Ленинграда в 1942 году я в последний раз был у Вячеслава Яковлевича. Жил он тогда в «писательской надстройке», на пятом этаже в доме № 9 по каналу Грибоедова.

Стоя у окна, из которого открывался широкий вид на часть города, примыкающую к Марсову полю, Вячеслав Яковлевич с горечью говорил:

— Трудно писать в этих условиях. Постоянные тревоги, бомбежки, отсиживание в бомбоубежище. Делаю только текущую литературную работу — для журналов и газет. И правлю, что раньше написано. Зато думаю, много думаю о Пугачеве. Особенно о последних днях его жизни и о его смерти.

— Знаете,— задумчиво глядя в окно, продолжал он,— мне будет очень трудно писать о его смерти, очень уж я его полюбил. Такие люди не должны умирать...

Он и не дал Пугачеву умереть.

Тщательно и упорно работал Вячеслав Яковлевич над языком персонажей «Пугачева», стремясь сохранить колорит русской речи XVIII века и вместе с тем не перегрузить повествование архаизмами.

Работа над «Пугачевым» шла очень систематично, но медленно, с постоянными экскурсами в исторические материалы. Не раз приходилось дорабатывать и переставлять отдельные эпизоды и, находя новые источники, возвращаться к уже написанному тексту для переработки.

Особенно длительных перерывов в работе не было: недолгие промежутки отдыха и болезни да тяжелейшая «блокадная» ленинградская зима 1941/42 года. Но и в эти промежутки писатель неотступно думал о «Пугачеве». Перерывы томили его.

Отвлечение для других работ, необходимых по разным причинам, особенно в годы Великой Отечественной войны, когда Вячеслав Яковлевич считал своим священным долгом писать рассказы и очерки для красноармейских журналов (некоторые из них вошли в сборник «Гордая фамилия»), в свою очередь, замедляло темп работы над «Пугачевым». Но этого Вячеслав Яковлевич уже не ставил себе в вину. У него была острая потребность отозваться на переживаемый момент современной тематикой. Он был счастлив тем, что эти его усилия были высоко оценены: «Спешу поделиться своей большой радостью, друг мой,— писал он мне 4 июля 1942 года,— наградили меня медалью за оборону Ленинграда. Награда почетнейшая, носить ее буду с гордостью».

Вполне понятно горячее желание Вячеслава Яковлевича скорее окончить «Пугачева». Тут кстати заметить, что превосходные главы о Семилетней войне с Пруссией, о разгроме Фридриха II и взятии Берлина, полные высокого патриотизма, были написаны Вячеславом Яковлевичем до войны с фашистской Германией. В самом начале войны он радовался, что эти сцены оказались написанными как раз ко времени, а впоследствии очень гордился тем, что они были изданы отдельной книжкой под названием «Слава русского оружия».

И все-таки, как ни стремился Вячеслав Яковлевич поскорее окончить «Пугачева», взыскательный художник сдерживал в нем эти порывы.

Вот несколько характерных примеров того из писем Вячеслава Яковлевича:

«У меня здоровье так себе, похвастаться не могу, все ж таки висят на моих плечах большие годы. Хоть бы скорей докончить «Пугачева». Дела над этим «господином» много еще»,— писал он 29 июля 1942 года из Москвы.

17 мая 1943 года он сообщил мне радостную весть о переиздании первого тома «Пугачева» и добавил: «Тороплюсь теперь с работой над второй книгой. Конца «Пугачева» не видать. Вряд ли в январе закончу».

Силы Вячеслава Яковлевича слабели, а труд все разрастался. 2 декабря 1944 года Вячеслав Яковлевич писал:

«А в общем, второй том разрастается до 60 листов. И нет возможности ничего выбросить без помехи общей картине».

Преодолевая свой недуг, Вячеслав Яковлевич медлен-

но, но упорно подводил повествование к концу. В том же письме он говорит об этом моменте работы:

«Теперь дело идет к развязке, трагедия самого Пугачева и народа, и вообще пугачевщины — нарастает. И автор должен напрячь себя всего. Вот тут-то и боюсь, что не хватит душевных силенок, а занять негде. Сейчас Пугачев подходит к Саратову. Тема предательства своего вождя со стороны атаманов постепенно нарастает, это должен почувствовать не только читатель, но даже всякий пролетающий над Пугачевым воробей».

Это писал Вячеслав Яковлевич всего за три месяца до своей смерти, а за месяц — жаловался:

«Пугачев» во второй том не влез — высунулись руки, ноги, голова. Решил выпустить повествование в трех томах». Но в то время, когда писатель уже приближался к самому концу повествования, «приехал из Ленинграда томище «Угрюм-реки» в сверстанном виде, страниц в 500, в две колонки». «Вот я тут пуп-то и надорвал»,— писал он.

Дружеская похвала и участие очень поддерживали Вячеслава Яковлевича и подкрепляли его силы. «От Ваших похвал «Пугачеву»,— отвечал он мне на отзыв о нескольких главах,— мне и радостно и стыдно. Боюсь, заслужил ли я их? Правда, кой-что удалось. Да ведь в такой махине иначе и быть не может. Пишешь, пишешь, глядь — что-нибудь и вытанцуется».

В этих словах сказалась всегдашняя скромность Вячеслава Яковлевича.

* * *

В последние годы жизни Вячеслав Яковлевич изведал великое счастье признания его больших заслуг перед искусством Советской страны.

Награждение орденом Ленина к семидесятилетию со дня рождения глубоко взволновало его. «Меня отметило само Правительство. Я сим горжусь»,— писал он мне. Очень тронуло его и чествование на юбилейном вечере, организованном Союзом советских писателей. Ответная речь Вячеслава Яковлевича, полная благородства, глубокой любви к искусству, сказана была от души и как нельзя лучше и полнее характеризует его обаятельную личность.

В то же время дождался Вячеслав Яковлевич и серьезной критики.

Самый факт выдвижения «Пугачева» на Государственную премию сыграл огромную роль в его работе последних лет. Одобрительный отзыв писательской общественности взбодрил его жизненную силу.

По всем этим причинам моменты слабости и неуверенности в себе сменялись приливами бодрости, энергии и творческой радости. Жалобы на недомогания снова уступали место чудесному, чисто «шишковскому» юмору, звучавшему до того печального дня, когда перо выпало из рук писателя.

1954

Н. Завалишина

В ДЕТСКОМ СЕЛЕ

О Вячеславе Яковлевиче Шишкове я много слышала, еще не будучи с ним знакома. Встретившись с ним, мои родители с симпатией говорили о нем, и мать считала, что внешне он похож на А. П. Чехова, которого видела в Ялте.

Впервые я увидела писателя в 1927 году, когда, закончив свою пятиактную пьесу, он читал ее для бывших политкаторжан в квартире Алексея Николаевича Толстого.

В зале первой квартиры Толстых в Детском Селе, па втором этаже каменного дома, на Московской улице, в мягких креслах сидели легендарные люди: длиннобородый Прибылев, его маленькая жена Прибылева — Корба и остальные, столь же пожилые, бывшие заключенные Шлиссельбурга и других крепостей. Их освободила только Октябрьская революция.

Вячеслав Яковлевич, на мой взгляд, совсем не был похож на А. П. Чехова, а из-за длинных волос, мягких усов и бородки вначале показался одним из персонажей пьес Островского. Он явно волновался. Покашливал, перекладывал на столе рукопись. Начав читать — успокоился. Читал он удивительно просто и с явным удовольствием, часто похохатывая.

Мне пьеса показалась слабой (не знаю, была ли она опубликована впоследствии). Но слушатели были внимательны и очень благодарны за чтение.

Только А. Н. Толстой, всегда ревностно и бескомпромиссно относившийся к литературным вопросам, стал сильно критиковать. Имея за плечами уже немалый опыт драматурга, Алексей Николаевич делал весьма ценные

указания, доказывая, что то или другое место несовместимы с законами сцены.

Вячеслав Яковлевич как-то поник, примолк и задумался.

В том же году к Алексею Николаевичу снова обратились с просьбой устроить у него чтение новой поэмы Н. Клюева, который неожиданно приехал в Детское Село. Поэма не была напечатана, и чтение ее самим автором представляло большой интерес.

В назначенный день и час все приглашенные собрались в квартире А. Н. Толстого, но были неприятно поражены тем, что, впущенные прислугой в залу, оказались без хозяев. Как выяснилось впоследствии, Толстой считал, что он просто предоставил помещение для читки, а сам с семьей ушел к Федоровскому городку играть в теннис. Положение создалось напряженное. Устроители не знали, начинать чтение или нет. Все молчали и переглядывались. Сам Клюев, эдакий низкорослый «мужичок» с длинными волосами, с усами и бородкой, одетый нарочито по-крестьянски, беседовал вполголоса с кем-то из писателей.

Наконец через полчаса, возбужденный и веселый, с ракеткой в руке и в теннисном костюме появился хозяин, и чтение началось.

Читал Клюев окая, с напевом, на былинный лад. Хотя при перечитывании поэма оказалась с претензией и настолько заумной, что многое так и осталось непонятным, тогда чтение автора захватило всех.

Вячеслав Яковлевич сидел откинувшись в кресле и серьезно смотрел поверх головы читавшего.

По окончании чтения Клюев давал автографы на отпечатанной на папиросной бумаге поэме, все экземпляры которой сейчас же были взяты «на память» присутствующими. Уговорили подойти и меня. Мельком взглянув, поэт написал карандашом: «Наташе Котляровой, с нежной тоской на ее жемчужную юность».

Познакомилась я с Шишковым в 1928 году осенью, уже после его женитьбы. До этого события, говоря о нем, все жалели, что он бесприютен и одинок. И в Детское Село Вячеслав Яковлевич переехал, чтобы быть ближе к природе и к тому писательскому окружению, которое там находил. Еще не бывая у Шишковых, я часто видела его и Клавдию Михайловну, когда они, одетые в шубы из

одинакового коричневого меха, счастливые и радостные, возвращались поздно вечером из театра или филармонии. Жизнь детскоселов всегда была на колесах. Живя в нашем прекрасном городе, большинство из нас училось или работало в Ленинграде, и поэтому поездки в поезде были ежедневными.

Так и я, поступив в ту осень на Высшие Государственные курсы при Институте истории искусств, где занятия начинались часов с пяти, возвращалась домой поздно и наблюдала за нравившейся мне своей дружбой парой. Разница их возраста в 30 лет не бросалась в глаза. Вячеслав Яковлевич выглядел бодро и весело, Клавдия Михайловна из-за сильной полноты казалась старше своих лет.

Шишковы были исключительно радушны и приветливы и приглашали к себе решительно всех, с кем знакомились. Происходило это и от доброжелательности к людям, и от большого профессионального интереса писателя. Вячеслав Яковлевич не только наблюдал за людьми, но действительно помогал всем окружающим без исключения, были ли это студенты, начинающие писатели или просто детскосельские обыватели.

Так и вижу его внимательное лицо, прищуренные глаза и добрые морщинки от них, когда он, легонько покашливая и похохатывая при удачной шутке, сидит за большим обеденным столом.

Если Вячеслав Яковлевич слышал что-то тяжелое и грустное, он как-то терялся и задумчиво помалкивал. Но при первой возможности свести все к шутке оживлялся. Встрепенется весь, подхватит ее и вдруг, при самом серьезном разговоре, вставит народное словцо или даст неожиданную, совсем неправдоподобную концовку. В нем было очень остро чувство юмора. Но это не было вышучиванием всего и всех, а какая-то тихая радость жизни, умение найти веселье во всем.

Встретившись с моими родителями у общих знакомых, Шишковы пригласили их к себе. Мама взяла меня с собой. Обо мне они кое-что уже знали, так так видели мой портрет у К. С. Петрова-Водкина.

Мы пришли в их уютную квартиру на первом этаже деревянного дома на Малой улице. Бывая в писательской среде, я привыкла молчать и слушать разговоры умных людей, стараясь, чтобы меня не замечали. Но у Шиш-

ковых была удивительная простота хлебосольной русской семьи, а у Вячеслава Яковлевича внимательный интерес ко всем, даже к такой еще почти девочке, какой была я. Поэтому мне сразу стало у них легко и спокойно.

Вячеслав Яковлевич хорошо знал и любил русскую народную музыку. Особенно удовольствие доставляли ему хоры. Поэтому его любимыми операми были «Хованщина» и «Град Китеж», и он прекрасно знал и напевал вполголоса хоры из них.

Вспоминая свои детские и юношеские годы, когда для мальчиков было обязательным посещение всех церковных служб, они с моим отцом начинали тихонько напевать, а затем громче и наконец во весь голос всю церковную службу. И все с удовольствием слушали это стройное пение двух мужских голосов.

Всегда, когда не было большого или официального приема гостей, а сидели обычные посетители дома Шишковых, Вячеслав Яковлевич просил меня петь. Слушал он, прикрыв глаза, с удовольствием. Но неизменно критиковал. В это время я училась петь у прекрасного ленинградского педагога З. Н. Артемьевой, и его замечания по дикции были для меня очень ценны. Больше всего он любил романсы Гурилева и Варламова.

Начиная с зимы 1928—1929 года и до середины тридцатых годов все мы виделись не менее двух-трех раз в неделю. Тогда и читали свои произведения приезжавшие из Загорска М. М. Пришвин, А. Белый, Алексей Николаевич Толстой читал главу за главой «Петра I», знакомил со своими воспоминаниями К. С. Петров-Водкин.

Это было время, когда Вячеслав Яковлевич снова начал работать над романом «Угрюм-река». Однажды он открыл боковой шкафчик своего огромного письменного стола и показал нам стопочками сложенные драгоценные записные книжки с заметками к роману, которые заполнялись в течение десяти лет.

Читал Вячеслав Яковлевич басовито, часто крякая из-за постоянного воспаления голосовых связок. Особенно близка ему была Анфиса, и, отложив рукопись, он начинал говорить о ней как о близком, живом человеке. Нежно относился он к Илье Сохатых, сам потешаясь над его словечками. Иногда, чувствуя, что какое-то место полу-

чилось особенно удачно, он говорил: «Хорошо вот это у меня вышло. Прекрасное место!»

Особенно памятно мне чтение первого путешествия Прохора и сон о Синильге. Читая немного нараспев, Вячеслав Яковлевич передавал слова Синильги с какой-то особой интонацией. Увидя, какое сильное впечатление произвело на слушателей чтение этого отрывка, он был по-детски доволен.

Позднее, когда первая книга «Угрюм-реки» уже вышла отдельным изданием, я ехала с Вячеславом Яковлевичем в вагоне из Ленинграда в Детское Село. Понимая, что я еще не тот читатель, мнение которого он хочет услышать, я робко заговорила о тех местах книги, которые произвели на меня особо сильное впечатление. Он живо отозвался и начал заинтересованно уточнять мое мнение.

Вскоре начали приходить письма от читателей. Иногда адрес был прост: «Автору «Угрюм-реки» или «Редактору «Угрюм-реки» — просим передать автору». Тираж был очень невелик, и критика отнеслась к роману более чем прохладно. А читатель радовался. Читатель благодарил, и этим очень дорожил автор. Часто вечерами он выходил к столу с пачкой писем и читал нам. Было письмо библиотекаря из какого-то далекого поселка. Она писала, что одного имеющегося у нее экземпляра романа не хватает для читателей, и просила Вячеслава Яковлевича прислать еще.

После чтения Вячеславом Яковлевичем отрывков из первого тома «Угрюм-реки», еще до печатания книги, слушатели задавали вопросы о дальнейшей судьбе героев. Но Вячеслав Яковлевич многого о них и сам еще не знал. Он говорил, что Прохор вырвался из-под его власти, зажил своей, самостоятельной жизнью, и что с ним будет дальше — не ясно. Позднее он сказал: «Нельзя больше — я Прохора убил».

Очень он удивился, получив письмо с Ленских приисков, в котором ему писали, что сразу узнали в Протасове того самого инженера, который работал у них во время Ленского расстрела.

— Вот это необыкновенно! — говорил Вячеслав Яковлевич.— Многие типы «Угрюм-реки» — собирательные. Воедино собраны черты тех людей, с которыми прихо-

дилось встречаться. Некоторые переживания автобиографичны. Описания природы прямо взяты из моих записных книжек того времени, когда я сам проехал в качестве геодезиста с партией изыскателей по Лене. И только один инженер Протасов выдуман от начала и до конца.

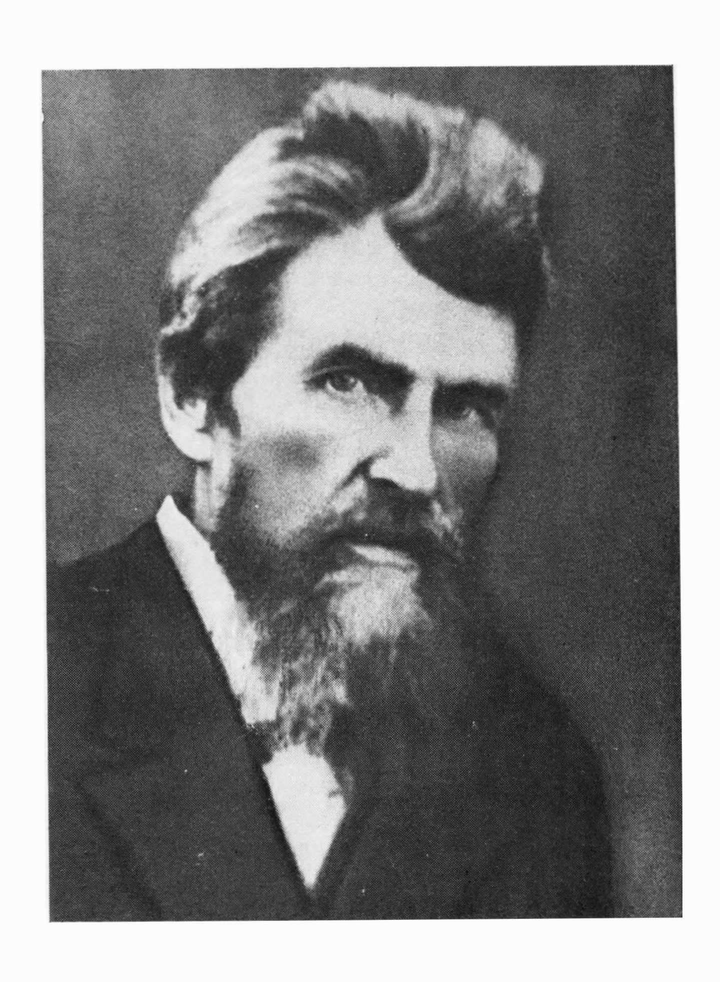
Доставило ему радость письмо одного военного, который искренне благодарил писателя за удовольствие, доставленное ему при чтении «Угрюм-реки». Показывал Вячеслав Яковлевич трогательную надпись на конверте одного из писем, вкось через адрес было написано: «Спасибо за «Угрюм-реку» — почтовый работник станции такой-то».

Всеми этими откликами читателей писатель очень дорожил.

Как-то ранней весной они с Клавдией Михайловной ездили в Крым. С ними на пароходе ехал беспризорник-мальчишка. С ним Вячеслав Яковлевич беседовал много и с наслаждением. Впоследствии мальчик даже некоторое время переписывался с ним, давая тем самым ценный материал для повести «Странники», которую Вячеслав Яковлевич как раз начал писать.

Вячеслав Яковлевич много общался с читателем и начал делать это задолго до того, как такие встречи стали модными и постоянными. Он выступал в библиотеках, в рабочих аудиториях. В 1930 году я слушала его с балкона филармонии. Это был вечер писателей. Читали все знаменитости, но мне на всю жизнь запомнился только он. Держал он себя солидно, сдержанно и просто. Сел, выпил воды и начал. К сожалению, слушать его было очень трудно, так как по состоянию горла читал он с трудом, и в конце зала его совершенно не было слышно. Тем не менее публика была внимательна и отзывчиво реагировала на все, что происходило с «инженером Вошкиным». Когда я вечером ехала в поезде из Ленинграда домой, я услышала, как один из пассажиров рассказывал, что был на этом писательском вечере и что лучше всех читал пожилой инженер о беспризорниках. Почему-то Вячеслав Яковлевич оказался в его представлении инженером.

Однажды заговорили об искусстве, и каждый из присутствующих старался дать определение, что такое искусство. А. Н. Толстой и В. Я. Шишков стояли во время



Яков Дмитриевич Шишков. Отец писателя. Фотография В. Я. Шишкова

В. Я. Шишков с матерью и сестрой Екатериной, 1900 г.



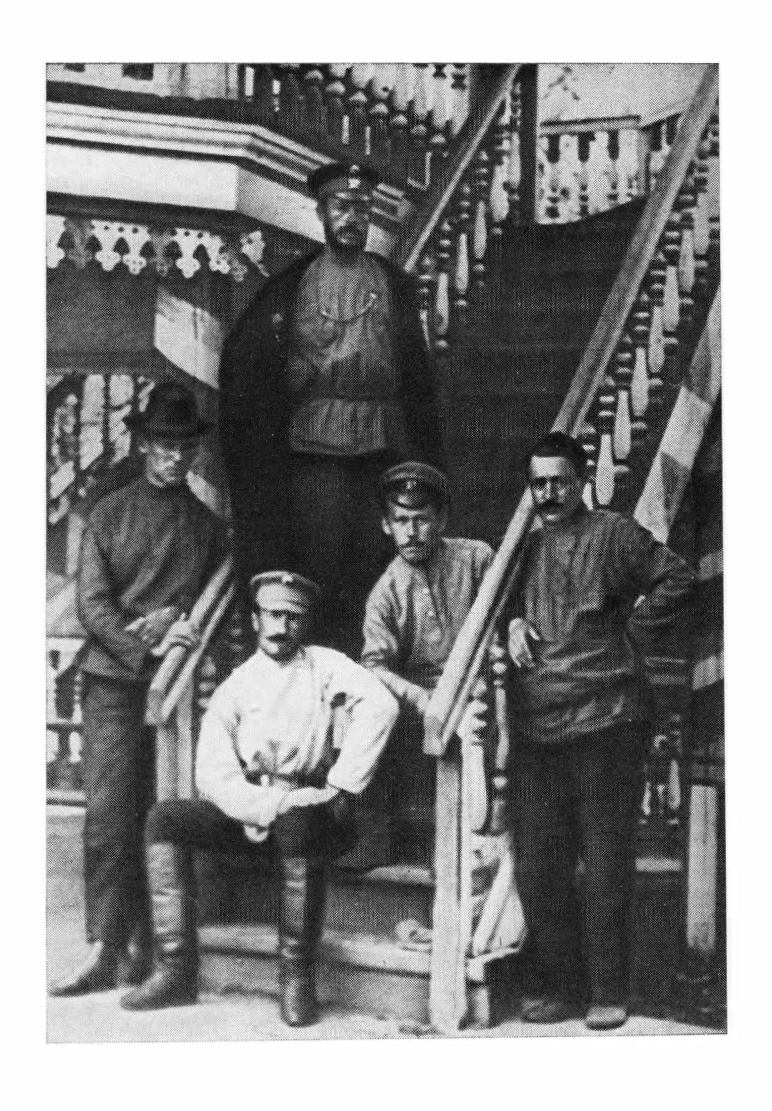
В. Шишков — ученик Вышневолоцкого технического училища, 1891 г.



В. Я. Шишков. Томск, 1900 г.



В. Я. Шишков с сестрой Марией накануне отъезда в Сибирь, ***1904 г.***

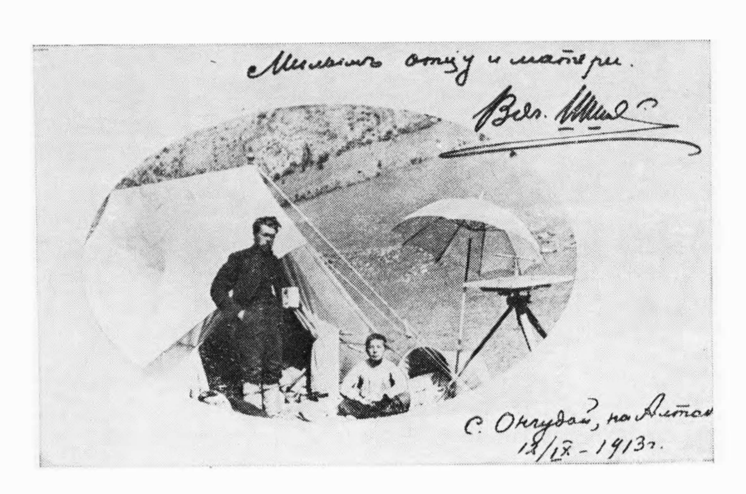


В. Я. Шишков и техники экспедиции на Алтае, 1910 г.



В. Я. Шишков со своей изыскательской группой на Алтае, 1910 г.

Стойбище бродячего тунгуса Василия. В. Я. Шишков в середине



*В. Я. Шишков на отдыхе в своей палатке в с. Онгудой на Алтае (Экспедиция по изучению Чуйского тракта), **1913 г.***



Плот на реке Бии (фото В. Шишкова)



В. Я. Шишков, 1914 г.



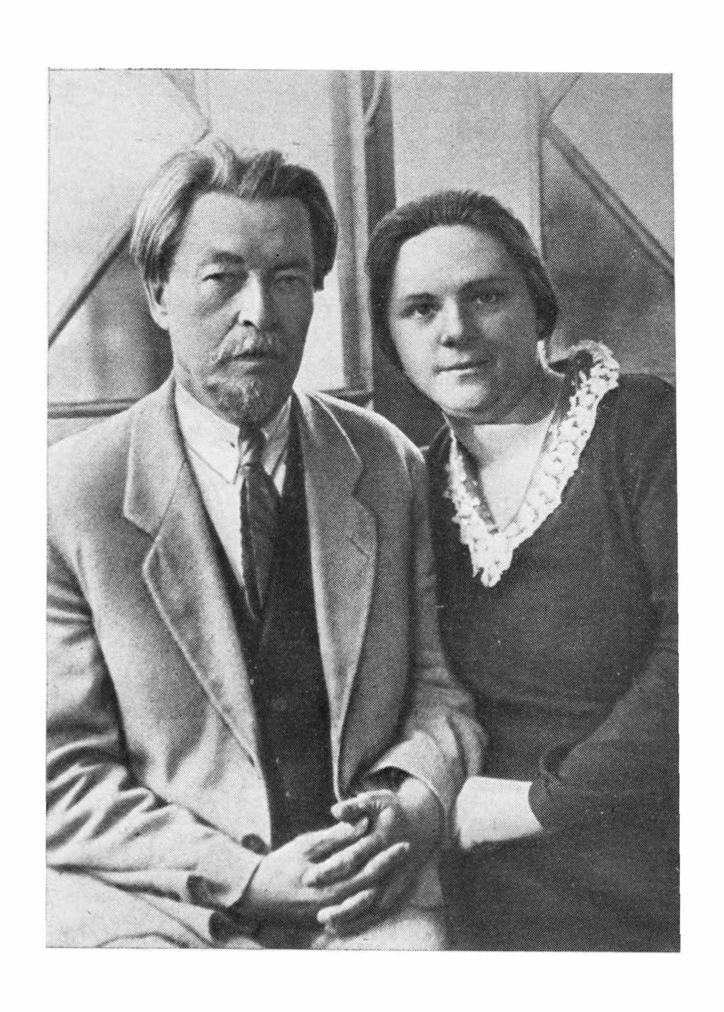
Первые книги В. Я. Шишкова

Дом, в котором жил В. Я. Шишков с 1929 по 1941 г. в г. Пушкине

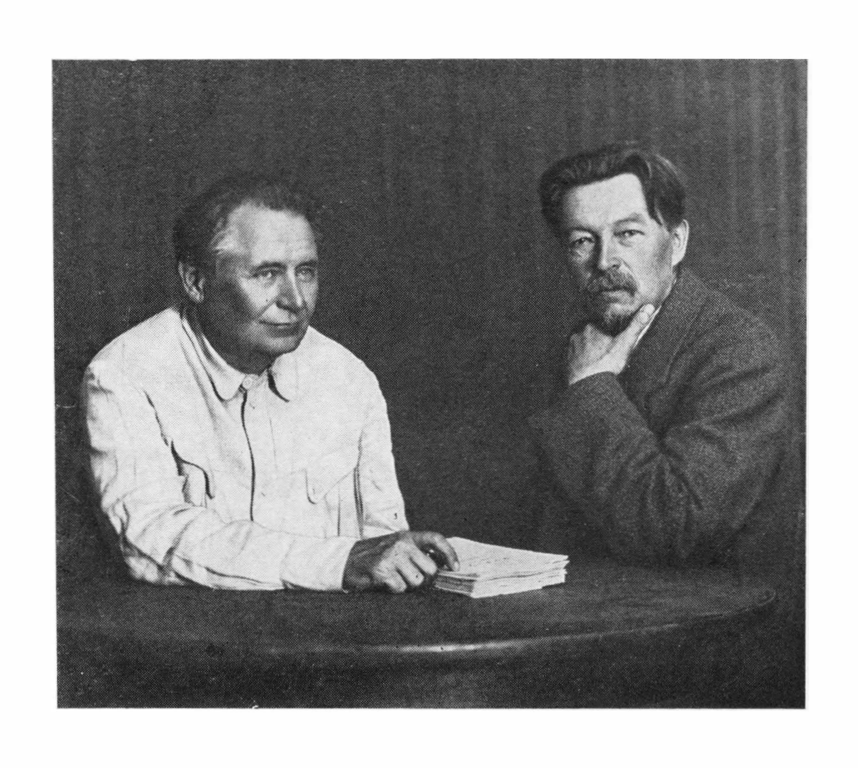


В. Я. Шишков на занятии литературной группы в Ленинградском политико-просветительном институте им. Н. К. Крупской, 1933 г.

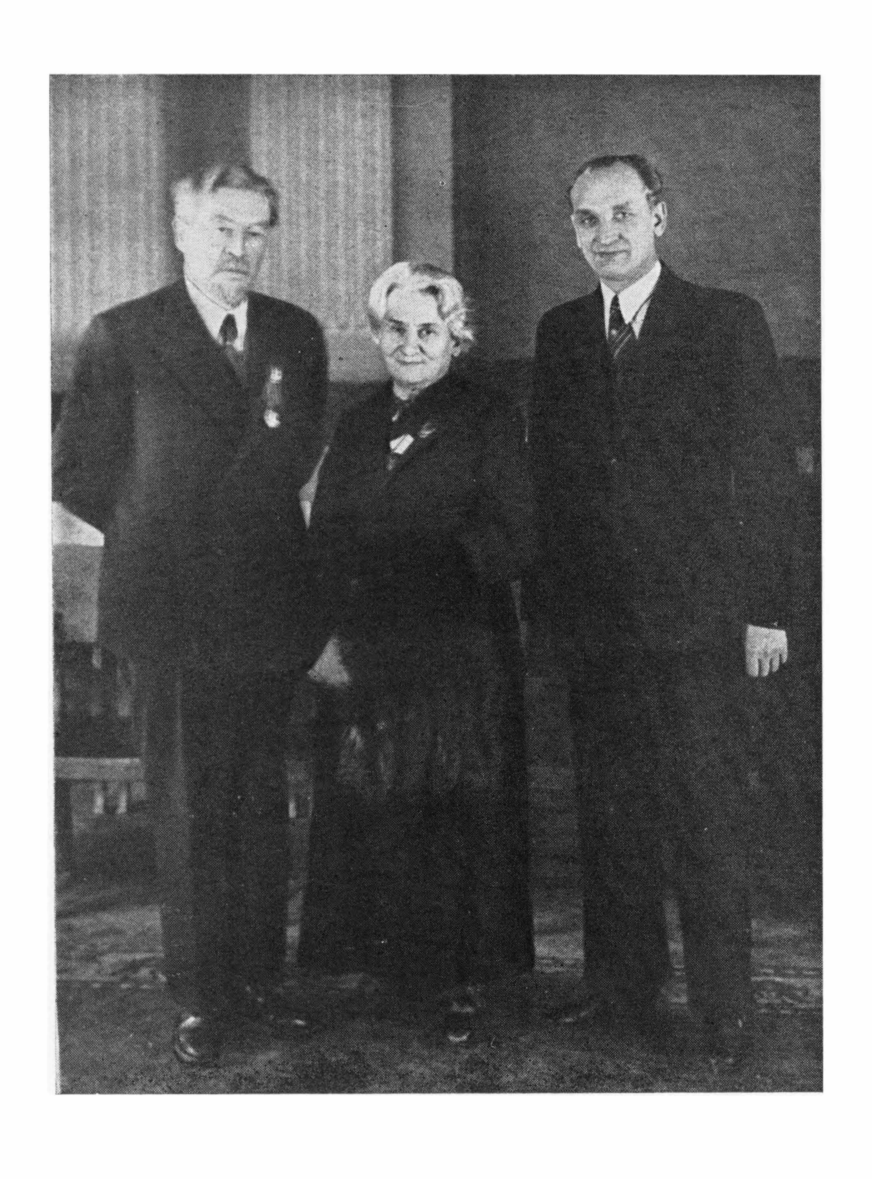
Страница рукописи романа В. Я. Шишкова «Угрюм-река»



В. Я. Шишков и К. М. Шишкова. Пушкин, 1937 г.

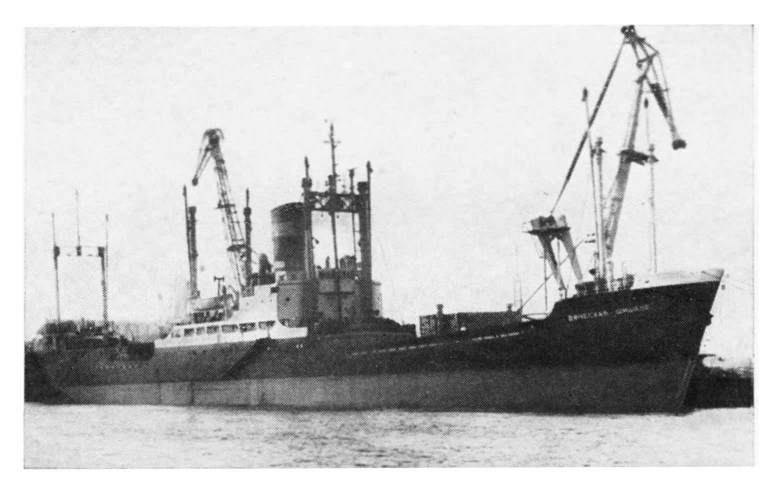


В. Я. Шишков и В. М. Бахметьев, 1939 г.



В. Я. Шишков, О. Форш и Ю. Палецкис после вручения орденов, 1943 г.

Памятник В. Я. Шишкову на Чуйском тракте



Пароход «Вячеслав Шишков» в порту Херсон, 1977 г.

этого разговора — первый у окна, второй у камина. Начал Вячеслав Яковлевич выражать свою мысль расплывчато и не ясно, но в конце концов, медленно прохаживаясь по комнате, обобщил: «Я понимаю искусство как нечто высшее, как искру, попавшую на человека, которую он как зеницу ока хранить должен». Говорил он взволнованно и сосредоточенно, и чувствовалось, что сам он именно так относится к своему таланту, который он точно с удивлением констатировал в себе и боялся растерять.

Несколько раз он говорил при мне о начинающих писателях: «Я ему сказал — рано. Надо начать писать, когда сам много видел и когда есть что свое сказать». Или: «Писать еще успеете. Надо много, много читать из того, что до вас написано».

Одним из памятных, многочисленных чтений конца 20-х и начала 30-х годов было чтение знаменитого киевского врача Гедройц ее автобиографической повести «Кафтанчик». Мужеподобная, серьезная женщина, одетая в нечто похожее на сюртук, читала очень хорошо. Все буквально упивались свежестью этой прелестной вещи. Чтение происходило за неизменным круглым обеденным столом у Шишковых. По окончании Вячеслав Яковлевич сказал, что «Кафтанчик» — это первое произведение, которое ему безоговорочно понравилось за последнее время. На другой день снова было чтение, но на этот раз автором была привезенная Гедройц из Киева молодая женщина, лет двадцати пяти. Она знакомила со своими, еще нигде не напечатанными рассказами. Не помню ее фамилии и не знаю, было ли что издано из того, что мы слышали. После чтения ею рассказа «Троечка» Вячеслав Яковлевич вместе с Алексеем Николаевичем начали горячо и живо беседовать с автором. Они засыпали ее замечаниями. Вячеслав Яковлевич заметил:

— Когда вы подражаете и тянетесь за модой, вы губите свой замечательный талант. А ваша «Троечка» — это же необыкновенная вещь и с удивительным вкусом сделанная. Вы можете вырасти в очень крупного писателя. Только работайте! Работайте как можно больше!

Часто Клавдия Михайловна посмеивалась над мужем, что он не решается по своей доброте прямо выска-

зать плохое мнение начинающему автору и теряет массу времени на разговоры, переходя с одного постороннего вопроса на другой.

Будучи в течение нескольких лет председателем Союза писателей Ленинграда, он заботливо относился к людям не только по долгу, но и просто по своей неизменной внутренней потребности.

Он выхлопотал пенсию племяннице Бакунина — С. П. Ганенфельд, старушке, которая часто бывала у Шишковых. Выхлопотал пенсию и ежедневно навещал необыкновенно скромного автора когда-то нашумевшей сатиры «Мимочка на водах» Лидию Ивановну Веселитскую. Незадолго до смерти она опубликовала воспоминания о своих встречах с Л. Н. Толстым, В. М. Гаршиным и Н. С. Лесковым. И тоже не без его помощи.

Однажды мама встретила Вячеслава Яковлевича, когда он вез на детских саночках дрова. Оказалось, что это уже не в первый раз он снабжал топливом бедствовавшую в Детском Селе столетнюю писательницу Зорину. Из-за нее же он, по своей всегдашней доброте, попал в неприятное положение: по его совету Зорина стала писать о своих встречах с писателями. Когда рукопись была готова, Вячеслав Яковлевич пришел в ужас. Написано было так бездарно, что печатать оказалось невозможным. Но мужества сказать столетней старухе правду тоже не хватило, и он долго платил ей «гонорар» из своего кармана, объясняя, что с оформлением в печати дело затянулось.

Привыкнув считать меня девочкой, Шишковы очень удивились, узнав, что я выхожу замуж, но сейчас же приняли деятельное участие в устройстве моей свадьбы. «Мы сами Наташу замуж выдадим»,— говорил Вячеслав Яковлевич, зная стесненные материальные средства моих родителей. Да и нелегко было достать все, что нужно, в 1932 году. За несколько дней до свадьбы они, вместе с друзьями, притащили мешок с шампанским и другими винами.

Рано утром 13 мая дворничиха их дома на Московской улице принесла от Шишковых большую корзину цветов, а около двух часов дня пришли они сами. Чтобы не смять, Вячеслав Яковлевич нес пироги на дощечке, покрытой сверху белым. Мальчишки бежали за

ним и приставали: «Дяденька, что несешь?» — «Пироги на свадьбу»,— невозмутимо отвечал он. Придя к нам и расставив принесенное на столе, Вячеслав Яковлевич подошел ко мне и мягко сказал:

— Я нарочно пришел, пока у вас никого нет, чтобы пожелать вам счастья. Вы делаете очень серьезный шаг. День этот будет памятен вам на всю жизнь, и отнеситесь к нему серьезно. И вот от меня на память.

Он вынул изящную старинную чашечку на тонкой ножке и поставил ее передо мной. Я очень любила и берегла ее до самого бегства из Пушкина перед приходом туда фашистов.

Вячеслав Яковлевич совершенно неотделим для меня от своей семьи. Я не знала его до женитьбы на Клавдии Михайловне, но мама говорила, что он был очень сиротлив и бесприютен в то время.

Человеком очень близким Вячеславу Яковлевичу и, безусловно, много сделавшим для создания спокойной, творческой обстановки в доме была мать Клавдии Михайловны — Раиса Яковлевна Шведова. Она и ее муж Михаил Иванович (маленький, молчаливый, беленький старичок в неизменной ермолочке на голове) жили отдельно в Ленинграде, но постоянно гостили у Шишковых в Детском Селе, особенно летом. Раиса Яковлевна не доверяла дочери хозяйства, хотя обе были превосходными хозяйками, и раза два в неделю приезжала напечь пирогов, настряпать и строго присмотреть, все ли в порядке.

В 30-х годах Вячеслав Яковлевич пережил две большие потери, которые глубоко потрясли его. От несчастного случая на улице погиб его племянник Митя, о котором он всегда неусыпно заботился. Он просидел много часов у его постели, много средств потратил — только бы спасти дорогого человека. Долго не мог оправиться Вячеслав Яковлевич от этой потери. С тех пор на его письменном столе всегда стоял огромный портрет Мити.

Второй потерей была смерть Михаила Ивановича Шведова. Тихий и, казалось бы, незаметный старичок, почти ровесник Вячеславу Яковлевичу, он был любим всей семьей. Много было ими пережито вместе, уже не говоря о том, что Михаил Иванович был отцом до-

рогого Вячеславу Яковлевичу человека — его жены и друга.

В ночь своей смерти Михаил Иванович очень страдал. Вячеслав Яковлевич был рядом до самой его кончины и наутро, расстроенный, пришел к Толстым.

Шли годы. Мы сходились с Шишковыми все ближе и ближе. Уезжая в дом отдыха (последние предвоенные годы дважды в год — в апреле и осенью), он писал нам открытки, а Клавдия Михайловна — письма, в которых была живо отражена их жизнь. Ни этих открыток, ни его книг с умными, теплыми надписями у меня не осталось: все погибло в Пушкине в уничтоженном фашистами доме.

Вячеслав Яковлевич заметно старел. Это совершенно не сказывалось на наружности, но он становился менее подвижным. Прежде он с женой часто ездил в театр и концерты. Теперь — все реже. Иногда сговаривались мы поехать в филармонию вместе. Приближался день концерта; зайдешь за Шишковыми, а Вячеслав Яковлевич ласково скажет нам: «Вы, девочки, поезжайте, а я по радио то же самое послушаю» — и оставался дома. Жена была к нему очень внимательна, и в заботах ее порой проглядывало что-то материнское. По-прежнему она была его единственным секретарем и машинисткой, причем не пассивным исполнителем, а критиком и советчиком.

В конце тридцатых годов за их круглым столом под люстрой по пятницам собирались одни и те же люди: Лев Рудольфович Коган (профессор литературы, со мнением которого Вячеслав Яковлевич очень считался), большой друг семьи — доктор Пилипенко, наша семья и композитор, музыкальный критик Валериан Михайлович Богданов-Березовский с женой Анной Агафоновной. Шишковы, Березовские и мы так сдружились, что стали видеться по три раза в неделю, по очереди в каждой семье. В воскресенье гуляли вместе.

К Пушкинским паркам Вячеслав Яковлевич относился любовно. С утра в любую погоду, в стареньком пальто, он сидел за длинным столом на балконе второго этажа, скрытый от людей зеленью высоких деревьев и цветными стеклами боковой стенки. Там он работал. А после обеденного сна, тоже в любую погоду, в фетровой шляпе и пальто, заложив руки за спину, мед-

ленно ходил по аллеям парка. Знал он их великолепно и особенно любил Александровский парк — его глухую часть, в сторону Александровки и Бобловского парка.

У Вячеслава Яковлевича были твердые литературные привязанности. Помню, как однажды мы с Клавдией Михайловной, только что перечтя «Войну и мир», самонадеянно критиковали слог Льва Толстого. Вячеслав Яковлевич вдруг вышел из кабинета и необычно резко вступил в разговор.

— Толстой — это такая непревзойденная величина, о которой и говорить-то ничего нельзя. Выше этого художника никого нет.

А когда Клавдия Михайловна все-таки пробовала отстаивать свое мнение, он прекратил разговор, сказав:

— Не нам, маленьким людям, подымать свой голос против такого колосса.

Зиму 1940—1941 года мы проводили особенно весело. Было много музыки, что очень радовало Вячеслава Яковлевича. Валериан Михайлович Богданов-Березовский, прекрасный исполнитель, много играл вещей своего любимого Рахманинова или знакомил со своими сочинениями. Я пела под его аккомпанемент. В то время мы с мужем много фотографировали, и были удачные снимки этих наших вечеров. (Кое-что сохранилось у К. М. Шишковой.) Фотографировать Вячеслава Яковлевича было одно удовольствие. Он был очень терпелив и мог просидеть неподвижно сколько угодно.

Вячеслав Яковлевич любил и понимал живопись, особенно творчество старых русских мастеров. На стене его кабинета расположилось редкое собрание финифти. В столовой и кабинете были полотна первоклассных художников.

Квартира Шишковых на Московской улице (вторая в Пушкине, дом, где была первая, после войны не сохранился) была маленькая, но красивая. Было приятно, что вход к ним — отдельный. Из сада дверь вела на каменную лестницу прямо в их квартиру на втором этаже. Входили в кухню, сияющую чистотой. В ней находились также зеркало со столиком и вешалка. Затем — комната. В ней слева дверь на балкон. Рядом с ней — пианино. На нем и на высоком буфете (вся мебель обе-

их комнат — красного дерева) статуэтки русского фарфора — этнографические типы России. Такие же я увидела в Этнографическом музее Академии наук, только там они были белые, а у Шишковых притягивали к себе яркой художественной окраской.

У окон комната превращалась как бы в гостиную: там стоял диванчик и кресла с ковровой обивкой. В углу, на специальной тумбочке,— прекрасно выполненная группа каслинского литья — казаки на конях. По правой стене тахта и очень большой буфет. По середине комнаты, под люстрой, круглый обеденный стол.

Кабинет, тоже в два окна, был сравнительно небольшим и светлым. Вся мебель с голубой обивкой. Овальный столик всегда завален новыми книгами. Там же конторка, книжный шкаф с великолепными изданиями. В углу фигурка бронзового Данте. Справа, между дверью и окном, огромный письменный стол Вячеслава Яковлевича с массой бумаг. На стене, против двери, два прекрасных портрета писателя и Клавдии Михайловны в совершенно разной манере исполнения.

Здесь гости обычно сидели до чая. В этом же кабинете я фотографировала Вячеслава Яковлевича с только что полученным орденом «Знак почета» и огромной корзиной цветов от Гослитиздата.

Муж мой в тот же день сфотографировал Вячеслава Яковлевича в кресле, а на полу у его ног были я и Клавдия Михайловна. Фотографию эту все очень любили.

Совершенно случайно у меня сохранилось два письма от Шишковых, относящихся к этому времени.

От 20 мая 1941 года Клавдия Михайловна писала:

«...Красоты необыкновенные, все цветет: розы, глицинии, иудино дерево, акации, сирень уже отцвела. Это просто рай.

Вообще ужасно хорошо жить на свете. Вячеслав загорел, хорошо отдохнул, он почти не работает, да это и хорошо...»

К письму жены Вячеслав Яковлевич делает приписку:

«...Итак, скоро свидимся. Время летит быстро, а время хорошее, желательно, чтоб оно ползло, а не летело. Я творил очень мало, простудился, главным образом в Городском театре, где был наш вечер. Но зато читал хо-

рошо и заработал, кроме небольшого гонорара, громкие аплодисменты...

Люди у нас интересные. Интересен Н. Н. Гусев, секретарь Толстого. Гуляю я мало, т. е. гуляю целыми днями, но у себя в парке. А ездили всего два раза. Изленился я очень. Я даже и не подозревал в себе такой лени. Драть бы меня надо...

Недавно были в Доме-музее А. П. Чехова, познакомились с милой М. П. Чеховой, которая нам все и показывала, а на прощанье подарила по букету сирени и цветов».

Этим письмом заканчивается спокойная, радостная и счастливая жизнь в Пушкине.

Наступили годы войны, и первую зиму 1941—1942 года я и моя семья были близки с Шишковыми, как никогда.

После объявления войны я заходила к ним ежедневно. Вячеслав Яковлевич был молчалив, но спокоен. Он поражался, что люди при малейшей тревоге бегут в траншеи, вырытые в садах Пушкина. Но однажды, когда начали бомбить ближайший аэродром, он, будучи в это время дома один, не выдержал и спустился в сад, в траншею, о чем впоследствии сам рассказывал с юмором.

Становилось все тревожнее. Вячеславу Яковлевичу предложили вагон для эвакуации, но он отказался, так как продолжал работать над «Пугачевым» и считал, что там он не найдет нужных материалов.

Вскоре наступили такие дни, когда все мы оказались в Ленинграде. Как и у всех пушкинских жителей, у Шишковых вся обстановка квартиры осталась в Пушкине. Один только раз Клавдии Михайловне удалось под обстрелом добраться на машине до брошенного дома и привезти кое-что ценное, в том числе и бронзового Данте.

В сентябре—октябре 1941 года мы почти не расставались, так как моя семья осталась без крова: день мы были у живущих недалеко от Шишковых Богдановых-Березовских, на ночь мне с дочерью Вячеслав Яковлевич достал пропуск в писательское бомбоубежище под Малым оперным театром. Мама ночевала в коридоре их дома. Сами они жили на четвертом этаже, при бомбежках спускались в этот же сводчатый, постройки екате-

рининских времен, коридор нижнего этажа. Днем, при артиллерийских обстрелах, забегали и мы в него. Этот темный коридор связан для меня с фигурой Вячеслава Яковлевича в пальто и шляпе. Коридор под давящими сводами полон. Ни на кого не глядя, сидит с книгой профессор Б. Томашевский. В одном конце профессор Эйхенбаум, окруженный многочисленной семьей; в другом — закутанная в шерстяной платок Анна Ахматова, при близких разрывах бомб она вскрикивает. На полу мирно играет моя дочь и дочь поэта С. Спасского. Никаких признаков тревоги нельзя было заметить у Вячеслава Яковлевича. Большей частью он с кем-нибудь беседовал, иногда шутил. И от этого окружающим становилось легче.

В ноябре мы получили комнату на Васильевском острове и целый месяц не видели Шишковых. После того как жилье наше снова было исковеркано при артиллерийском обстреле, мы переехали к друзьям и снова оказались рядом с ними. С 17 декабря 1941 года по 1 апреля 1942-го (дата их эвакуации) мы виделись почти ежедневно. Когда мой муж приезжал к нам из своей воинской части на Всеволожской, мы непременно заходили к Шишковым.

К тому времени наступило относительное затишье, и Шишковы в коридор уже не выходили, тем более что и жить переехали ниже. Комнатка была для троих очень тесная. Посередине «времянка», на которой деятельно готовила пищу Раиса Яковлевна. У самой «времянки» обеденный стол, за которым работал Вячеслав Яковлевич. Он заметно изменился. Похудевшая шея свободно двигалась в воротничке. Он сидел в пальто у стола, покрытого листами рукописи. Ему особенно продуктивно работалось в это время.

Писателям начали сбрасывать с самолетов посылки с продуктами, им стало чуть-чуть легче. Как только Вячеслав Яковлевич увидел мою Ирину, он встал, принес плитку шоколада и, отломив, часть дал ей. Надо понимать, что такое была пища в блокадном Ленинграде, чтобы оценить должным образом этот поступок.

Шишковы пришли в ужас от вида моего мужа. Он был так слаб и худ, что едва двигался. Вечером, по поручению Вячеслава Яковлевича, к нам прибежала Клав-

дия Михайловна, захватив с собой немного крупы и сахару. К этому времени у нас ничего не было, и мы начали питаться столярным клеем.

Алеша слег. Вечерами приходила Клавдия Михайловна, как рождественский дед, с мешком, из которого вынимала какую-нибудь еду.

Провозя с Мальцевского рынка детские саночки, груженные дровами (с каждым днем они становились все тяжелее для меня), я заходила к Шишковым погреться, Вячеслав Яковлевич бросал работу и старался ободрить шуткой.

4 февраля, на тех же саночках, я свезла мужа в стационар, и уже через неделю Клавдия Михайловна была у него.

— Вячеслав и мама велели передать,— говорила она, взяв Алешу за руку,— что вы наш самый любимый, что сейчас у нас никого нет ближе. (У Алеши на глазах были слезы.)

6 марта Алеша умер. Как каменная, без слез, выслушала я подробности его кончины, повернулась и побрела назад. По дороге было ощущение, что в сердце впилось что-то постороннее. Я пришла к Шишковым и открыла дверь. Вся семья сидела у стола. «Алеша умер»,— сказал я, и все молча поднялись.

У Вячеслава Яковлевича текли слезы. Он долго молчал, пока женщины кормили меня и безуспешно уговаривали плакать.

В это время отворилась дверь, и какой-то человек из издательства окликнул Вячеслава Яковлевича. Он отошел с ним к окну, поговорил, а затем, вставая, сказал: «Вы простите, я не могу сейчас говорить с вами. У нас большой друг умер».

Клавдия Михайловна пошла со мной и держала мамину голову, когда она рыдала, а я ухаживала за теряющей сознание Ириной.

Через несколько дней Вячеслав Яковлевич вызвал меня и сообщил, что он говорил обо мне с режиссером Малого оперного театра Николаем Николаевичем Горяиновым, который в то время был комиссаром и входил в тройку, ведавшую эвакуацией Дзержинского района Ленинграда. Они договорились о моей работе на эвакопункте.

Николая Николаевича я встречала раза два, во вре-

мя милых вечеров 1940—1941 годов у Шишковых. Это было время, когда композитор Д. Г. Френкель, молодой, увлеченный работой, приезжал проигрывать куски своей оперы «Угрюм-реки». Сам Вячеслав Яковлевич был в приподнятом настроении, так как у него легко писалось стихами либретто, что его и самого удивляло. «Хоть целый день могу писать стихами и очень хорошо получается»,— говорил он. Мы все слушали то, что написал и демонстрировал у пианино композитор. Опера была уже принята к постановке в Малом оперном театре в сезон 1941—1942 года. Поэтому с ним вместе приезжал и веселый молодой человек, который, вытянув длинные ноги и полулежа в кресле, живо реагировал на все, что показывал и объяснял музыкант. Опера «Угрюм-река» должна была стать первой самостоятельной работой режиссера Горяинова. Все это вспомнили мы при свидании с Николаем Николаевичем, обвешанным оружием и совершенно иным, чем я помнила его с прошлого года.

Так стала я работать на эвакопункте, помещавшемся в служебном помещении Малого оперного театра на Площади искусств. К Шишковым я стала заходить реже. Вскоре они сообщили мне, что первого апреля уезжают автобусом по еще твердому Ладожскому льду, сначала в Москву, а дальше неизвестно куда. Вячеслав Яковлевич слабел, и правительство настаивало на эвакуации. Впервые за эту страшную зиму я расплакалась. Вячеслав Яковлевич, поглаживая меня, говорил: «Ну, что уж вы так убиваетесь? Еще увидимся, чай пить будем». И как-то беспомощно помаргивал глазами. Накануне отъезда Шишковых я окончательно простилась с ними, а поздно вечером пришла к нам Клавдия Михайловна с большим мешком, в котором было собрано все, что осталось у них съедобного. Этим мы жили и сумели остаться живы до нашей эвакуации в мае 1942 года. На предложение ехать с ними нам пришлось ответить отказом, так как неподвижно лежала моя умирающая мама, которая вскоре скончалась.

Утром следующего дня, идя на работу мимо их дома, я увидела у арки ворот пустой голубоватый автобус. Заглянула в него. Там лежали вещи. Мелькнула мысль, что это уезжают Шишковы. И действительно, я сразу же столкнулась с Вячеславом Яковлевичем, кинулась к не-

му и буквально изошла в слезах. Единственные близкие мне люди, оставшиеся в лихую годину людьми в лучшем смысле этого слова, уезжали...

Через несколько дней, после смерти мамы, Горяинов вызвал меня к себе в кабинет и сообщил, что, уезжая, Вячеслав Яковлевич взял с него слово — отправить меня с дочерью с началом весенней эвакуации. Свое слово Николай Николаевич сдержал и, прощаясь со мной 12 мая 1942 года, просил передать об этом Вячеславу Яковлевичу при свидании.

Живя очень тяжело до 1944 года в Нижнем Тагиле, я получала от Шишковых письма, которые привожу здесь.

3 июля 1942 года Вячеслав Яковлевич писал:

«Дорогая Наташенька!

Ваше письмо было для нас великим праздником. Наша постоянная печаль о Вас как-то сразу отлегла от сердца. Значит — живы, здоровы. А это — все. Вечная память Алексею Александровичу и Елене Рудольфовне. Смерть идет по земле, косит кого хочет.

...Спасибо Николаю Николаевичу, что принял в Вас живое участие, можно сказать — спас Вас от несчастий. Мы живем теперь очень хорошо, очень сытно... Работаю, и довольно много».

15 октября 1942 года он спрашивал меня:

«...К кому, Вы считаете, я мог бы обратиться, как писатель, с хлопотами за Вас, ну скажем, к какому-нибудь председателю местного исполкома и директору завода и т. д. и в чем должна заключаться моя просьба о Вас?»

Беспокоясь о нашей неустроенности, Вячеслав Яковлевич писал работавшему в эвакуации в Нижнем Тагиле Ю. А. Пилипенко:

«Дорогой Юрий Андреевич, здравствуйте!

Подательница этого письма — наш друг Наталия Григорьевна Завалишина, вероятно, Вы встречались с нею у нас в г. Пушкине. Она лишилась и мужа, и матери. Очень плохо живет теперь в Нижнем Тагиле.

Не можете ли, по своей душевной доброте, отнестись к ней, как к человеку, нуждающемуся в доброй помощи...»

Письмо к Ю. А. Пилипенко осталось у меня, так как сил искать адресата не было, а когда они появились — отпала надобность. И наконец, в открытке от 19 октября 1942 года он снова предлагал мне свою помощь, узнав,

что я стала работать в Криворожском горнорудном институте, эвакуированном в Тагил.

В 1944 году я с Горным институтом переехала в Кривой Рог и в 1945 году во время зимних каникул, истосковавшись по близким людям, с великим трудом в конце февраля доехала до Москвы.

Было 6 часов утра, холодно и темно, когда я, держа чемоданчик, позвонила на теплой лестнице, показавшейся мне дворцом после тех условий, в каких я жила все военные годы. В этом огромном доме на улице Горького на двери была дощечка, заставившая сжаться от счастья сердце,— «В. Я. Шишков». За дверью зашлепали туфли, и мы радостно и взволнованно обнялись с Клавдией Михайловной. Меня выкупали в ванне (четыре года я не видела ванны) и уложили спать. Проснувшись и выйдя к чаю, я от всего сердца расцеловалась с Вячеславом Яковлевичем. Он сильно изменился. Пополнел, несколько обрюзг и очень постарел, хотя держался попрежнему прямо. Но походка была какая-то не та. Изменили его и поседевшие, почему-то очень длинные волосы. В отношении к нему домашних, еще более бережном и внимательном, сквозило понимание того, что он ослабел. За столом Клавдия Михайловна подкладывала ему все самое вкусное, следила, как он спит, как работает, боясь переутомления. В эти дни Вячеслав Яковлевич из-за небольшой простуды не выходил из дому.

Все семь дней, что я прожила у Шишковых, Вячеслав Яковлевич с неизменным интересом слушал радио: сводки с фронта, музыку. В свободное от работы время он сидел на диване в столовой и читал «Мадам Бовари» Флобера. О своем выезде из осажденного Ленинграда Шишковы рассказывали, что они доехали до Москвы благополучно, но так ослабели, что их долго усиленно питали. Поселили их в гостинице «Москва», где было удобно, но дорого, и они переехали куда-то в район Третьяковской галереи. Квартира оказалась так мала, что Вячеслав Яковлевич из-за своего постоянного воспаления голосовых связок стал задыхаться. Материально сначала также жили с трудом.

С гордостью рассказал Вячеслав Яковлевич о том, какую чуткость по отношению к нему проявило правительство. Говорил о получении ордена Ленина и о празд-

новании его семидесятилетнего юбилея. Он показал мне красивые папки с «адресами», а главное — огромное количество писем от читателей со всех уголков страны. По-прежнему это было самое дорогое и нужное писателю.

Войдя в его огромный кабинет, я увидела, что мебель в нем была в том же стиле, что и в кабинете в городе Пушкине, а в углу стоял все тот же бронзовый Данте. По-прежнему на письменном столе лежали рукописи, а на столике масса новых книг.

По настоянию Вячеслава Яковлевича я много рассказывала о смерти мамы, которую они все так любили, об отъезде из Ленинграда, бомбежках Воронежа, гибельном существовании в селе Каменка близ Пензы и обо всех невзгодах моей нелегкой жизни. Слушал он внимательно, и по глазам было видно, как он живо реагировал на все, что слышал. Несколько раз мы оставались с ним одни, и у меня было чувство, что нет на свете человека ближе, чем Вячеслав Яковлевич,— таким от него веяло теплом и лаской.

В один из последних вечеров, что я гостила у Шишковых, к ним пришел пасынок А. Н. Толстого — Федор Федорович Волкенштейн, чтобы сообщить о смерти Алексея Николаевича. Вячеслав Яковлевич расстроился и задумчиво молчал. Затем подошел к кровати, стоявшей в те дни для большего доступа воздуха в столовой, и лег.

Я уезжала в день похорон А. Н. Толстого. Вячеслав Яковлевич непременно хотел пойти на похороны. «Последний из нашей старой гвардии умер»,— сказал он. С трудом его уговорили не ходить. Простившись в Колонном зале с Алексеем Николаевичем, мы с Клавдией Михайловной вернулись расстроенные. За чаем, последним в этой семье, я с грустью смотрела на Вячеслава Яковлевича и боялась осознать мысль, что я больше его не увижу. Уходя, я в последний раз оглянулась на его большую фигуру в синем джемпере, заполнившую весь проем двери в столовую.

Через девять дней, в Кривом Роге, я прочла некролог Вячеславу Яковлевичу.

В 1946 году в разоренном фашистами Пушкине я подошла к пустой каменной коробке его дома. Неизменной осталась терраса с цветными стеклами. Даже в ящиках ее были видны стебельки засохших цветов. Так и каза-

лось, что за столом в своем сереньком пальто должен сидеть Вячеслав Яковлевич. Но окна были пусты, и среди груды кирпичей буйно росла крапива.

Теперь дом отремонтирован. В нем живут другие люди. Только на стене мраморная мемориальная доска.

Попадая проездом в Москву, я всегда делаю остановку, чтобы поехать на Новодевичье кладбище. На прекрасном памятнике такая знакомая мне роспись — «Вяч. Шишков». У подножия маленькая дощечка с надписью: «Раиса Яковлевна Шведова». Я приношу им обоим цветы и тихо и долго сижу на скамейке, вспоминая прошлое.

1975

Н. Еселев

ВСТРЕЧИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Весной 1932 года Вячеслав Шишков принес в редакцию Ленинградского издательства художественной литературы сборник «Шутейные рассказы». В ту пору рассказы показались нам старомодными, не соответствующими духу времени. Но среди этих уже известных широкому кругу читателей произведений, написанных в юмористической, свойственной для Шишкова манере, резко выделялся и по жанру и по содержанию нигде не публиковавшийся ранее рассказ под названием «Громов».

Мне, тогда еще неискушенному редактору, все же не трудно было определить, что это новое произведение является отрывком из какой-то большой повести или романа. Во всяком случае, «Громов» привлек мое внимание, и я, перечитав его несколько раз, стал готовиться к беседе с Вячеславом Яковлевичем. Вскоре эта беседа состоялась. Вячеслав Шишков приехал из Пушкина, чтобы справиться о судьбе своей рукописи.

Разговор у нас был сердечным, искренним, и, конечно, не о сборнике, а о новом произведении «Громов». Я, разумеется, не высказал Вячеславу Яковлевичу своего отношения к «Шутейным рассказам», да этого и не требовалось. Я был захвачен новой вещью, ее социальным звучанием и какой-то большой, хотя еще и не совсем ясной значимостью. Свои впечатления о «Громове» я высказал Вячеславу Яковлевичу с откровенной радостью. Автора, разумеется, все это живо интересовало; мнение первого читателя было для него весьма важным.

Оказалось, что «Громов» — это маленький отрывок из большого романа, над которым писатель работал с перерывами более двенадцати лет, что роман вчерне написан и вот автор не знает, подошло ли время его пе-

чатать. Произведение это никакому издательству автор еще не предлагал, а кроме жены, Клавдии Михайловны, отдельные главы романа читал Алексей Толстой.

На меня смотрели прищуренные, улыбающиеся, умные глаза Вячеслава Яковлевича. Они как бы определяли, спрашивали: «Вот роман, ну и что ж? А что мы станем с ним делать? Ведь его надо читать, оценивать его идейные и художественные достоинства, решать вопрос об издании. А кто это будет делать? Не вы ли, молодой человек? А можно ли вам доверить такое важное и ответственное дело?»

Кто знает, какие еще мысли и чувства были на душе писателя. Ведь не прошло еще и года, когда он в письме к К. Федину сообщал, что хотя роман и закончен, «но над книгой, чтоб она заговорила высоким голосом, надо еще работать долгие месяцы, а то и годы. Да и не моей голове. Мне очень трудно стать над этой вещью, как над чужой и чуждой, и властной рукой поставить все на свои места, вдунуть душу...»

Думается, что Шишков взвешивал, сомневался, стоит ли нести молодому редактору такое большое произведение, где еще что-то не так, что-то надо ставить на свое место.

Единственное, что могло заставить Вячеслава Шишкова принести мне новый роман,— это, видимо, мое искреннее и доброе расположение к автору и искреннее желание прочитать его новую рукопись. Во всяком случае, такому опытному и проницательному человеку, каким был Вячеслав Шишков, мое поведение, видимо, понравилось... Через некоторое время первая часть романа лежала у меня на столе, и я по просьбе автора читал его дома, после работы.

С каждым последующим приездом Вячеслава Шишкова в издательство отношения между нами становились все более сердечными. Вячеслав Яковлевич привозил новые части романа, а я высказывал свое отношение к прочитанному. Беседы наши затягивались. Они становились откровенными, дружественными. Вячеслав Яковлевич шутил, рассказывал разные истории из своей жизни, о своих путешествиях по Сибири, по Европейской России. Начинались эти беседы с каких-либо смешных эпизодов, приключавшихся с Шишковым.

— Ехал я в трамвае на задней площадке,— начинал

Вячеслав Яковлевич.— Увлечен я был какими-то думами, смотрел на прохожих, на ленинградские дома, витрины... Вдруг слышу, чья-то рука тащит из моего жилетного кармана часы... А носил я их на цепочке, продетой через петлю жилета и соединенную с другим карманом. Медленно поворачиваю голову в сторону воришки и, улыбаясь, смотрю ему в глаза. Он, разумеется, испуганно и недоуменно смотрит на меня. Постепенно рука его удаляется от моих часов и кармана. На первой же остановке воришка вместе со своим приятелем, стоявшим рядом со мной, выходит из трамвая. «Понимаешь... Сво-ой!» — услышал я разочарованный голос карманника, бросившего виноватый взгляд на меня.

Однако охотнее всего Вячеслав Шишков рассказывал о Сибири, о тайге, о своих встречах с тунгусами, о своих походах по рекам и лесам сибирским, которые так красочно, так правдиво описаны в его ранних произведениях. Природа и люди Сибири глубоко волновали и занимали ум писателя. Какие бы темы современной жизни ни затрагивались в беседах, почти все они заканчивались воспоминаниями о таежных странствиях, об особенностях сибирского характера.

Сибиряки — народ своеобразный, стойкий, выносливый. Они не раз выручали Вячеслава Шишкова из разных бед, спасали от неминуемой гибели. Вячеслав Яковлевич с особой теплотой отзывался об этих людях, удивлялся их сметке, их природному чутью, уменью выходить из самых трудных, неожиданных положений, в которые они попадали в тайге.

Постепенно, в течение нескольких недель, я закончил чтение нового романа Вячеслава Яковлевича. Роман произвел на меня очень сильное впечатление. Он покорил меня новизной, широким показом дореволюционной Сибири, яркостью образов, своеобразием языка. Я рассказал об этом директору издательства и предложил заключить с автором договор.

Мои предложения были одобрены. Мне только надлежало отрецензировать роман, и тогда директор согласен был подписать договор. А вскоре был представлен и отзыв В. А. Десницкого. Известный литературовед высоко оценил литературные достоинства, социальную направленность романа, важность темы, поднятой в нем. Помню, рецензия заканчивалась словами, что многие главы

могут украшать любую литературную хрестоматию, что роман будет хорошо встречен читателями.

С автором был подписан издательский договор. Роман намечался к изданию двумя книгами и двойным тиражом. Вячеславу Яковлевичу была определена высшая ставка — четыреста рублей за авторский лист. Редактировать роман было поручено мне [1].

Меня это и радовало и пугало. Радовало то, что мне досталась такая интересная и значительная рукопись, в художественных достоинствах которой у меня не было никаких сомнений. Я чувствовал и понимал, что на фоне посредственных рукописей, которые тогда в большом количестве поступали от многих еще малоопытных молодых писателей, роман Вячеслава Шишкова был событийным явлением.

Как редактору мне предстояло вести разговор с известным писателем, выпустившим в свет много книг, человеком, умудренным большим житейским опытом, испытавшим на своем веку многое, видевшим немало разных редакторов. Это меня пугало. Одно дело — вести произвольные разговоры с писателем и высказывать ему приятные слова о его произведении, а другое дело — «врываться» в его творение с какими-то своими замечаниями, своими мыслями.

Оказалось, что опасения мои были напрасными. Работать с Вячеславом Яковлевичем было поучительно и легко. Разумеется, у меня не было никаких претензий к языку романа. Язык Вячеслава Шишкова, изобразительные средства писателя вызывали восхищение. Тут мои пометки были незначительны. Они касались отдельных фраз, местных речений. Меня настораживало другое. Много места в романе занимали религиозные старцы-отшельники, вокруг которых у нас с автором велись споры.

---

[1] «Вячеслав Яковлевич не предполагал,— сообщила мне в марте 1969 года К. М. Шишкова,— что его новый роман «Угрюм-река» будет принят кем-либо к изданию. Он считал, что обстановка для этого была неподходящая. Вот что по этому поводу писал Шишков в июне 1926 года П. С. Богословскому: «Имеется ли у Вас журнальчик «На посту» № 3 1926 г.? Если нет — купите (35 к.). Там изображено дерево современной литературы. Напостовскими головотяпами я повешен на сук правых «попутчиков». Поэтому заключение с Вячеславом Яковлевичем договора на издание «Угрюм-реки» обрадовало и окрылило его. Это была большая моральная и материальная поддержка. Он с новой энергией принялся за работу.

В ранних рассказах Вячеслава Шишкова вместе с добром, которое делают люди, обязательно присутствует зло. Часто на всякие злые дела толкает человека черт, который всегда появляется, когда надо сотворить что-нибудь неприятное. Для современного читателя черти — это анахронизм, но мне думается, что показ золотых приисков, где развертывались события романа «Угрюм-река», показ психологии людей, их быта без добрых и злых духов, без бога и черта был бы неполным.

Черт почти всегда преследовал темного, религиозного человека. Он появлялся где-нибудь в мрачных местах — в болотах, в овинах, в непроходимых лесах — и вершил свои злые делишки. Об этом в письме к М. Горькому говорит и сам автор. «В романе есть мистика, есть всякая чертовщина — без нее трудно обойтись».

Однако для меня было бесспорным и другое. Автор чересчур много внимания уделял этой стороне. Поэтому я с молодым задором старался не соглашаться с этим и добивался от Вячеслава Шишкова определенных уступок и сокращений некоторых глав рукописи «Угрюм-река».

Теперь, когда напечатаны письма Вячеслава Яковлевича к друзьям, многое становится известно о тех чувствах и переживаниях, о сомнениях и колебаниях, которые возникали у автора во время нашей совместной работы над романом. Привожу отрывок из письма к Л. Когану от 26 июля 1933 года. «Дорогой Лев Рудольфович! Ваше письмо начинается: «До того обленился»,— я же начну: «До того заработался, до того расхворался, что сразу не мог ответить Вам». Наступила мне на горло корректура второго тома и высосала всю кровь из жил. В гранках сгоряча повыбрасывали с товарищем Еселевым разные места и местечки в романе — и сразу в верстку. А в верстке стал вчитываться — мать честная! — всюду нелепости, хвостики, пробелы, излишки. И на шпаклевку прорывов потратил множество времени. Оказывается, не так-то легко делать выбросы — это тебе не аборт! — надо с умом и глубокой оглядкой. Глава пустынников — осталось только начало. «Давайте, В. Я., ограничимся показом быта пустынников и тем, что Прохор у них»,— убеждал меня милый мой Еселев, и я, дурак, согласился. А на кой черт мне быт, мне нужна психология. Ведь в этой главе — начало будущей болезни героя, он в пер-

вый раз сам себе признается: «Мысль моя затмевается». Он весь тут во власти «сумбуров». А раз все это насмарку, нет достаточной подготовки к сумбурной речи героя на пиршестве. Кой-что все-таки исправить в этой ошибке удалось, но в общем и целом, целиком и полностью — ни пропорционально, ни согласуемо, а так как-то... Шапошников у Прохора (сцена экспроприации) и смех-хохот Прохора выброшены. А для чего ж я тогда воскресил Шапошникова? Немножко обидно, ведь нелегкая штука воскресить человека, ведь я не граф Калиостро-Феникс и наш век не век Екатерины Второй. А кто его знает, может, Еселев прав, может, все ко благу, все к лучшему. Во всяком случае, он действовал в согласии с собственной совестью и из единого желания — принести мне добро. («Критика, критика, критика!») Но, милый мой Еселев, мне все-таки думается, что большие вещи родятся не часто, что они создаются не столько для критики, сколько для читателей наших и будущих, но так ли, сяк ли, а в августе обе книжицы выйдут, в 487 стр. и в 559...»

Это письмо, хотя в нем присутствуют и самокритика, и критика по адресу редактора, написано, как мы видим, в раздумьях и в колебаниях: «Надо или не надо?» У Вячеслава Яковлевича появились некоторые сомнения в содеянном. Они естественны. Каждому автору трудно подчас бывает расстаться с написанным, потому что писалась каждая строчка не случайно, а рождалась в процессе творчества и казалась необходимой. Однако Вячеслав Шишков ни в одном из последующих изданий не восстановил опущенный и в рукописи и в гранках большой раздел главы о пустынниках, за исключением небольшого количества строк.

Надо полагать, что автор впоследствии убедился в правильности произведенных им сокращений.

* * *

В процессе работы над рукописью мне часто приходилось общаться с Вячеславом Яковлевичем, бывать в его скромной двухкомнатной квартире в Детском Селе. Я чувствовал, как все глубже раскрывается светлая натура Вячеслава Яковлевича. Был он очень прост и человечен. Его заботливая и приветливая улыбка всегда вы-

ражала доброжелательность и уважение к собеседнику. Что я, молодой парень, мог представлять для Вячеслава Яковлевича, прожившего большую жизнь, прошедшего всю Сибирь, всю Россию, глубоко познавшего деревенских и городских людей, повидавшего вдосталь и плохого и хорошего?

Но я ни разу не уловил в поведении Вячеслава Яковлевича хотя бы маленькую нотку превосходства. Говорил он со мной просто, непринужденно, как с издавна знакомым и близким человеком. О чем бы я только не спросил Вячеслава Яковлевича: то ли о его литературных убеждениях, то ли о его отношении к тому или иному писателю, он всегда охотно делился своими мыслями.

Среди своих современников Вячеслав Яковлевич в особенности выделял Алексея Толстого, высоко отзывался о его таланте. Роман «Петр Первый» считал лучшим историческим произведением советской литературы.

В докладе на праздновании шестидесятилетия А. Толстого Вячеслав Шишков говорил: «Толстой много на своем веку перевидал — и в этом его писательское преимущество. Он, как вкусивший от библейского «древа познания добра и зла», испытал... разную цивилизацию, но нигде ничего не нашел выше русской страны, полноценнее нашей национальной культуры и русской широкой, способной на подвиг души человека».

Вячеслав Яковлевич восхищался языком «Петра Первого», считал его своеобразным, неподражаемым. Об этом он сказал в том же юбилейном докладе.

С большим восторгом Вячеслав Яковлевич встретил появившиеся тогда в печати первые части «Тихого Дона». Он гордился талантом Михаила Шолохова и считал его самым выдающимся представителем молодого поколения советских писателей.

Позднее, в мае 1940 года, Шишков писал Л. Когану:

«С радостью читаю 7-ю и 8-ю части (конец) «Тихого Дона». М. Шолохов бесспорный и самый большой писатель. Он знает самые затаенные движения человеческих душ и с большим мастерством, по-серьезному умеет показывать это. Даже самые случайные его герои, жизнь которых началась и закончилась на одной и той же странице, надолго остаются в вашей памяти... по моему мнению, «Тихий Дон» занимает в советской литературе первое место».

Любил Вячеслав Яковлевич рассказывать о Михаиле Пришвине. Его литературную деятельность Шишков связывал с поездками Михаила Михайловича по стране. «Вот я здесь отсиживаюсь в Детском Селе,— говорил Вячеслав Яковлевич,— а Пришвин на своем грузовичке с сыновьями путешествует по «краю непуганых птиц», изучает природу, людей, выполняет большое и важное дело. Он хорошо приспособил грузовичок для поездок, сделал его маленьким домиком, где можно и поработать и отдохнуть».

Вячеслав Яковлевич с большим пониманием относился к работе Пришвина. Их связывала общность интересов. Я раза два встречал в его квартире сыновей Пришвина, которые рассказывали Вячеславу Яковлевичу об отце, о местах, которые они посещали вместе с ним.

Делился Вячеслав Яковлевич и своими дальнейшими творческими планами. «Вот напечатают «Угрюм-реку», отдохну немного и начну, пожалуй, писать роман об аракчеевщине. Любопытное было времечко в истории нашей родины».

Мысль о создании романа об аракчеевщине занимала писателя не первый год. Об этом он сообщал в письме П. С. Богословскому в мае 1929 года. Но романа такого он не написал.

Почему писатель охладел к этой теме, почему не стал работать над романом, хотя к этому готовился, подбирал материал?

Нам думается, что дело тут не в разочаровании в теме, а скорее всего в некоторой удаленности авторских симпатий от тех событий, от той обстановки, которая была характерна для первой трети XIX века. Все герои ранних рассказов, повестей, романа «Угрюм-река» и по духу, и по бытовому укладу ближе к пугачевщине, чем к аракчеевщине. Даже трудно представить что-то другое из прошлого, кроме пугачевского движения, о чем бы мог более искренне написать Вячеслав Шишков. Видимо, это хорошо чувствовал и понимал Алексей Толстой, который усиленно советовал ему писать о Пугачеве.

Только такому знатоку жизни народной, каким был Вячеслав Яковлевич, оказалась по плечу пугачевская эпопея. Поэтому выбор именно этой темы был закономерным для Вячеслава Шишкова.

А как же роман об Урале — от мамонтов до наших

дней, или, как его называл автор, «Книга Бытия»? Думается, что эта тема была не по силам писателю. Для ее осуществления потребовалось бы новое освоение материала, глубокое изучение не столько истории Урала, сколько современных людей, их быта и всей обстановки, которая резко изменилась за годы советской власти и потребовала бы постоянного общения с уральской действительностью. Не следует забывать, что к этому времени Вячеславу Шишкову исполнилось 60 лет. И погружаться в новое, неизведанное было бы делом весьма трудным.

Появление в свет романа «Угрюм-река» явилось большим событием в литературной жизни Ленинграда, да и не только Ленинграда. Роман быстро разошелся и был тепло встречен читателями. Разумеется, это было большой вехой и в творческой жизни самого Шишкова. После сравнительно небольших повестей и рассказов, талантливо отражающих сибирские годы жизни писателя, шутейных рассказов о деревне, повестей «Пейпус-озеро» и «Странники», роман «Угрюм-река» был самым крупным, самым замечательным произведением писателя.

По случаю выхода в свет романа у Вячеслава Яковлевича собрались его близкие друзья. Мне было приятно присутствовать на этом вечере. Здесь, помимо жены Шишкова — Клавдии Михайловны, ее отца, матери и братьев, были Алексей Толстой со своей семьей, Соколов-Микитов с женой, Петров-Водкин с женой. В этот день я последний раз видел Вячеслава Яковлевича.

Вскоре, в этом же 1933 году, когда вышел роман, я был командирован на работу на Дальний Восток. Проезжая несколько раз Сибирь, работая в Верхней Полтавке Амурской области, в Благовещенске и Хабаровске, путешествуя по Дальнему Востоку, я не раз вспоминал Вячеслава Яковлевича. Образ писателя часто возникал в моем воображении при встречах с сибиряками, которые напоминали своей внешностью то героев «Угрюм-реки», то героев сибирских повестей и рассказов. Можно сказать без преувеличения, что я встречал людей, похожих и по характеру и по внешности на Леонтия Бакланова и других героев произведений Вячеслава Шишкова.

1973

Ф. И. Крылов

ПОЧЕТНЫЙ ВОДОЛАЗ

С Вячеславом Яковлевичем я познакомился в 1932 году при следующих обстоятельствах. По характеру своей работы я был вызван к Сергею Мироновичу Кирову. Его заинтересовала работа по подъему ледокола «Садко». В беседе он задал мне один вопрос: почему жизнь водолазов так плохо отражена у нас в литературе?

Ответить на этот вопрос было чрезвычайно затруднительно, и поэтому я немножко растерялся. Я говорю:

— Знаете, Сергей Миронович, наша подводная работа тяжелая, и изобразить ее настоящему художнику очень трудно, потому что описать все операции водолаза невозможно не будучи самому водолазом.

Тогда он говорит:

— Получается, что каждый писатель должен иметь какую-то специальность и только о ней писать. За то, что вы плохо освещаете работу подводников, на первый раз я вам делаю замечание.

Спросил меня, сколько лет я сам работаю под водой. Я ему сказал, что десятка полтора. Он удивился, что ничего об этом нигде нет, и сказал:

— Тогда я к вам на «Садко» пошлю от Союза писателей Ленинграда бригаду.

Через несколько дней мне передали, что к нам на «Садко» выезжает бригада в составе: председателя В. Я. Шишкова, А. Н. Толстого, Н. Н. Никитина, И. С. Соколова-Микитова и других.

И с этого момента началось мое знакомство с Вячеславом Яковлевичем, сперва неудачное. Я немного задержался, приехал через три дня, приехал к тому моменту, когда работы на «Садко» закончились, он должен был всплывать на берег. В полном составе выстроилась писа-

тельская бригада смотреть, как будет всплывать «Садко». И все предпосылки были к тому, что корабль будет всплывать, вехи уже колебались. Вячеслав Яковлевич шутил по обыкновению, я стоял с ним рядом; вехи поднялись еще выше, в особенности те, которые были прикреплены к понтонам; мгновение — и вместо «Садко» всплыли четыре пары 250-тонных понтонов — тросы не выдержали, лопнули, и «Садко», пошевельнувшись, лег обратно, но уже не на прежнее, а на новое место.

Вы представляете себе положение руководителя при такой неудаче.

В это время ко мне обращается Вячеслав Яковлевич:

— Что вы волнуетесь? Вы же богатыри, вы же это дело непременно закончите, ведь еще восемь понтонов осталось.

После шуток мы разошлись по местам. Бригада писателей выехала на берег, мы, водолазы, остались. Там был один водолаз-офицер, горячий восточный человек. Он говорит:

— Если мы богатыри, по словам писателя Шишкова, конечно, никакого уныния не может быть, надо поднимать.

Приняли мы это решение, подбодренные Вячеславом Яковлевичем, а бригаду пришлось отпустить. На вокзале подходит ко мне Вячеслав Яковлевич, отзывает в сторону и, улыбаясь, говорит:

— Вы знаете, что Мариинский театр возобновляет постановку «Садко»? Вы попробуйте посоревноваться — те возобновляют, а вы поднимаете, но так, чтобы не опоздать.

В шутке был свой ободряющий резон.

Бригада не успела прибыть в Ленинград, а «Садко» уже всплыл, и мы его доставили до Ленинграда.

После этого водолазы близко сошлись с Вячеславом Яковлевичем. На первом съезде водолазов он был избран почетным водолазом.

В любую минуту я мог прийти к нему как к отцу и получить должный ответ; прийти как к брату, как к другу и любимому товарищу... В зависимости от обстановки, вы всегда уйдете от Вячеслава Яковлевича удовлетворенным. Не только у меня сложилось такое мнение, но так же думали и все водолазы. Они героически работали не только на «Садко», но и в других местах. Вячеслав

Яковлевич был у нас и на «Садко», и на Балтике, был в Одессе, в Севастополе, в Балаклаве, был в Сочи, словом, там, где бывают водолазы, соприкасался со всем нашим составом, и потому нет такого уголка нашего морского дна или нашей реки, где бы не знали Вячеслава Яковлевича и где бы водолазы его не любили. Его любят за его чудесные произведения, за его доброту и душевную открытость.

Пройдут годы, но наш почетный водолаз будет всегда у нас на устах, всегда мы будем вспоминать и чтить Вячеслава Яковлевича как товарища и друга, который отдал много времени нашему делу.

Я помню наше расставание, когда мы уезжали на фронт. Он рвался вместе с нами, говорил:

— Когда ты меня возьмешь на передовую? Хочу видеть, как водолазы там работают.

Я ему отвечал:

— Пиши, заканчивай вторую часть «Пугачева», о водолазах потом будешь писать.

Я вспоминал Вячеслава Яковлевича, когда мы проходили Одер, переехали Шпрее, побывали в Берлине. Я вспоминал о нашей тяжелой утрате, скорбел о том, что нет среди нас нашего почетного водолаза Вячеслава Яковлевича Шишкова.

1946

Е. Заслонова

ВОСПОМИНАНИЯ О В. Я. ШИШКОВЕ

В 1936 году я была студенткой Ленинградского политпросветительного института имени Крупской.

Это было золотое, неповторимое время. Жили мы тогда, как и все студенты: лекции слушали, готовились к семинарам, читали книги, газеты, журналы, ходили в театр, спорили на собраниях, веселились на вечерах, а перед зачетами сидели день и ночь напролет и «штурмом» сдавали экзамены.

У нас часто бывали литературные вечера. Студенты их очень любили.

На один из таких вечеров в институт приехал Вячеслав Яковлевич Шишков.

Студенты, заранее узнав, кто будет на вечере, задолго до начала заполнили клуб.

Меня, Диму Бычкова и Васю Коблова как членов литгруппы выделили встречать Вячеслава Яковлевича. В вестибюле института Вячеслава Яковлевича встретил наш профессор литературы и друг Вячеслава Яковлевича Лев Рудольфович Коган.

Мы издали наблюдали, как приятели по русскому обычаю троекратно расцеловались. Когда мы, смущаясь, подошли к ним, Лев Рудольфович полушутя представил нас Вячеславу Яковлевичу.

Вячеслав Яковлевич, улыбаясь и тоже шутя и рассматривая нас, поздоровался с каждым.

Это был замечательный вечер. Вячеслав Яковлевич читал нам свои шутейные рассказы и отрывки из «Угрюм-реки». Перед каждым рассказом он говорил несколько слов о том, как и по какому поводу был написан рассказ, где он подметил ту или другую смешную историю, и мы, слушая, удивлялись, как он умел находить

смешное там, где мы, ежедневно встречаясь с этим, не могли ничего подобного заметить.

Оратор Вячеслав Яковлевич был не блестящий, но зато как замечательно он умел вести беседу. Так вот и на вечере, он, сидя за столом на сцене, седеющий, но бодрый и красивый, лукаво посматривая на притихших студентов, неторопливо и тихо рассказывал и читал.

С этих пор Вячеслав Яковлевич стал у нас частым и любимым гостем.

Узнав, что у нас есть литературная группа, Вячеслав Яковлевич охотно взял шефство над ней.

Я помню, с какой гордостью мы говорили всем, что литературным консультантом у нас сам Вячеслав Шишков, и с каким волнением мы ждали первого занятия литературной группы.

Каждому хотелось показать, что у кого написано, спросить совета, и каждый из нас чувствовал какую-то робость и страх. Ну как Вячеслав Яковлевич скажет, что это никуда не годится?

И вот настал этот день.

Меня, как «старую знакомую», опять послали, вместе с Димой Бычковым встречать Вячеслава Яковлевича.

Перед началом занятия литгруппы Вячеслав Яковлевич, дав мне денег, попросил купить ему папиросы.

Мне было очень приятно оказать хоть какую-нибудь услугу Вячеславу Яковлевичу. Когда я принесла папиросы, он, ласково похлопав меня по плечу, сказал: «Ишь быстрая какая, ну спасибо, дочка!» Так он потом и называл меня дочкой.

Вопреки нашим ожиданиям, ничего страшного на этом первом занятии литгруппы не произошло.

Это было исключительно интересное занятие. Вячеслав Яковлевич учил нас умению наблюдать. Он рассказал нам о своей жизни в Сибири, о сибиряках, о тайге, и рассказывал так, что нам тогда всем показалось, что нет края лучше Сибири.

На следующем занятии Вячеслав Яковлевич захотел познакомиться с нашим творчеством.

Читали рассказ Димы Бычкова «Скрипка». Вячеслав Яковлевич очень внимательно слушал, и, когда ему какое-нибудь место нравилось, он еще больше щурил глаза и улыбался.

У Вячеслава Яковлевича было удивительно приятное

лицо. Красивый открытый лоб обрамляли густые с проседью светлые волосы. Прямой и тонкий нос. Особенно запомнились мне его глаза. Был ли он весел, сосредоточен, серьезен; внимательно ли слушал говорящего, или сам говорил, глаза его, светло-серые, а иногда голубые, лукаво поблескивая из-под слегка опущенных век, смеялись.

Каждого занятия литкружка мы ждали как праздника.

На одном из них дошла очередь и до меня. Я читала свою обработку сказки, записанной когда-то в Закавказье.

Вячеслав Яковлевич внимательно слушал, а затем сказал, что из этой сказки можно кое-что сделать, и просил непременно переписать ее и прислать ему.

Требовательный и строгий Вячеслав Яковлевич всегда необычайно внимательно и чутко относился к нам. Разбирая наши опыты, он не прощал нам ни одной неудачной фразы и даже слова. После такого разбора мы начинали понимать также и то, что самое страшное в каждом произведении — это надуманность, вычурность, фальшь. Но Вячеслав Яковлевич так умел показать нам слабые стороны наших «творений», что это не только не обижало, но, напротив, казалось, что стоит только как следует поработать, и непременно что-то получится. Хотелось писать и писать, и как можно больше. И мы писали. К каждому занятию литкружка мы имели новый очерк, стихотворение или рассказ.

Каждую весну Лев Рудольфович Коган устраивал в середине мая итоговый вечер литгруппы, на котором главными героями были мы.

Лев Рудольфович умел всегда эти встречи проводить с затеями.

Первое слово держал староста группы, а затем члены литгруппы читали свои произведения.

Перерывов на таких вечерах не бывало, но, когда становилось заметно, что публика устала, в зал летел огромный разноцветный мяч. И что тут начиналось! Трудно себе представить. Мяч из одного конца зала летел в другой, с этого в противоположный, отсюда на сцену. Шум, крики, движение, смех. Но через пять — десять минут шар снова попадал на сцену, и его уносили.

В зале оживление, на лицах радость, улыбки, смех.

Но через мгновение снова все стихало, и кто-нибудь из литкружковцев продолжал читать.

В заключение вечера обычно выступал профессор литературы Коган. Прекрасный знаток своего дела, много видевший в жизни, лучший общественник института, блестящий оратор, Лев Рудольфович очень любил молодежь, и она отвечала ему тем же.

На одном из таких итоговых литературных вечеров присутствовал Вячеслав Яковлевич Шишков. Помню, все мы, члены литературной группы, сидели за столом на сцене, а среди нас Шишков.

На этом вечере наши ребята снова читали свои произведения. Особенно тепло были встречены стихи Васи Коблова.

Лев Рудольфович каждому из нас поднес на память хорошие книги. На этом же вечере выступал Вячеслав Яковлевич. Он говорил не много, но очень хорошо.

Помню, как он, ласково глядя в нашу сторону, назвал нас «молодой порослью» в литературе, и это очень смутило и обрадовало нас.

Случилось так, что летом 1938 года мне посчастливилось особенно часто видеть Вячеслава Яковлевича.

Это было в Детском Селе. Последний год в институте мы все много занимались. Предстояли государственные экзамены. Но наконец все экзамены сданы. Институт окончен. Мне предстояло ехать далеко.

Я родилась в средней полосе, в Калининской области, с детства привыкла к белым березкам, болотам, лугам, но случилось так, что я приехала в Ленинград.

Гордый, красивый и строгий Ленинград, ФЗУ, рабфак, институт,— все это захватило меня. Хотелось как можно больше увидеть, узнать, испытать, что-то неудержимо манило, влекло вперед.

Я решила ехать на работу как можно дальше и выбрала Сахалин. На выпускном вечере мы все веселились, все были возбуждены и взволнованы. Каждому предстояло свое, неизвестное, манящее и уже недалекое будущее.

Что-то ждет впереди? А пока что мы все вместе, в стенах института, где прошла золотая юность, где все так сдружились, и мы веселились всю ночь. А ночи ленинградские в июне светлые. Не успеет одна заря уйти, как ее сменяет другая. Перед самым рассветом мы груп-

пами вышли на улицу, на Неву. А Нева такая прекрасная была в эту ночь! Здесь же рядом Марсово поле, с другой стороны Летний сад, а из открытых окон института лилась музыка. И до чего же ясно, на всю жизнь запомнилась мне эта ночь.

На этом же вечере Лев Рудольфович Коган пригласил меня в гости. Жил он с семьей тогда в Детском Селе. Он решил привести меня в «божеский вид», то есть поправить, потому что была я в то время истощена, а предстоял мне далекий и трудный путь. Очень памятен первый день моей жизни в Детском Селе.

У Льва Рудольфовича в этот день собирались гости. Я знала, что будет и Вячеслав Яковлевич с женой. Мне очень хотелось увидеть их, но я знала, что ждут и других именитых гостей, и решила, что ни за что не выйду из своей комнаты. Но не тут-то было. Грозный голос Льва Рудольфовича уже звал меня в столовую. Я притаилась у двери своей комнаты, сердце от волнения готово было выскочить из груди. «Не пойду, не пойду»,— твердила я себе. Но Лев Рудольфович уже спрашивал снова: «А где же наша принцесса сахалинская?» И я вышла к гостям.

Все уже сидели за столом. Я так растерялась, что, ничего не видя, подошла к столу и начала со всеми гостями здороваться за руку; при этом я так волновалась, что к одному из гостей, помню, это был наш институтский преподаватель литературы, доцент Николай Николаевич Кононов, я подошла здороваться второй раз.

«Помилуйте, да мы с вами уже второй раз никак здороваемся»,— сказал он, смеясь и протягивая мне руку.

Я еще больше смутилась, покраснела и готова была провалиться сквозь землю, но как-то невольно взглянула на Вячеслава Яковлевича; он о чем-то тихо разговаривал со Львом Рудольфовичем, а глаза его ласково и весело смотрели на меня.

«Ну, ну, дочка, хорошо, что к нам в Детское»,— сказал он, обращаясь ко мне. Вот он, писатель, сразу все понял, подумала я. И вдруг мне как-то сразу стало легко и просто, и я уже спокойно подошла к своему месту и села за стол.

Мужчины за обедом пили «шишковку». Мне очень

хотелось тогда знать, что же это за водка такая, которую любит Вячеслав Яковлевич и которая в доме Коганов названа в его честь. За обедом и после обеда шел оживленный интересный разговор. Говорили о музыке, литературе, театре, об общих знакомых. Мне очень хотелось поговорить с Вячеславом Яковлевичем, но я так и не решилась. Этот счастливый случай мне представился в следующий раз.

Однажды в воскресенье Вячеслав Яковлевич с женой пришел снова к Коганам в гости. Был прекрасный солнечный день. Вячеслав Яковлевич был в новом сером костюме, весело шутил, смеялся и был как-то особенно моложав.

Клавдия Михайловна была в светлом розовом платье, румяная и красивая и тоже как-то особенно оживленная.

Вячеслав Яковлевич как увидел меня, так и начал сразу: «Ну, ну, дочка, Сахалин, Восток, все это очень хорошо, только вот когда же я тебя замуж выдам? — И тут же начал серьезно: — Что Сахалин выбрала — это очень хорошо. Только присматривайся побольше да на заметку бери, что особенно интересно будет».

Раиса Львовна Коган пришла с сообщением, что мороженое подано и нас просят к столу.

В жаркий июльский день все с удовольствием ели прекрасное домашнее малиновое мороженое. Разговор о малине, о ягодах снова навел Вячеслава Яковлевича на мысли о Сибири, и он рассказал, что в Сибири он едал ягоды, которые называются облепихой. Он очень хвалил эти ягоды и просил меня, если встретится мне облепиха на Дальнем Востоке, то не забыть и прислать ему.

Но так и не пришлось мне выполнить эту просьбу Вячеслава Яковлевича; оказалось, что на Сахалине облепиха не растет. Однажды Вячеслав Яковлевич пригласил нас к себе. Жил он здесь же, в Детском Селе, недалеко от нас.

Был уже вечер, когда мы вышли из дома. Я шла рядом с Раисой Коган. Лев Рудольфович, как всегда, всю дорогу шутил, но я чувствовала себя далеко не хорошо. Какое-то чувство неловкости, робости опять овладело мной. Мне казалось, что я непременно что-нибудь не так скажу или сделаю, про себя я это называла неумением держать себя в обществе.

Такие мысли терзали меня, когда мы подошли к дому, где жили Шишковы. Вячеслав Яковлевич и Клавдия Михайловна встретили нас в передней. Вечер был теплый и душный, и нас провели на открытый балкон, усадили за стол и вскоре подали чай.

Вячеслав Яковлевич и Клавдия Михайловна были так рады нам и приветливы, что мои опасения как рукой сняло. И в этот вечер я как-то особенно почувствовала, что значит благородная человечность и простота. Вячеслав Яковлевич рассказывал о своих творческих планах, о предстоящей поездке. Всеми помыслами его владел Пугачев. Перед самым уходом нашим Вячеслав Яковлевич и Лев Рудольфович удалились в соседнюю комнату, а вскоре и меня туда пригласили, и здесь Лев Рудольфович вручил мне фото, на котором он с Вячеславом Яковлевичем были сняты вдвоем.

Под фото Вячеслав Яковлевич и Лев Рудольфович подписали:

«На добрую память Екатерине Николаевне Заслоновой».

Передавая фото, Лев Рудольфович мне сказал: «Береги его. Таких фото всего три. У нас с Вячеславом Яковлевичем, да вот третье у тебя будет».

Прощаясь в этот вечер с Вячеславом Яковлевичем, я не знала, что вижу его в последний раз.

Вскоре Вячеслав Яковлевич уехал на Кавказ, а в начале августа и я уехала на Сахалин.

Много раз в письмах Льва Рудольфовича я получала привет от Вячеслава Яковлевича. Из этих же писем я знала, что Вячеслав Яковлевич много работает, по-прежнему весел и бодр.

Когда началась война, я попала в Сибирь, и снова много и много раз приходилось мне вспоминать Шишкова. Я внимательно следила за газетами и журналами. Видела, что Вячеслав Яковлевич по-прежнему бодр и много работает.

Приехав в Москву, я разыскала телефон Шишкова и сразу же позвонила ему. Я думала, что Вячеслав Яковлевич давно уже забыл меня, ведь с последней нашей встречи прошло около семи лет, что придется объяснять ему, кто я такая, и я решила начать с прозвища, которое дал мне Лев Рудольфович во время моего пребывания в Детском. Я и начала с этого: «Если вы хоть немного по-

мните еще такую, то с вами говорит «Принцесса сахалинская». И каково же было мое удивление, когда я услыхала в трубку: «Как же! Помню, помню, Екатерина Николаевна! Какими судьбами? Заходи к нам непременно. Мы будем с Клавдией Михайловной очень рады. Кстати, и новости о Сибири расскажешь. А я вот все понемногу болею».

Но так и не суждено мне было больше увидеть Вячеслава Яковлевича.

Я не знала тогда, что слышу этот дорогой голос в последний раз.

1956—1958

А. Г. Кирсанов

В. Я. ШИШКОВ — БЕЖЕЧАНИН

Первые книги романа Вячеслава Яковлевича «Пугачев» я прочитал давно, вероятно, еще в 1938 году, как только это произведение вышло в свет в каком-то ежемесячном журнале.

Те, первые книги взволновали меня столь сильно, что я решил написать Вячеславу Яковлевичу письмо, где сообщал ему о глубоком впечатлении, которое произвело его произведение на меня и на других земляков, прочитавших его.

С Вячеславом Яковлевичем я был знаком с детства. Вячеслав Яковлевич был товарищем моего покойного брата, учился с ним в школе (по-старому — городское трехклассное училище, теперь — начальная школа № 4), часто заходил к нам, когда уже учился в Вышневолоцком кондукторском училище. Я изредка переписывался с Вячеславом Яковлевичем, когда он жил еще в Сибири. Письмо, о котором сказано было выше, я послал после долгого перерыва в нашей переписке. Вот что ответил мне Вячеслав Яковлевич по поводу «Пугачева»: «За отзыв о «Пугачеве» благодарю. В повествовании много опечаток («митрополит Дмитрий Сечнев» вместо «Сеченов», «народная эра» — вместо «народное эхо»), а есть и мои кое-какие ошибочки, которые в книге будут устранены».

Помню, как показалась всем почитателям таланта В. Я. Шишкова обидной несправедливая критика романа «Пугачев», напечатанная в одной из центральных газет.

Но вот я прочитал последние две книги «Пугачева». Произведение захватило меня целиком. Я не мог оторваться от книги. События описаны с необычайной яркостью. Образ Пугачева, «мужицкого царя», его личные

переживания освещены Вячеславом Яковлевичем красочно и совершенно по-иному, чем это было до сих пор в русской литературе. Жаль, что смерть помешала Вячеславу Яковлевичу закончить этот роман.

Вячеслав Яковлевич постоянно чувствовал себя бежечанином. Все бежецкое интересовало писателя. Вячеслав Яковлевич спрашивал в письме ко мне: «Интересно знать, где Бежецкий архив? Если есть данные, хорошо бы написать историю Бежецка с незапамятных времен, с Бежецкого Верха, принадлежавшего Новгороду. Вероятно, у Вас способные и просвещенные люди нашлись бы для этого. А я мог бы проредактировать».

Вячеслав Яковлевич просил меня выслать ему материалы по истории Бежецка. «Если в Вашем распоряжении будет интересный исторический материал, сообщите». На эту просьбу Вячеславу Яковлевичу я ответил посылкой ему имеющихся у меня брошюрок Михайлова, Постникова, моих статей, сборника «Бежецкий край» и сообщил ему об упоминании о Бежецке (Городецко) в записках опричника царя Ивана IV Генриха Штадена. В этих записках описан эпизод ссылки в Городецко Иваном IV слона, подаренного московскому царю каким-то восточным, индусским царьком, и любовная интрига видного опричника с женою индуса-проводника.

Вячеслав Яковлевич пишет мне: «Спасибо за интересное Ваше письмо. Г. Штадена я когда-то читал. Я не знал, что Городецко это и есть старый Бежецк. Факт занятный. Вот закончу в будущем году «Пугачева» и, может быть, примусь за эту историческую миниатюрку». Дальше Вячеслав Яковлевич писал мне, что собирается написать повесть по брошюре Постникова «Ночное приключение» из жизни Бежецка XIX века.

Все это и многое другое из его писем заставляет думать, что Вячеслав Яковлевич живо интересовался жизнью родного города и его историей. Я не читал всех произведений Вячеслава Яковлевича, но из прочитанных мною книг едва ли можно указать такие, где сюжет был бы взят из местной бежецкой жизни; очевидно, это было делом будущих работ писателя, которым, к сожалению, не суждено было осуществиться. Но в то же время, перечитывая произведения Вячеслава Яковлевича, я заметил в них очень много местного, родного, бежецкого.

В «Пугачеве» Вячеслав Яковлевич часто пользуется

в описаниях образами, впечатлениями и фактами, сохранившимися в его памяти от далекой юности, из жизни в Бежецке. Например, целый ряд фамилий купцов города Ржева и Москвы взят из популярных фамилий Бежецка: Титов Нил — крупный торговец мануфактуры, с которым был близко знаком отец Вячеслава Яковлевича — Яков Дмитриевич. Арбузов и Постников — богатые бакалейщики. Гневышивы — это несколько известных семей купцов в Бежецке. Князья Хилковы — богатые помещики в Синеве-Дуброве, в леса которых не раз ездил на охоту отец Вячеслава Яковлевича, страстный охотник и любитель охотничьих собак.

В романе встречаются такие названия мест: Бежецк, Княжево — ближайшие к городу Бежецку села; Всполье — в старое время, да и теперь так называется улица, выходящая в поле; Красные ряды — так назывался в Бежецке ряд каменных лавок, расположенных вдоль Красноармейской улицы. Эти торговые ряды назывались Красными, потому что в них торговали красным, то есть мануфактурным, товаром. В этом ряду торговал Нил Титов, в этом же ряду работал отец Вячеслава Яковлевича. Кличка «прохиндей», которой окрестил Вячеслав Яковлевич плута — ржевского купца в романе «Пугачев», и слово «пентюх» — неповоротливый, ленивый человек, встречающиеся в романе, в старое время бытовали в простонародной разговорной бежецкой речи.

Вячеслав Яковлевич описывает в романе «Пугачев» игру подростков с запуском змея. Все описание устройства змея взято Вячеславом Яковлевичем из детских воспоминаний. На большой площади, против бывшей Воздвиженской церкви и на Всполье, был большой простор для запуска змея. Мы, мальчишки в возрасте от шести до шестнадцати лет, соревновались в этой игре. Мы завидовали счастливцам, у которых змей не дает «курны» и летает высоко, покойно; завидовали тем, кто умел к верхней части змея приделать особый листок бумаги, «трещотку», что при полете змея в высоту давало особый треск. Мы, ребята, понимали, что удачный полет змея зависит от устройства «репицы» и «подхвостницы». Вся эта детская игровая терминология встречается в романе Вячеслава Яковлевича. Несомненно, введя в роман эпизод с запуском ребятами змея, Вячеслав Яковлевич вспомнил свое детство в Бежецке, свои игры.

Вячеслав Яковлевич любил свой родной город, и воспоминания детских лет оставили в его душе глубокий след. «Рад был получить Ваше письмо,— пишет мне в одном письме Вячеслав Яковлевич,— им воскресили Вы в моей памяти и детство и отца моего...»

В романе «Угрюм-река» Вячеслав Яковлевич тоже использует свои воспоминания детства и отрочества в родном городе.

Например, трактир в таежном городе, в котором купец Громов гулял, когда приехал искать своего сына, назван писателем «Тычок». Такой трактир был в городе Бежецке, расположен он был против Красных рядов, и торговцы из краснорядцев очень охотно посещали этот плохонький кабачок. Затем один из жителей села, где жили Громовы, имел такую бессмысленную поговорку «елёха воха». У нас в Бежецке, лет пятьдесят тому назад, по улицам города бродил какой-то странник, которого считали дурачком. Это был, очевидно, недалекого ума человек, простодушный, всегда веселый, звали его Алексей. Сам он был неграмотный, но страшно любил старые календари. Он приходил в дом, просил «календарика» и неизменно в каждой фразе говорил слова «елёха воха». Мы, мальчишки, и, несомненно, Вячеслав Яковлевич в том числе, так как этот странник заходил и в дом Шишковых,— так и звали этого человека: «Елёха воха». Но для нас, мальчишек, эти слова имели смысл, мы понимали их так: «Вот Алексей», очевидно, это же самое имел в виду и сам Алексей.

Наконец, в том же романе «Угрюм-река» в первой главе можно встретить описание драки между «кутейниками» и «мещанами». «Кутейниками» называли учеников духовного училища, а «мещанами» — учеников городского училища. Такие бои устраивались в городе Бежецке в старое время почти каждое зимнее воскресенье. Клич «кутью бьют» был позывным кличем для всех озорных мальчишек Бежецка, так же как в романе.

Все эти примеры, взятые из жизни и творчества Вячеслава Яковлевича, делают для нас, бежечан, произведения его особенно интересными. В них мы можем встретить бытовые черты нашего Бежецка.

1954

Г. Мирошниченко

ТАЛАНТ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ НАРОДУ

I

С Вячеславом Яковлевичем Шишковым я познакомился в далекой казачьей станице Казачьи Низки. Станица эта похожа на большой город, раскинувшийся по крутым берегам быстрой Кубани.

Было лето. Девушки и парни вечерами пели на Низках песни, водили хоровод, плясали. Звонко и перебористо заливалась гармошка.

Над горой Недраманной по синему небу плыл месяц. Веселье в эту ночь было необыкновенное. Веселились молодые казаки и казачки, наряженные по-праздничному. И мы, парни из депо, пришли сюда из железнодорожного поселка на воскресные гулянки. Гулянки кончились поздно. Один из нас, Васька Цыбулин, вдруг сказал:

— Братцы, да ведь я совсем позабыл сказать вам важную новость: завтра в шесть утра в особом вагоне будет проезжать Алексей Максимович Горький...

— Да ну? Врешь! — сказал чубатый казачок в легких кавказских сапогах.— Не может быть... Горький живет в Италии.

— Истинный бог! — забожился Цыбулин.— Вечером я был на телеграфе у Малявина,— он принимал сообщение. Горький возвращается из Кисловодска.

Мы поверили и стали думать, как же нам встретиться с Горьким? Какой подарок преподнести ему?

Дочка слесаря, Луша Литвиненкова, всерьез сказала:

— Да, пожалуй, буханку кубанского хлеба.

— Очумела! — сказал Васька.— Ты думаешь, Горький голоден?

Мы решили встретить Алексея Максимовича просто

и подарить ему несколько вкусных, сочных беломечетенских арбузов.

Народу на станции собралось много: слесари, токари, путейцы, движенцы, весовщики, крановщики, стрелочники, телеграфисты. Здесь были старики, старухи, парни, нарядные и суетливые девушки. Все снуют по перрону, волнуются. Начальник станции, в красной фуражке, бегает, предупреждает:

— Граждане! Смотрите не задержите мне экстренного поезда. Иначе башка моя слетит...

— Не подведем! — сказал деповский слесарь Федюнин, у которого я работал подручным. Он рассуждал так: — Поезд стоит у нас пятнадцать минут... Ну, стало быть, вот как сделаем — будем для видимости выколачивать болты в рессорах и обратно заколачивать. Минут пятнадцать, гляди, и выколотим сверх расписания... Машинист в пути нагонит свое время.

Подошел поезд. Все хлынули к хвосту состава — к голубому вагону.

Мы потащили мешок с тремя огромными рябыми арбузами.

Проводник не спеша, важно расправил пышные усы, посмотрел на всех строго:

— Алексей Максимович спит... Куда вы в такую рань пришли? Не видите, все окна занавешены.

И вдруг сам Алексей Максимович открыл окно вагона.

Мы крикнули:

— Здравствуйте... Здравствуйте...

Волосы ежиком. Сиреневая майка. Худощавый. Длинный.

— Примите подарочек! От рабочих...

Мы мигом втащили в вагон мешок с арбузами. Проводник дернул себя за ус, покосился, без всякого удовольствия пропустил нас и стал крутить в руках зеленый сигнальный флажок.

Слесари наши выколачивали и опять вколачивали рессорные болты.

Развязав мешок, мы выкатили на пол арбузы. Один покатился по дорожке к ногам Алексея Максимовича и, наскочив у стенки на что-то острое, треснул и развалился. Мясистый, сочный, огненно-красный, словно росой

серебристой умытый арбуз удивил Алексея Максимовича. Он смотрел на арбуз и улыбался: какая сила!

Тем временем я быстро свернул мешок и сунул его себе под руку. Это не ускользнуло от Горького.

— А мешок-то зачем прячете? — спросил он вдруг.

Я растерялся:

— Да у нас, Алексей Максимович,— стал я оправдываться,— арбузы ничего не стоят, а мешки тут дороги, купить их негде.

— Гм! Стало быть, вы, добрые люди, дарите мне то, что похуже, что ничего вам не стоит? — Горький залился таким звонким и молодым смехом, что я вовсе стушевался.

Тогда я протянул Алексею Максимовичу полотняный мешок в больших заплатах:

— Возьмите! Не сообразил...

Горький расхохотался еще громче:

— Ну и шутники кубанцы! Спектакль целый... в селе Огрызове.

Разговорились. Горький жадно спрашивал у нас о нашей жизни, о нашем быте, интересовался, читаем ли мы книги, какие именно, и есть ли у нас на станции рабочий клуб. Он советовал нам учиться и как можно больше читать хороших книг.

Поезд задержался уже на десять минут. Начальник станции, размахивая красной фуражкой, угорело бегал по платформе и потрясал руками:

— Да что же вы делаете? Что вы делаете? Вы меня под суд упечете. Заканчивайте! Заканчивайте!

— Но не можем же мы отправить скорый поезд с неисправными рессорами,— разъяснил начальнику станции слесарь Федюнин.— Крушение произойдет, тогда ведь хуже будет. Ответственности больше. Мы знаем, что делаем!

Алексей Максимович обещал похлопотать в центре, чтоб на Кубань прислали побольше мешков — хлеб из-за того казаки упорно не везли на элеваторы,— и посоветовал нам, поскольку, по его предположению, мы были люди веселые и здоровые, поставить в нашем железнодорожном клубе спектакль по рассказу хорошего писателя-сибиряка Вячеслава Яковлевича Шишкова — «Спектакль в селе Огрызове».

II

Такой спектакль мы поставили. Народу набилось в наш клуб полным-полно. Тесно. Душно. Сидят друг на друге. Горят керосиновые лампы. Чадно. Хохочут до упаду. Впервые нами было представлено такое веселое зрелище. Керосин выгорел, лампы во время спектакля погасли, но никто не хотел уходить.

Слесарь Федюнин сказал:

— Сходите в керосинку... заправьте лампы. Мы посидим покурим, подождем. Не часто такие длинные спектакли бывают.

Заправили мы лампы, стали играть дальше.

Стоял сплошной хохот, действие опять длилось долго. Лампы снова потухли. Снова заправили. Смеху — море, потеха. Трудно было понять, где происходит спектакль, на сцене или в самом зале. Играющие на сцене надрывались от смеха, поглядывая в зал, а сидящие в зале хохотали еще заразительнее, глядя на играющих.

Три раза мы заправляли керосиновые лампы и разошлись по деповскому гудку прямо на работу.

— Повидаться бы с тем человеком, который написал эту штуку,— говорил слесарь Федюнин.— Больно занятно написано... Смекалисто. В душу залез.

Мы стали осаждать библиотекаря.

Книгу «Шутейных рассказов» до дыр зачитали. Разыскали еще «Суд скорый», «Бисерную рожу», «Страшный кам» и «Чуйские были». Нашли в окружном городе Армавире «Тайгу», о которой писал Горький, что она будет иметь несомненный успех, нашли мы и «Пейпус-озеро», и «Ватагу», а потом и «Странников».

Писатель Шишков, с легкой руки Алексея Максимовича Горького, стал у нас любимым и популярным писателем. На нашей станции и в станице все говорили о нем. Книг было мало, а читающих множество, и каждому хотелось читать Шишкова. «Спектакль в селе Огрызове» в нашей, отнюдь не классической инсценировке стал кочевать по всем станциям Северо-Кавказской железной дороги и казачьим станицам. У нас создался хороший театральный коллектив, из которого позже несколько человек вышли неплохими актерами областной сцены.

Так впервые познакомились мы с замечательным писателем В. Я. Шишковым.

Не зная еще богатой биографии писателя, не зная его личной жизни, я почему-то представлял себе В. Я. Шишкова в просторной русской рубахе, непременно подпоясанной шнурком с махорчатыми пышными кистями. Волосы у него, казалось мне, густые, вразлетайку, глаза острые, усы большие, закрутистые, бородка клинышком. Мне думалось, что в писателе Шишкове непременно живет дух донской прямоты и вольности. Иногда В. Я. Шишков представлялся мне великаном, медленно, но твердо идущим вдоль отлогих берегов Волги или плывущим, по-разински, вниз по Дону-реке в казачьем струге, напевая щемящие душу, грустные и удалые песни народа. Иногда я представлял его жителем далекого Оренбурга или Астрахани, иногда — шагающим в Москве по Красной площади. Вбил я себе в голову вот такой образ и никак не мог от него отделаться. Я почему-то был уверен, что мне непременно доведется встретиться с ним.

III

Партия откомандировала меня в Ленинград для учебы в Коммунистическом политико-просветительном институте. Рабочие депо, провожая, напутствовали меня:

— Разыщи, непременно разыщи писателя Шишкова и напиши нам подробнее, каков он из себя. Не барин ли? Расскажи ему о том веселом спектакле, который мы сыграли на нашей станции.

По дороге в Ленинград я остановился в Москве у знакомых. Побывал в Большом театре. Впервые в жизни я видел тогда Москву, впервые видел такой, не постижимый моему разуму, театр. От всего того, что я увидел в Москве, кружилась голова. Хотелось скорее вернуться домой, чтоб обо всем рассказать.

На Спиридоньевке, 2, я побывал в бывшем особняке Рябушинского. Там жил Алексей Максимович Горький. Мне сказали, что Алексея Максимовича нет дома.

Уходить от дома мне не хотелось. Я стоял, мялся и не знал, что же делать. И вдруг дверь особняка открылась, и я увидел на пороге доброе, знакомое лицо Горького,

его умные и проницательные глаза. Он удивленно посмотрел на меня и с какой-то особенной мягкостью в голосе сказал:

— Батюшки ты мои! Кубанские арбузы!

А. М. Горький провел меня в свой кабинет, усадил в кожаное кресло, сам сел напротив, хлопнул себя ладонями по коленям и, по-особому, по-горьковски, насторожась, приготовился слушать.

Я рассказал Алексею Максимовичу, что мы получили из Москвы три вагона мешков и благодарим его за память. Только мешки-то, как выяснилось, посылал на Кубань, по просьбе Горького, Михаил Иванович Калинин.

Вот, думаю, штука-то серьезная заварилась, всего-навсего из-за одного заплатанного мешка... Калинин!

Алексей Максимович очень хвалил рябые кубанские арбузы.

Я рассказал Алексею Максимовичу о спектакле. Он хохотал и хлопал себя ладонями по коленям.

Я сказал, что мне надо обязательно повидаться с Шишковым. А. М. Горький дал мне адрес писателя, но за точность его не ручался.

IV

Занимаясь в литературном кружке института, я спросил нашего руководителя Льва Рудольфовича Когана, где бы встретиться с Шишковым.

— Поезжайте в Детское Село,— ответил он и дал мне подробный адрес.

В воскресный день рано утром я поехал в Детское Село. Долго я бродил в чудесном парке, ходил по улицам, вертелся вокруг дома Шишкова — и не мог осмелиться войти так, ни с того ни с сего. Но вот из дома вышел пожилой человек и медленно пошагал в парк. Бородка, усы, густые волосы, фетровая шляпа. Лицо крупное, глаза проницательные, пытливые. В руках кизиловая палка.

«Он? Не он!» Походка такая же, какой представлялась. Широкие плечи — такие! «Нет, это все же не он... Нет, он!»

Я пошел следом. Человек налево пойдет — и я иду налево. Человек направо пойдет — и я иду направо. Не от-

стаю. И чем больше я ходил за ним, наблюдал, тем ближе и больше казался он мне схожим с тем, давно воображаемым писателем. Заметил я в нем что-то от жителя Астрахани, что-то от Оренбурга. В нем заметны были черты волжские и донские. «Он! Это он — писатель Шишков!» Все мысли сосредоточились на нем. В этот момент даже изумительная красота Александровского парка ускользнула от меня. Решившись наконец, я пошел незнакомому человеку навстречу.

— Простите, не можете ли вы случайно сказать, где я могу разыскать писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова?

— Писателя Шишкова? — удивленно сказал этот кряжистый, с доброй ухмылочкой человек.— Право, не знаю. Ничего о нем не слыхивал. Он что, местный или приезжий?

— Должно быть, приезжий,— ответил я.

— Задача! — проговорил он.— Не знаю, что и ответить вам. Писателей много, все разные, всех не упомнишь. Не в нашей ли районной газете он печатается?

— Зачем же в районной газете? — с упреком ответил я.— Он книги пишет! Как же это вы, такой солидный человек, не прочли книг известного писателя? У нас на Кубани его как читают!

— На Кубани? Это очень плохо! — серьезно сказал он.

— Почему же плохо? Вы же не читали Шишкова, а говорите: плохо.

— А классическую литературу: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Горького, читают у вас? Вот это, молодой человек, я понимаю — литература. Советую ее вам и вашей Кубани читать. Шишков-писатель? Странно, но я все же, пожалуй, не читал его. Не читал. Да кто его будет читать? О чем он пишет?

Тут я прямо на дыбы встал перед незнакомым собеседником:

— Кто читает его? Вы хотите знать это? Извольте! Его Алексей Максимович Горький читает. И не только читает, а советует всем читать его как особо самобытного писателя.

— В самом деле? И вы, молодой человек, не шутите? Давайте присядем на скамеечку...

— Какие тут шутки! Хорошие шутки! Он высокого

мнения о Шишкове! — говорю я уже в каком-то азартном запале.— И послал меня он к Шишкову и даже некоторое поручение дал.

— Скажи пожалуйста! Занятно. Как же это я опростоволосился? Ай-яй! Нехорошо. Расскажите, пожалуйста, о Горьком. Где же это вам посчастливилось повидаться с ним? Вот занятно.

Я и давай рассказывать все подробности. Говорил, не останавливаясь. А он сидел задумчивый, собранный, внимательный. Да он и смеялся, как Горький, и слушал так же, как Горький, и хохотал, когда я все выложил ему о спектакле в нашей станице.

— Позвольте, позвольте,— сказал человек, преобразившийся на моих глазах.— Я что-то припоминаю. Ведь действительно, черт подери, Вячеслав Шишков, этакий широкоплечий, выше среднего роста, живет где-то совсем недалеко от Пушкинского лицея.

— Я-то точно знаю, где он живет, ходил вокруг дома.

— Так в чем же дело? Зачем же вы у меня о нем спрашиваете? Зашли бы, позвонили,— гляди, дверь и открылась бы.

— Боязно как-то. Смущение берет. Быть может, он человек гордый.

— Ну, если он гордый, то вы с ним и не разговаривайте.

И мы, продолжая разговор, медленно направились к дому Шишкова. Мой удивительный спутник лукаво спросил:

— А какие книги Шишкова читали у вас в станице?

Я перечислил их.

— И они вам нравятся? Только по чистой совести скажите. Мало ли что читают. Важно другое — что люди запоминают из прочитанного, что им в душу крепко запало.

Ну, тут я насчет души не постеснялся, все вылил, как знал, как чувствовал. И он едва не прослезился...

Неторопливо открыл защелку высокой калитки, застучал палкой в дверь веранды и позвал хозяйку:

— Клавдия Михайловна! Клавдия Михайловна! К вам гость с Кубани приехал.

Дверь распахнулась... Ласковая и милая хозяйка, Клавдия Михайловна любезно пригласила нас. Смотрю, человек мой, как у себя дома, ставит в угол кизиловую

палку, снимает шляпу, вешает ее на гвоздик, берет меня за руку и ведет в гостиную.

— Будем знакомы,— говорит он громко,— Вячеслав Яковлевич Шишков. Вы извините меня, что так получилось. Но любопытство писателя иногда не знает предела.

Я долго сидел озадаченный, хотя и раньше догадывался, что это Шишков. Целый час я не мог прийти в себя. «Здорово он меня обвел вокруг пальца. Здорово!» — думал я.

Хозяйка накрывала на стол, а он задорно, по-своему, рассказывал ей о нашей далекой станице.

В доме было светло, уютно, необыкновенно просто. Беседа за столом шла непринужденно и задушевно.

Нет, этот писатель простой и настоящий. Открытая, широкая, добрая и настоящая человеческая душа!

Так я встретился с Шишковым.

V

Вячеслава Яковлевича Шишкова пригласил к нам в институт Лев Рудольфович Коган. Пригласил он его на литературный вечер. Шишков читал студентам свои веселые рассказы. Этот вечер останется в моей памяти на всю жизнь. Читал Вячеслав Яковлевич бесподобно. И слова и фразы он произносил в зависимости от характера человека и его действий. Нам казалось, что Шишков не читает, а рисует, лепит образ и показывает его нам таким, каким иначе представить его невозможно. Актер, пожалуй, не сумел бы прочесть произведение Шишкова так, как читал его сам автор. Мы просили писателя читать нам еще и еще. И он, усмехнувшись, читал, видимо, сам находил в этом серьезную пользу. После читки он сделал какие-то записи в своей карманной книжечке.

Еще раз мы встретились с Шишковым в Кронштадте...

Огромный зал переполнен. Одни матросы и офицеры. Народ, как говорят, жадный к знаниям. Никто не шевельнется, не кашлянет. Каждый боится проронить слово. Полная тишина. И вдруг взрыв хохота. Зал грохочет от здорового смеха. Многие аплодируют, а он поглядывает в зал, выдерживает паузу. Успокоятся — он дальше читает. Шишков сразу завоевал симпатии кронштадтских моряков. Недаром они вышли всем Кронштадтом прово-

жать Шишкова до пристани. Я до сих пор вспоминаю этого сугубо штатского человека, окруженного людьми в морских робах, в бескозырках, с вьющимися на ветру лентами.

Корабль отвалил от пристани. Шишков стоит на палубе корабля, высоко подняв правую руку со шляпой. Левой он украдкой смахивает слезу, скатывавшуюся на щеку. Матросы в ответ машут бескозырками.

В политико-просветительном институте в Ленинграде и среди моряков Кронштадта и Ораниенбаума выступали с чтением своих произведений многие писатели; эти чтения не сохранились в моей памяти. Но встречи с писателем Шишковым остались неизгладимыми. Его манера держаться перед слушателями, его жесты и интонация голоса всегда были глубоко индивидуальны.

VI

С особой яркостью я увидел неисчерпаемую энергию писателя Шишкова в годы его работы членом коллегии литературно-политического журнала «Литературный современник». Кому из молодых, да и не только молодых писателей Москвы и Ленинграда не довелось испытать его подлинной заботы, любви, настоящей отцовской помощи при создании пока еще далеко не совершенных произведений. Шишков-рецензент — внимательный, вдумчивый. Шишков — тонкий корректор. Шишков — советчик. Шишков — редактор многих повестей и рассказов, которые печатались в журнале «Литературный современник». Делал он все это добросовестно, бескорыстно, безвозмездно. Проработав несколько лет ответственным редактором журнала «Литературный современник», я могу сказать, что всему составу редакции было легко и всегда приятно работать с В. Я. Шишковым. Его многочисленные пометки на полях рукописей, на страницах корректур и даже на страницах только что вышедших книг были всегда поучительными. Много дельных советов получил от него Вениамин Каверин по роману «Два капитана». В нашем журнале печатались, и в этом большая заслуга Шишкова, А. Н. Толстой, переводчик Лозинский, Юрий Тынянов, академик Тарле. В. Я. Шишков помогал печататься и многим неизвестным молодым писателям.

К молодым писателям, к их произведениям Шишков относился всегда весьма строго и справедливо. Он никогда не навязывал своего мнения, но то, что он советовал, было всегда полезно и приемлемо. Немало внимания он уделил и автору этих строк.

Не представляю, смог бы ли я написать свой многолетний труд, исторический роман «Азов», если бы я не встретил на своем пути «крестного» отца и верного друга писателей в лице В. Я. Шишкова. Он дал мне тонкие и очень серьезные указания.

VII

Когда писатель Шишков входил в редакцию с толстыми папками, набитыми рукописями, мы, поздоровавшись, смотрели на выражение его глаз. На лице его сияла улыбка. Значит, «удачный улов». «Старик,— говорили мы,— собирается порадовать нас богатой добычей». Он садился за стол сияющий, удовлетворенный.

— Ну, вот это произведение будет хорошим подарком для читателей.

Он объясняет, почему, что следует исправить, что дописать.

— Сообщите автору, что мы — если и вы одобрите, конечно,— начнем печатать его роман в ближайших номерах. Это отменная работа, написана она со знанием дела. А это...— тут Шишков начинал хмуриться, брови сходятся на переносье, и, кажется, они пошевеливаются,— преотменное дрянцо! Написано отличным языком! Но язык-то не наш. Шутка ли? Автор изобразил рабочих какими-то неудачниками, ничего не умеющими делать. Кощунствует! А ведь знает, бестия, что без рабочих и крестьян у нас немыслима была бы Октябрьская революция. По-моему, это для нас не подходит... А это! Удивительное дело. Оказывается, не перевелись еще дельцы от литературы, халтурщики, конъюнктурщики, которых интересует только заработок и дешевый — хотя и преходящий — успех. Они преподносят народу бессовестную подделку, суют ему камень вместо духовной пищи. Ведь это же ползучая вошь, распространяющая заразу. Тут все есть: актуальность, оперативность, злободневность, закрученный сюжетец для одурманивания свежих моз-

гов, бойкость языка и стиль. Стиль! А на самом деле? — Шишков все больше и больше хмурится, говорит медленно, обдумывая каждое слово, и, наконец, встает во весь рост, обиженный.— Нельзя нам такую дрянь печатать.

И вдруг Шишков снова сияет, шутит и затем показывает нам алмазные зерна: Данте Алигьери «Ад» в переводе М. Лозинского.

Тут все оживают, все радуются. Шишков читает, читает и восхищается без конца.

К своему собственному труду Шишков был беспощадно требователен. Он признавал критику своих произведений с одной неизменной формулой:

— Народ есть главный судья. Что скажет народ, ценитель и создатель искусства?

В 1938 году со второго номера журнала «Литературный современник» мы начали печатать роман Шишкова «Емельян Пугачев». Это для нас было большим событием. Но для Шишкова это были дни и месяцы раздумий, колебаний, проверок, испытаний: «Что скажет народ?»

Я спрашиваю:

— Почему вы так хмуритесь? Чем вы недовольны? У вас на душе сегодня должно быть празднично. «Емельян Пугачев» выходит в свет. Это ведь действительно настоящее литературное событие! Роман будут читать. Вас будут горячо благодарить.

Вячеслав Яковлевич задумчиво и вопросительно смотрит на меня и с тревогой говорит:

— В том-то и дело. Народный герой Емельян Пугачев должен вернуться к народу. И если он в моем произведении придет к нему хорошим и умным — его примут. Если он придет чужим и фальшивым — народ не примет его. Народ — главный судья. За ним слово! И, по правде сказать, поэтому-то я и хмурюсь и волнуюсь...

— А вы не волнуйтесь. Роман ваш несомненно полюбится народу,— говорю я.

Шишков с хитрецой улыбается:

— Боюсь весьма строгих критиков. Нападут. Заклюют! Тогда и старику крышка, и моему «Емельяну» будет не весело.

И вот случилось то, чего боялся Вячеслав Яковлевич. Когда первая часть романа была нами напечатана в журнале, один из бойких критиков объявил в печати, что

«журнал «Литературный современник» напечатал исторический порочный роман В. Шишкова «Пугачев», о котором уже писалось...».

Так одной строкой критик старался зачеркнуть огромный, подводящий итог жизни писателя труд, предназначенный для народа.

Вся наша редакция была возмущена такой выходкой критика. Писатель Шишков удручен был тем более, что работа его была еще не закончена. Так в самом начале пути дорога роману была преграждена. Это не могло, конечно, не сказаться на здоровье Вячеслава Яковлевича. Но потом В. Я. Шишков с облегчением писал мне по этому поводу:

«Мой «Пугачев» взят под крепкую защиту. Вы оказались упорным и справедливым. На партийной конференции одного из московских районов А. А. Фадеев, заслуженно пользующийся большим влиянием среди писателей, а также и в кругах партийных, делал доклад о советской литературе, причем о «Пугачеве» он выразился с похвалой, считая мою работу как достижение».

Защита романа «Емельян Пугачев» была в то же время и защитой чести писателя и защитой журнала «Литературный современник».

Вячеслав Яковлевич и наша редакция консультировались по историческим вопросам с академиком Тарле, который дал высокую оценку роману и так же, как и все мы, был возмущен злостным выпадом критика. Шишков, веря в правоту своего дела, написал тогда отличную статью «Мой ответ критикам». Статья его затрагивала принципиальные вопросы о значении советского исторического романа для нашего народа. Она была уже подготовлена к печати, но не вышла в свет из-за того, что Вячеслав Яковлевич, очевидно удовлетворившись положительным ответом в Москве, решил ее не публиковать. Он писал мне: «Мой ответ критикам» вы пока не помещайте». Слово «пока» было Шишковым подчеркнуто.

Роман «Емельян Пугачев» скромным автором квалифицировался как историческая хроника. Но разве это хроника? Это огромное историческое и художественное полотно героической русской эпопеи.

Печатался роман в шести номерах нашего журнала: во втором, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом, и интерес к нему возрастал у читателей от номера к номе-

ру. В редакцию звонили наборщики, писали письма студенты, рабочие заводов, ученые, историки, преподаватели школ, и все спрашивали: «Когда будем читать продолжение?» Это было в 1938 году. Роман не был еще закончен, и Шишков упорно продолжал писать его.

VIII

Грянула война. Многие из нас ушли на фронт. Шишков работал в городе в военных условиях. Он написал свое замечательное «Слово о Родине», рукопись которого мне удалось разыскать только после войны. Писал он о русских Сусаниных, о бойцах Ленинградского фронта, беззаветно защищавших родину. Он читал свои «Шутейные рассказы» солдатам, выступал перед матросами на кораблях, перед офицерами Дома Советской Армии, читал «Емельяна Пугачева» на Кировском заводе. Из города Пушкина он переселился на канал Грибоедова, 9, и там продолжал работу над романом. Он не спасал своего имущества во время варварских бомбежек, как это делали другие. Спускаясь в бомбоубежище, суровый, предельно сосредоточенный, уже больной, он бережно нес с собою свое детище — продолжение романа «Емельян Пугачев». Его душевная скорбь и болезнь сердца выражались на лице, покрытом преждевременными морщинами. Он глубоко страдал, видя народное горе. Однако он не унывал, потому что верил в непременную правду — в неизбежность победы.

И когда я как-то на время вернулся с Балтики и увидел его пожелтевшее лицо и все те же умные, добрые и проницательные глаза, я почувствовал ту же твердую и крепкую душу солдата.

IX

Вячеслав Яковлевич переезжает в Москву. Он продолжает работу над романом «Емельян Пугачев». Роман не закончен... Умер Алексей Николаевич Толстой. А вскоре умер и Вячеслав Яковлевич.

В квартире на улице Горького все по-прежнему: раскрытые книги, письменный стол, недоконченные страни-

цы, исписанные ровным и твердым шишковским, по-особому красивым и благородным почерком. Светильник, бронзовые статуэтки, ломберный столик и книги, книги, книги, книги — Пушкина, Лермонтова, Гоголя... книги Шишкова. Все окружающее как будто говорит: «Хозяин вышел и сейчас же вернется».

И вот мы на родине писателя, в городе Бежецке. На стенах домов, на заборах — афиши:

20 августа 1950 года в 12 часов дня
в городском саду
состоится торжественное открытие памятника
выдающемуся писателю-земляку
Вячеславу Яковлевичу Шишкову.
Приглашаются трудящиеся города и района.

В центре знакомый портрет. Густые волосы, знакомые усы и бородка, отложной воротник белой рубахи и галстук. На пиджаке орден «Знак почета».

Вспоминаю слова Пушкина, которые Шишков цитировал нам в редакции:

«Ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков».

Напоминал он нам и слова Виссариона Белинского:

«Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году, стоящую во главе образованного мира, дающую законы науке и искусству и принимающую благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества».

Не раз приводил Вячеслав Яковлевич нам, молодым писателям, назидательное изречение Гоголя:

«Вы увидите, что Европа придет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках».

Торжественно звучали в его устах слова Горького:

«Моя радость и гордость — новый русский человек, строитель нового государства».

В город Бежецк съехались друзья писателя и земляки. Городской сад утопает в цветах и зелени. Люди приехали из Москвы, Ленинграда, из далеких городов и районов. Здесь были тысячи жителей города Бежецка, солдаты, крестьяне, матросы, писатели, студенты, ученые. Здесь же Клавдия Михайловна, настоящий друг писателя. Признательный народ плотной стеной стоит вокруг брон-

зового памятника, сооруженного по решению нашего правительства и превосходно выполненного скульптором И. Рабиновичем.

Что сказать? Нужно и должно сказать о Шишкове очень многое...

— Дорогие граждане! В городе Бежецке в 1873 году родился выдающийся русский писатель, воспитанный революцией и партией, пламенный патриот нашей земли и отчизны, защитник города Ленина, верный сын своего народа, гражданин Вячеслав Яковлевич Шишков.

Его славное светлое имя стало известным не только в нашей стране, но далеко за ее пределами. Оно стало известным потому, что в своих прекрасных произведениях Шишков воспевал мужество и стойкость советского народа, помня одно, что нет для советского писателя более благородной и более возвышенной цели, как служить до конца своей жизни великому народу.

Его выдающийся талант, точное и убедительное слово, ярчайшие краски и гармоническая шишковская музыка прозы, ставшая достоянием многомиллионного читателя, рождены революцией. Он принял Октябрьскую революцию с открытой душой и во имя ее, во имя свободного народа и торжества коммунизма отдал все, что мог. Советский народ не забудет его славных дел и правдивых его творений. Образ человека-труженика, чистые и проницательно пытливые глаза его никогда не померкнут в нашей памяти.

Ленинградские писатели, среди которых многие годы жил и работал Вячеслав Яковлевич Шишков, поручили мне сказать вам, что в годы тяжелых испытаний нашей Родины он был мужественным и стойким солдатом. Несмотря на варварские, жестокие бомбежки, зверские артиллерийские обстрелы города, несмотря на тяжелые лишения, писатель Шишков продолжал свой труд. Он писал в осажденном городе о партизанах, о защитниках города, о славном прошлом. В «Слове о Родине» с предельной ясностью раскрыта его душа, душа писателя, истинно русского человека. Он боролся за мир и счастье советского народа. Он ненавидел,— как только мог ненавидеть патриот Родины,— захватчиков чужих земель. Он не мирился с пустой и пестрой жизнью. Он утверждал в человеке самые благородные и возвышенные чувства, требуя служить народу правдиво и честно.

Русский язык и русская литература после Великой Октябрьской социалистической революции приобрели небывалое до сих пор, подлинно мировое значение. И мы гордимся, вместе со всем советским народом, что в лице нашего собрата по перу, Вячеслава Яковлевича Шишкова, творца многочисленных и прекрасных произведений, мы имеем писателя с мировым именем. Народ и наша Коммунистическая партия высоко оценили живой и покоряющий народные сердца талант, удостоив его Государственной премии и орденом Ленина.

Еще многие и многие годы произведения Вячеслава Яковлевича будут пробуждать самые светлые мысли и желания в широких народных слоях.

1956

М. Л. Слонимский

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ

Вячеслав Яковлевич Шишков прожил большую трудовую жизнь, прежде чем стал писателем. В литературную свою работу он вложил упрямую волю и терпеливую настойчивость участника многих походов по сибирской тайге, исследователя диких сибирских рек, борца со штормами и буранами, просветителя дальних жителей нашей страны. В годы гражданской войны он был уже не в Сибири, он жил в Ленинграде (тогда Петрограде). Вышедший из самых недр народных, он принадлежал к тем «старикам», которые всем сердцем приняли революцию. Литературные юнцы с уважением глядели на этого высокого спокойного человека с седеющей бородой.

В книгах Шишкова бурлит, бушует, раскрывается во многих своих проявлениях народная жизнь, его герои выхвачены из самой глубины, вылеплены рукой суровой и благожелательной, правдивой и сильной. Но читателю не видна эта авторская рука за широкими, яркими, то трагическими, то насыщенными неотразимым юмором или даже сарказмом картинами страстей и судеб человеческих. Любимые герои Шишкова (и среди них Пугачев) богатырски борются со злой силой рабства и угнетения. Автор же всех этих произведений, полных буйства и борьбы, в контраст с этими бурями в своих книгах, был тих, скромен, сдержан, отзывчив, но при этом неуступчив в вопросах принципиальных. Эта неуступчивость напоминала людям, что перед ними отнюдь не мягкотелый человек. Вспоминалось, что этот человек в старинной черной шляпе и черном пальто, похожий на сельского учителя, водил людей в опасные походы и не сгибался перед грозами жизни и природы.

Вячеслав Яковлевич из всех тяжелых своих испыта-

ний вынес удивительно доброе отношение к людям. Доброта его, выращенная опытом, знанием сердца человеческого, непрестанным и целеустремленным трудом, была беспощадна к злым и мрачным силам и потому очень оптимистична.

Доброта сочеталась у Вячеслава Яковлевича с большим чувством юмора. Слово «юмор» было произнесено в первом же разговоре моем с Вячеславом Яковлевичем в году, кажется, двадцать первом. Он нашел юмор в одном из тогдашних моих рассказов. Но тут же, помолчав, прибавил с огорчением: «Но у вас на первой же странице во второй фразе есть слово «врывшимся». Это нехорошо». Это было действительно очень нехорошо с моей стороны написать такое неуклюжее слово. Мне стало стыдно за рассказ перед этим писателем, автором «Тайги», глубоким знатоком родного языка.

С большим вниманием Шишков приглядывался, присматривался к новым поколениям писателей, легко вступал в знакомство и товарищество, помогал мягко и искусно. Он вообще пристально изучал жизнь и людей и, опытный путешественник, то и дело пускался в странствия. Однажды (это было в двадцатые годы) он надел котомку и отправился в пеший поход, чтобы как следует увидеть перемены в жизни, перемены в людях. Часто принимал он неожиданных и необычных гостей. Когда он писал свою книгу «Странники», его посетителями были беспризорники, почуявшие в этом дяде с бородкой доброго и сильного друга.

Новый революционный читатель быстро оценил произведения Вячеслава Шишкова. Запомнился эпизод, в котором ярко выразилась эта читательская любовь. Году, помнится, в двадцать седьмом состоялся книжный базар с участием писателей, были обещаны и автографы. И вот вокруг будки, в которой появился Вячеслав Яковлевич Шишков, началось подлинное столпотворение, люди рвались к писателю, натиск этот грозил опрокинуть сколоченную на скорую руку постройку. Пришлось чуть ли не спасать писателя от этого урагана.

Читатели всегда любили Шишкова, но нельзя, к сожалению, сказать, что критика баловала его. Он сносил обиды и уколы без лишних слов, а иногда даже чересчур доверчиво относился к критическим замечаниям. Однажды он, прочтя недоброжелательный отзыв об одном своем

рассказе, напечатанном в ленинградской «Звезде», обратился к нам: «Что же вы вовремя не предупредили меня, что рассказ-то плох?»

Публичные выступления и заявления, протесты и прочее были, видимо, не в характере Вячеслава Яковлевича. Его средством борьбы была работа. На вечере, посвященном его семидесятилетию, в военные годы в Москве он, помнится, говорил, что книги служат писателю этаким постаментом, подымающим автора от произведения к произведению. Но о своем «постаменте» он был скромного мнения. Да и вообще мне лично за многие годы знакомства очень редко приходилось слышать от Вячеслава Яковлевича хоть слово о писателе Шишкове.

Один только раз я видел, как критический отзыв по-настоящему, до болезни, взволновал Вячеслава Яковлевича. После опубликования первой части «Пугачева» появилась разносная статья, в которой Шишков обвинялся... в нелюбви к русскому народу, даже чуть ли не в издевательстве над русским народом. Надо же было выдумать такую чудовищную чепуху! Вячеслав Яковлевич впервые в жизни начал протестовать, написал заявление. Но даже в возражениях своих он остался скромен. Помнится, он писал, что в романе есть, может быть, серьезные недостатки, но только не тот, в котором обвинил критик! Не может быть у него, Вячеслава Шишкова, нелюбви к русскому народу. Известно, что широкая общественность расценила роман Шишкова как одно из лучших произведений советской литературы, так что справедливость восторжествовала. Но сколько нервов стоила автору эта история!..

Скромный в литературных своих делах, он был скромен и непритязателен в быту. Он снимал квартиру в три комнаты в Детском Селе (ныне город Пушкин), не было у него ни дачи, ни машины, но помещение во втором этаже пригородного дома было освещено душевным богатством хозяев — Вячеслава Яковлевича и его жены. Провести вечер у Шишковых означало омыть и очистить душу от всякого сора и хлама, слушать и беседовать о самом главном и существенном в жизни. Очень живо ощущалось искреннее, принципиальное и активное доброжелательство Вячеслава Яковлевича ко всякому, кто любит работать и умеет любить людей.

В 1939 году мы вместе отправились в Киев на пленум

памяти великого Шевченко. Вместе мы объездили Украину, и шестидесятипятилетний Вячеслав Шишков проявлял спокойную выносливость во всех тех путешествиях, которые совершались им с гораздо более молодыми участниками пленума. Совсем не ощущался возраст писателя. Мужественно работал он в военные годы в условиях ленинградской блокады, а с сорок второго года — в Москве. Его номер в гостинице «Москва» был освещен тем же доброжелательным гостеприимством, что и его комнаты в Пушкине. Друзья и знакомые, наезжавшие в Москву с разных концов, находили в этом новом доме Шишкова приют, теплую ванну, даже драгоценную по тем временам пищу, которой Вячеслав Яковлевич делился с гостями по-братски.

Смерть Вячеслава Яковлевича поразила чрезвычайной своей неожиданностью. Казалось, еще так недавно я видел Шишкова гуляющим по улицам с папиросой в пальцах. Он был весел, улыбался, радовался победам на фронтах...

Прошло более десяти лет с того дня, и Вячеслав Яковлевич Шишков, человек большой жизни, большого таланта, большой любви к родному народу, живет в своих книгах, в памяти народа и будет жить всегда.

1955

Л. Раковский

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

Я никогда не отделяю писателя от человека. Мне хочется, чтобы творец хорошей, полюбившейся мне книги был бы и в жизни милым, приятным человеком.

К сожалению, это встречается не столь часто.

Одним из примеров такого счастливого совпадения является для меня Вячеслав Яковлевич Шишков.

Я люблю мягкий шишковский юмор и с большой теплотой вспоминаю его самого, благожелательно относившегося к людям.

Я навсегда сохранил к Вячеславу Яковлевичу Шишкову самое искреннее расположение и, кажется, не ошибусь, если скажу, что и он отвечал мне тем же.

Приехав в Петроград осенью 1922 года, я с удовольствием читал появившиеся в журналах шутейные рассказы, подписанные «Вяч. Шишков». Но самого Вячеслава Шишкова мне как-то не доводилось встречать, и я познакомился с ним лично только весной 1928 года.

Шишков был избран председателем ленинградского отдела Всероссийского Союза писателей после К. А. Федина, не пожелавшего дальше работать на этом посту.

А я, молодой беллетрист, только что выпустивший в свет свою первую книгу повестей и рассказов «Зеленая Америка», был вновь избран секретарем правления.

Казначеем правления бессменно работала известная переводчица Андерсена и Ибсена, почтенная Анна Васильевна Ганзен. На Фонтанке, 50, где в двухкомнатной квартире № 26 размещалось Правление Союза, Анна Васильевна была полновластной, заботливой хозяйкой. На следующий день после общего собрания Анна Васильевна предупредила меня: «Завтра вечером приедет из Детского Вячеслав Яковлевич».

В тот весенний вечер я с большим интересом шел на Фонтанку, 50. У самого дома мне повстречался знакомый. Мы остановились на углу, разговаривая. Я беседовал и невольно поглядывал в сторону улицы Рубинштейна, откуда должен был появиться В. Я. Шишков.

Так и случилось: я издали увидал идущего не спеша, чуть-чуть вразвалку пожилого человека в светлом костюме. Без сомнения, это был Шишков. Я сразу узнал его по фотографиям.

На большинстве фотографий Вячеслав Яковлевич выглядит несколько насупленным. Так получалось и на портретах. Недаром он сам писал в 1926 году Горькому: «Портрет, исполненный Б. М. Кустодиевым, мне не особенно по нраву, состарил меня художник и не дал во взгляде ничего, кроме суровости, а я человек веселый и легкомысленный».

Но эта всегдашняя шишковская суровость была только кажущейся. Я много раз видел Вячеслава Яковлевича смеющегося от души. А улыбался Шишков очень часто. В улыбке Вячеслав Яковлевич совершенно преображался: от глаз по всему лицу бежали, струились лучики-морщинки. Неспроста художник Н. Э. Радлов изобразил Шишкова в дружеском шарже именно улыбчивым, одними штрихами. Сам Вячеслав Яковлевич называл это «защуриться».

(Весной 1929 года завзятому библиофилу удалось раздобыть для Вячеслава Яковлевича редкий «Новгородский сборник», нужный ему для работы. Вячеслав Яковлевич был очень обрадован подарком, и когда я сообщил ему об этом по телефону, то прислал мне такую теплую открытку:

«Вот Вы какой добрый. Ну, спасибо Вам! Мне даже стыдно будет получать от Вас подарок. Придется защуриться».)

Увидев идущего Шишкова, я торопливо попрощался со знакомым и поспешил в Союз.

Вскоре в нашу скромную квартиру № 26 поднялся и Вячеслав Яковлевич. Анна Васильевна Ганзен познакомила нас.

Теперь я мог хорошо рассмотреть его.

В. Я. Шишков отличался ото всех знакомых мне ленинградских литераторов. Своей осанкой, манерой держаться и говорить, костюмом он напоминал старых рус-

ских писателей. Пытливые, с прищуром глаза, бородка клинышком — типичная бородка русского интеллигента,— и густые, с небольшой проседью волосы. Когда Вячеслав Яковлевич встряхивал головой, одна прядка волос слегка падала на лоб — он машинально отбрасывал прядку рукой. Говорил Шишков не спеша, немного глуховатым, но приятным баском. Разговаривая, чуть откидывал голову назад, пристально глядя на собеседника. Говорил охотно, легко, но так же легко и внимательно слушал.

Автора юмористических рассказов читатель всегда представляет себе веселым и в жизни. Шишков держался на людях серьезно, даже несколько хмуро.

Из всех ленинградских писателей старшего поколения таким веселым (но веселым «понарошку») был только Алексей Павлович Чапыгин. В длинных госиздатовских коридорах Дома книги или где-либо в комнатах Дома печати можно было издали услыхать голосок любившего комиковать Алексея Павловича.

Окончив дела в Союзе писателей, Вячеслав Яковлевич решил возвращаться на детскосельский вокзал пешком. Тот памятный вечер нашей первой встречи выдался погожим. Я вызвался провожать Вячеслава Яковлевича,— мне было интересно поговорить с таким известным писателем.

Мы пришли на «Витебский», как тогда в народе называли этот вокзал, за полчаса до ближайшего пригородного поезда на Детское Село. И ходили наверху по перрону, разговаривая.

Здесь Вячеслав Яковлевич впервые рассказал мне о том, что он уже более десяти лет увлеченно работает над романом о Сибири. Из его слов я почувствовал, что эта многолетняя творческая работа была ему особенно дорога. Впоследствии так и получилось — роман «Угрюм-река» оказался самым значительным произведением Шишкова, которое он успел закончить.

Прощаясь со мной у вагона, Вячеслав Яковлевич приглашал меня в гости.

Я не заставил себя ждать — дела по Союзу писателей ускорили мой приезд в Детское. Мне пришлось довольно часто приезжать к Шишковым сначала на Малую, 14, а затем на Московскую, 7.

Вячеслав Яковлевич и Клавдия Михайловна всегда радушно встречали меня.

За обильным обеденным столом хлебосольных Шишковых в интересной беседе незаметно летело время.

Вячеслав Яковлевич расспрашивал меня о моей родной Белоруссии, о которой я писал, поучал писательскому уму-разуму и много и охотно рассказывал о себе и своем творчестве.

Как-то он показал мне свои записные книжки. Весь большой ящик комода был заполнен клеенчатыми «общими» тетрадями, исписанными тонким, размашистым шишковским почерком. Это были записи многих лет. Зная острый глаз Шишкова-писателя, я понял, какой неоценимый клад хранится в этом ящике старого комода. Нельзя без сожаления представить себе, что все эти записи погибли, так как Шишков, покидая Пушкин при наступлении гитлеровцев осенью 1941 года, не смог вывезти эти тетради.

В один из моих приездов в Детское я привез в подарок Вячеславу Яковлевичу свою первую книгу повестей и рассказов «Зеленая Америка». А он подарил мне сборник рассказов «Страшный кам», сделав на нем такую теплую надпись: «Молодому писателю с хорошим, крепким литературным будущим».

К литературной молодежи Вячеслав Яковлевич был вообще чрезвычайно внимателен.

К нему стекалось много рукописей начинающих авторов, прослышавших о его добром характере.

Шишков терпеливо читал эти объемистые романы и, снисходя к молодости их авторов, давал им неизменно благожелательные отзывы, которыми начинающие писатели не всегда пользовались с должным тактом и должной скромностью.

В последующие четырнадцать лет нашего доброго знакомства я видел Вячеслава Яковлевича в разных житейских обстоятельствах и положениях. Я мог наблюдать его в домашней обстановке детскосельской квартиры. Мы не раз бывали вместе в составе правления Ленинградского отделения Союза писателей, когда он уже стал именоваться Союзом советских писателей. Вместе работали в Совете Литфонда, где Шишков возглавлял, а я был членом Совета. И случалось, что, уезжая куда-либо, Вячес-

лав Яковлевич поручал мне заменять его на председательском посту.

Мне довелось много выступать с Шишковым на литературных вечерах и клубах Ленинграда и пригородов.

Шишков, так же как Алексей Толстой и Евгений Замятин, мастерски читал свои вещи, будь то шутейные рассказы, сочные бытовые картины из «Угрюм-реки» или эпические главы из «Пугачева». Из шутейных рассказов особенно пользовались успехом «Спектакль в селе Огрызове» со знаменитой репликой: «Антракт длился полтора часа» и рассказ «Холодное замерзание». А из «Угрюм-реки» публика всегда весьма живо принимала ту сцену, как Филька Шкворень гуляет в знаменитом селе Разбой.

К моему удовольствию, я несколько раз отдыхал с Шишковым на берегу благодатного Черного моря в излюбленном писателями коктебельском Доме творчества.

Вячеслав Яковлевич представлял здесь весьма колоритную фигуру.

Летом 1932 года Ленинградское отделение Литфонда приобрело у наследников известной дореволюционной издательницы Манассеиной участок и дом в Коктебеле. Отдыхать в новом Доме творчества в сентябре собиралась большая группа ленинградцев: Зощенко, Евгений Шварц, Прокофьев, Браун, Комиссарова, Садофьев, Меркульева, Рысс и профессора — Жирмунский, Франковский, Смирнов. Вместе с нами поехали и Шишковы.

Впервые попав после кудрявых белорусских березняков в сурово-полынный Коктебель, я сначала почувствовал себя как-то не очень уютно. Сухопутный, как и я, Вячеслав Яковлевич понял мое настроение и поспешил утешить:

— Не грустите, Леонтий Осипович: наш срок скоро пролетит!

Но уже через день-другой меня окончательно пленила величественно-прекрасная «свободная стихия» Черного моря, и я уже печалился о том, что быстро пролетают милые коктебельские денечки...

Писательская молодежь щеголяла в трусиках, жарилась на ласковом коктебельском солнышке и не вылезала из моря.

А Вячеслав Яковлевич в своем светлом чесучовом костюме сидел на веранде в тенечке и писал.

Общительный и простой Вячеслав Яковлевич прини-

мал участие во всех наших не весьма разнообразных коктебельских развлечениях. В предвечерние часы Шишков даже появлялся на волейбольной площадке, хотя ему было уже под шестьдесят. Правда, Вячеслав Яковлевич не спешил к мячу, а скорее отмахивался от него, чем пытался брать летящий мяч, но все же он вместе с Михаилом Михайловичем Зощенко принимал посильное участие в игре. И ходил со всеми нами на недалекие прогулки. А после ужина, когда мы, сгрудившись, сидели под сенью олеандров и тамарисков перед домом и развлекались чем могли (кино в Коктебеле еще не было), Вячеслав Яковлевич не отставал от компании. Он вместе со всеми смеялся над остроумными шутками неистощимого на выдумки Жени Шварца и участвовал в нашем хоре, подпевая баском. Особенно проникновенно получалось у него «Ревела буря, гром гремел...».

С годами у нас с Вячеславом Яковлевичем установились добрые, приятельские отношения. Вячеслав Яковлевич видел во мне, младшем товарище, своего весьма благосклонного читателя, так сказать, «болельщика».

К моему удовольствию, и Вячеслав Яковлевич тепло принимал мои книги. Вот один из наиболее дорогих для меня отзывов Вячеслава Яковлевича о моей работе:

«Дорогой Леонтий Осипович!

Ваш «Изумленный капитан» заставил меня от души порадоваться и за Вас и за читателя. Поистине — хорошая книга. Великолепный сюжет, и прекрасно Вами обработан. Показанные Вами страницы русской старины — трагические страницы. Книга по-настоящему волнует и заставляет ненавидеть прошлое. Книга актуальная и в наши дни. Читатель таких книг имеет немного, он ждет их. Труднейшие страницы с показом двора и Анны Иоанновны сделаны блестяще. Да и все — хорошо.

Вы настолько созрели как писатель, что я уверен — «Генералиссимус» будет книгой замечательной.

Желаю Вам всего хорошего.

Ваш Шишков.

P. S. А как Вы чудесно изучили быт начала XVIII века!

«Питербурх», Москва и вся Россия встают живыми.

22.XI.38 г.».

В предвоенные годы наши встречи были особенно частыми.

Вячеслав Яковлевич писал уже «Пугачева». Мы изображали один и тот же Кунерсдорф, но у меня Кунерсдорфская баталия занимала в романе более значительное место. Изучению материалов по Семилетней войне я посвятил целое лето.

Вячеслав Яковлевич попросил меня, чтобы я указал ему военно-историческую литературу по Кунерсдорфу, резонно заметив:

— Будет неудобно, если мы, два ленинградских писателя-историка, изобразим Кунерсдорф по-разному!

Я охотно исполнил его просьбу.

Зимою 1939 года я два месяца жил в Доме творчества в Пушкине, в бывшем доме Алексея Толстого. Я усиленно работал над «Генералиссимусом».

И зачастую вечерком меня звали вниз, к телефону. Вячеслав Яковлевич приглашал меня на чаек, зная это мое невинное пристрастие.

— Приходите, Леонтий Осипович, почитайте нам «Суворова»,— гудел в телефонной трубке приветливый шишковский басок.

Я брал папку с новыми главами и охотно шел на знакомую Московскую, 7.

Там меня ждал уютный круглый стол, уставленный вкусными вареньями и печеньями, на которые была мастерица радушная хозяйка Клавдия Михайловна.

Я читал «Суворова» и слушал только что написанные страницы «Пугачева» или интересные рассказы Вячеслава Яковлевича о пережитом. Шишков обладал редким даром: он умел внимательно, терпеливо слушать собеседника и сам был великолепным, увлекательным рассказчиком. Я с большим удовольствием слушал его живые, яркие воспоминания о Сибири, Урале, о людях, с которыми ему приходилось встречаться в частых служебных разъездах по России.

Вячеславу Яковлевичу мой «Суворов» был по душе. Он советовал мне писать роман пошире.

— Вам надо писать о Суворове не тридцать листов, как вы задумали, а девяносто! — убежденно заявлял Шишков.

Он был широк во всем, этот замечательный человек и талантливый бытописатель,— и в жизни, и в литературе.

Я не мог последовать его совету: у меня как-то не получалось даже и тридцати...

Но вот настал страшный, «памятный в роды родов», 1941 год...

С 22 июня 1941 года я стал работать военным корреспондентом фронтовой газеты ЛВО «На страже Родины», а затем газеты Ленинградского народного ополчения «На защиту Ленинграда».

«Генералиссимус Суворов» (первая часть) поспевал вовремя: в июне я подписал книгу к печати, уезжая на фронт за Олонец.

В то же время вышел в свет и первый том исторического повествования В. Шишкова «Емельян Пугачев». Вячеслав Яковлевич подарил мне книгу с такой надписью: «Дорогому Леонтию Осиповичу Раковскому дарю сию книгу на прочтение и добрую память. Вяч. Шишков. 28.X.41 г. Ленинград — город осажденный».

В октябре 1941 года народное ополчение влилось в кадровую армию, я был уволен в запас и стал работать в «Ленинградской правде», в которой двадцать лет тому назад начинал свой литературный путь.

Многотрудные дни ленинградской блокадной зимы 1941—1942 года мне пришлось переживать вместе с Шишковыми в одном доме № 9 на канале Грибоедова. Перед занятием Пушкина фашистами Шишковы переехали в Ленинград и поселились в картире № 87, во втором этаже нашего дома. И нам, как и всем жильцам дома № 9, приходилось отсиживать тягуче-скучные часы воздушных тревог в постылом тесном бомбоубежище.

Вячеслав Яковлевич, в пальто, с книгой-рукописью «Пугачева» под мышкой (он писал на листах большого формата, по-видимому, какой-то конторской книги), сосредоточенно хмурый, молчаливый, сидел с Клавдией Михайловной и тещей Раисой Яковлевной.

Рядом с Шишковым частенько можно было видеть и Анну Андреевну Ахматову. Глядя на ее мужественный профиль, мне невольно вспоминались строки из письма ленинградских женщин, под которыми в числе первых стояла подпись Анны Ахматовой: «Не сломить фашизму нашей твердости! Не испугать бомбами, не ослабить лишениями!»

Иногда в холодные, голодные и темным-темные вечера зимы 1941 года я спускался со своего четвертого этажа,

где у меня была квартира, к ним во второй отвести душу в дружеской беседе. При скудном свете малюсенькой лампочки-коптилки мы пили чай с микроскопическими кусочками сахара, каким-то чудом сбереженным рачительной Клавдией Михайловной, и невольно вспоминали о недалеком, но почти фантастическом прошлом: о пирогах, разных соленьях и печеньях и прочей вкусной снеди, которую так искусно готовили в хлебосольном доме Шишковых.

Не могу здесь не рассказать одного случая, который говорит о том, как бедствовали мы, блокадные ленинградцы.

Однажды зимою 1941—1942 года мне предложили выступить с чтением «Суворова» в медсанбате на Волковом кладбище. От канала Грибоедова, 9, где я жил, до Волкова кладбища не близкий свет. Город стоял в завалах, а кое-где в баррикадах, заснеженный и обледенелый. Силенок у меня оставалось немного, но я принял предложение: хотелось и почитать воинам и маячила надежда, что в медсанбате, может быть, все-таки чем-то покормят... Я кое-как дотащился до медсанбата. Выступление прошло живо — слушали с большим вниманием. После выступления мне принесли половину солдатского котелка чечевичного супа, и политрук смущенно сказал:

— А больше, к сожалению, ничего нет. Вышла маленькая накладка: главврач запретил пшенную кашу.

— Почему? — огорченно спросил я.

— Мешок оказался немного подмоченным бензином. Каша отдает бензином...

— Послушайте, дорогой товарищ, принесите мне этой каши! — взмолился я.— Со мной ничего не случится! Ну, с бензином так с бензином! Ну, пожалуйста, прошу вас!

Меня уважили — принесли полкотелка каши. Я с удовольствием съел ее. И со мной ровным счетом не произошло ничего плохого...

На другой день я все это весело изложил за скудным чайком у Шишковых.

— Леонтий Осипович, а нельзя ли и мне выступить там? — полушутя-полусерьезно спросил Вячеслав Яковлевич.

В те беспросветно тяжелые дни первой блокадной зимы Вячеслав Яковлевич написал по просьбе ленинград-

ского собирателя Василия Ивановича Цветкова в его альбом слова о родине:

«Моя родина

...И вот на мою родину жестокий враг безрассудно бросил свои железные, лишенные живой души, полчища. Сердце мое дрогнуло — враг напал на мое миролюбивое отечество вероломно; сердце мое обливается кровью — врагу удалось захватить часть моей родины и протянуть руку к великому сердцу моей великой страны, Москве. Но я, как и всякий советский человек, полон неистребимой надежды и непоколебимой веры в то, что силами доблестной Красной Армии, Военно-Морского Флота и живой мощи всей страны враг будет сломлен, опрокинут и низведен до ничтожества. Враг врагу рознь. Бывали и прежде враги, истребители людей и народных богатств. Но враг-фашист есть особый враг — он истребляет мирных людей, он беспощаден к памятникам чужой культуры, не соображаясь с тем, что эти памятники являются, в широком смысле, достоянием исторической судьбы всего человечества. Рим, Афины, Лондон, Париж, Мадрид, Флоренция с их стариной одинаково близки и русскому человеку, ибо высшее звание человека — Гражданин Мира.

...Да. Все теперь как туман, как спустившийся на нашу планету мрак. Но я чувствую, что рассвет близится, он скоро опустится на безумные головы хищников. И тогда великая Правда восторжествует во всем свете. Да будет так!

5 дек. 1941 г. Ленинград.

Вяч. Шишков»

Так писал он в блокированном Ленинграде.

Сколько в этом небольшом слове горячего патриотизма, сколько веры в свой народ, в его правоту и силу!

Доведенный голодным блокадным существованием до полного истощения, я принужден был выехать из Ленинграда на Большую землю. Меня вывезли через Ладогу по «дороге жизни».

Когда за блокадным чайным столом гостеприимных Шишковых обсуждался мой отъезд из родного Ленинграда и я выбирал место, где бы временно поселиться, Вячеслав Яковлевич горячо советовал мне ехать в Устюг Ве-

ликий. Этот древний, старше Москвы, город нравился ему.

Вячеслав Яковлевич вспоминал его и в письмах ко мне, когда я в конце концов так-таки очутился в В. Устюге: «Рад был получить Ваше письмо с В. Устюга (устье юга). Я там бывал в хорошую пору, летом, видел город во всей красоте с шеренгой прибрежных храмов. Старик Артамонов, житель Устюга, был подрядчиком, вместе с ним я работал. Есть ли там теперь сундучные мастера? Они делали чудесные сундуки и шкатулки, окованные жестью под мороз с секретом и музыкальным звоном. Наверное, все забыто теперь» (7.XII.42).

В феврале 1942 года меня вывезли из Ленинграда через Ладогу, а затем по железной дороге до Вологды. Я послушался доброго совета Вячеслава Яковлевича и обосновался в Великом Устюге, где и прожил до конца 1944 года.

Шишковы выехали из Ленинграда двумя месяцами позже, 1 апреля 1942 года.

Эвакуация не разобщила нас. Я писал Шишкову в Москву — сначала в № 311 гостиницы «Москва», а потом на Лаврушинский, 17, где Шишковы занимали в квартире две комнаты.

Вячеслав Яковлевич писал мне в Великий Устюг. Он беспокоился о моей оставленной на произвол судьбы ленинградской квартире, о моем еще не завершенном романе «Генералиссимус Суворов» и писал о себе: «Я много работаю. Главная работа «Пугачев». Пишу с увлечением. Вторая книга будет несколько больше первой (лист. 45—47). Отдельными главами с нового года пойдет в журнале «Октябрь» (7.XII.42).

В другом, более позднем, говорил: «Но работаю много без устали. Стал виден конец «Пугачева». В Казани мы с ним сейчас, сожгли Казань и вот-вот будем драться с Михельсоном».

Вячеслав Яковлевич сообщал мне литературные московские новости, писал о наших товарищах-ленинградцах и горячо советовал мне непременно приехать в Москву для упорядочения моих литературных дел. Но в те времена, к сожалению, это не так-то легко было осуществить. Приехать в столицу из глубинного Устюга Великого мне не пришлось. Я только смог вернуться в Ленинград. Это было в декабре 1944 года.

А 6 марта 1945 года Вячеслав Яковлевич умер.

Ленинградская писательская организация послала меня на похороны Вячеслава Яковлевича Шишкова. В почетном карауле у гроба я стоял вместе с нашими ленинградцами, жившими тогда в Москве: Евгением Шварцем и Львом Вайсенбергом, Лидией Сейфуллиной.

Я смотрел на это знакомое, но уже не улыбающееся лицо, и мне невольно вспомнилось, как Вячеслав Яковлевич, так любивший и ценивший юмор, сказал в 1938 году на первом заседании только что избранного, нового Правления Союза писателей в Ленинграде. Его просили возглавить Совет Ленинградского отделения Литфонда, а он упорно отказывался. Но в конце концов, видя, что все Правление единодушно просит его принять эту почетную обязанность, сдался на уговоры товарищей.

— Ну, так и быть: согласен! — защурившись, сказал он.— Но с одним условием: чтобы Литфонд меня похоронил.

Вячеслава Яковлевича Шишкова хоронила вся наша страна.

1955—1977

Евг. Федоров

ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ

В Ленинградском клубе литераторов имени В. В. Маяковского есть уютная комната. Стены ее обиты красным штофом. Она так и называется — красной гостиной. В теплый апрельский вечер 1937 года здесь было оживленно и как-то особенно приятно от мягкого света, льющегося из хрустальных люстр. Лица собравшихся выглядели приветливо, ощущалась какая-то дружеская интимность.

В переполненной комнате за круглым столом сидел В. Я. Шишков и читал главу из моей сатирической повести «Шадринский гусь». Многим известно, какой превосходный чтец был Вячеслав Яковлевич, но в этот вечер он превзошел самого себя. Он читал внешне сдержанно, но раскаты самого искреннего неудержимого смеха потрясали гостиную. Смеялись все: и старые, убеленные сединами писатели, и молодежь, еще неуверенно державшая перо в руках. Были тут и А. Н. Толстой, и К. А. Федин, и А. П. Чапыгин, и многие другие писатели, имена которых сейчас уважаемы всеми советскими читателями. Это все, конечно, было очень трогательно и лестно для меня. Но не в этом заключалось главное. Меня потрясло другое — какими яркими красками светились, казалось, самые обыкновенные фразы и эпизоды повести и какими сочными становились диалоги в необычно мастерском чтении В. Я. Шишкова. Слова, произносимые им, наполнялись глубоким смыслом, переливались всеми цветами радуги и звенели, как серебряные монеты. Как чародей, он волшебно преображал простое слово в большую радость. Волнуя слушателей, он сам оставался совершенно невозмутимым, только в глазах его искрились смешинки. Его простота, душевность, легкий светлый юмор объединили

собравшихся в одно целое, охваченное порывом сердечности. С тех пор прошло много времени, и можно, положа руку на сердце, сказать, что ни до, ни после этого я не испытывал такой глубокой, искренней и чистой радости, какую пережил в те минуты.

После В. Я. Шишкова выступали с теплыми речами А. Н. Толстой, К. А. Федин и многие другие, высказавшие мне много ободряющих слов. Официально шло заседание президиума Ленинградского отделения Союза советских писателей, и решался вопрос о принятии меня в члены Союза. И вот эта чуткость старших товарищей, эта теплота и необычная обстановка меня и взволновали, оставив на всю жизнь светлую память. Эти душевные переживания усиливались еще тем, что я тогда вспомнил и первую свою встречу с В. Я. Шишковым.

Шел 1921 год. По приказу командования я, молодой командир кавалерийского эскадрона, прибыл в штаб Западного фронта, в Смоленск. В красноармейском клубе предстояла встреча с писателем Вячеславом Шишковым. Имя В. Я. Шишкова мне, уже немного приобщившемуся тогда к литературе, было хорошо знакомо. Я всегда с увлечением читал его сибирские рассказы. В 1916 году в журнале «Летопись», который редактировал А. М. Горький, была опубликована повесть Вячеслава Яковлевича «Тайга». Прочел я ее залпом. Меня, знавшего Урал и сибирское Зауралье, поразили яркие, сочные краски своеобразного сибирского пейзажа и суровость событий, описанных в повести. С тех пор я следил за каждым новым произведением Шишкова. И вот выпало счастье увидеть его самого!

Мы, молодые командиры, ждали писателя у клубного крыльца. Он приехал в шапке-мономашке и в добротной шубе, высокий, сильный и кряжистый — настоящий сибиряк. Вячеслава Яковлевича усадили посреди сцены за столиком, и он приступил к чтению своих «Шутейных рассказов», сразу завладев аудиторией и полонив наши молодые сердца.

И вот теперь, в 1937 году, слушая его в клубе В. В. Маяковского, я невольно вспомнил прошлое и от этого еще больше волновался. Я видел ту же небольшую бородку, которую теперь пронизывали серебристые нити, тот же лукаво-добродушный прищур теплых глаз. Сколь-

ко доброты, искренней доброжелательности светилось в них!

Меня попросили выступить. О чем я говорил тогда — не помню. Я что-то бормотал о своей любви к литературе, давал обещания, как это всегда делается в таких случаях, а сердце рвалось от радости. Хотелось подойти к Вячеславу Яковлевичу, обнять его крепко и сказать: «Спасибо вам, добрый друг и учитель».

Познакомился я с В. Я. Шишковым более близко в начале 1935 года. В те дни я работал научным сотрудником в Академии наук СССР, но меня неудержимо влекло к литературе. Ночами я писал юмористические рассказы. Тогда и появились на свет рассказы «Вороная кобыла», «Турецкое одеяло», «Образованный человек», «Оранжевый петух» и повесть «Соломонея». Не помню, кто из писателей познакомил меня с Вячеславом Яковлевичем, но с 1935 года я часто бывал у него в городе Пушкине, куда отправлялся всегда с новыми своими рукописями. Помню, как в первый раз я с замиранием сердца подходил к двухэтажному дому под номером 7 по Московской улице, тревожась, что я отниму дорогое время у весьма занятого человека. Робко нажал кнопку звонка. Минутку спустя послышалось легкое покашливание и шарканье туфель — кто-то спускался по лестнице со второго этажа. Распахнулась дверь, и передо мною появился улыбающийся Вячеслав Яковлевич.

— А мы вас, батенька, давно ждали! — встретил он меня приятным баском.

Небольшая уютная квартира. Во всем видна заботливая рука, помогавшая писателю поддерживать этот добротный, приятный уют. Такой заботливой рукой, верным другом на всю жизнь была Клавдия Михайловна — жена Шишкова.

По положению в литературе и возрасту между В. Я. Шишковым и мною была огромная разница. Он был старше меня на четверть века и принадлежал к числу признанных писателей, а я в творческом отношении был очень молод и неопытен. Но нас сближало то, что Вячеслав Яковлевич много странствовал по Сибири и хорошо ее знал, а мне тоже довелось изъездить и исходить Урал и сибирское Зауралье. Мы говорили об Урале и Си-

бири, о краях, нам близких и родных. При определении литературного мастерства В. Я. Шишкова перед моими глазами всегда вставали картины сибиряка-красноярца В. И. Сурикова. Мне казалось, что у В. Я. Шишкова есть что-то общее с Суриковым. Оба писали густо, сочно и красочно. Особенно эти сравнения приходили при чтении романа «Угрюм-река» и большого эпического полотна «Пугачев». Не преувеличивая, можно сказать, что В. Я. Шишков — подлинно народный русский писатель. Он сам вышел из народа, любил его, брал все из народной жизни, и поэтому все у него выходило мастерски, полным напряженного движения и горячей искренности, которую не заменишь никакими ухищрениями литературного ремесла. Поэтому и беседы с ним о жизни и литературе всегда были глубоко поучительны. Уже будучи большим мастером, он все еще не был удовлетворен своей творческой работой.

...Помню глубокую осень в тихом Пушкине. Мы шли по широкой аллее, шурша золотыми и багряными листьями, устилавшими дорожку. Только что была получена печальная весть о смерти Алексея Павловича Чапыгина. Всегда прямой, бодрый и веселый, Вячеслав Яковлевич ссутулился, посерел и глухо покашливал. Чувствовалось, что он глубоко переживает внезапную утрату.

— Обидно, очень обидно,— наконец вымолвил он.— Природа умна, а иногда вдруг — извольте — бессмысленная жестокость. Подумать только, как глупо умереть от какой-то паршивой болезни!

Чапыгину было всего шестьдесят восемь лет, а мне сейчас — шестьдесят три. Неужели остается жить всего пять лет? Ведь я только сейчас по-настоящему научился писать, и вдруг... обрыв...

Он грустно смотрел вдаль. Над дворцовыми прудами сгущались сумерки. Ажурные решетки парка уходили в вечернюю синь. Высокий, жилистый, будто вырезанный из старого дуба, Вячеслав Яковлевич был полон еще большой физической силы. И как-то само собой у меня вырвался протест:

— Что вы говорите! Чапыгин выглядел стариком, а вы — крепкий сибирский корешок. Будете жить до ста лет!

Он улыбнулся.

— Куда нам...

Вячеслав Яковлевич работал очень много и систематически. Это был редкий трудяга и добросовестный исследователь архивов. Рано утром он уже за столом — зимой в кабинете, летом на широкой веранде. Кругом груды книг, выписок, а перед ним большой бухгалтерский гроссбух, в котором он своим очень разборчивым почерком писал очередные главы «Пугачева».

Зная, что я немало походил по южноуральским степям, в которых когда-то были раскинуты небольшие деревянные крепостцы Яицкой оборонительной линии, Вячеслав Яковлевич настойчиво расспрашивал меня об этих местах, заставлял вспоминать о деталях и особенностях старинного казачьего быта. Под влиянием В. Я. Шишкова я на старом станичном кладбище отыскал покрытую мхом каменную плиту, под которой была могила капитана Тихановского, коменданта крохотной Магнитогорской крепости, не пожелавшего сдаться Пугачеву и повешенного им.

Когда Вячеслав Яковлевич сидел за своим огромным рабочим столом, положив на рукопись жилистые руки, он напоминал мне былинного русского пахаря с мозолистыми руками, который вот только что оторвался от сохи и сейчас, утомленный тяжелой работой, благостно отдыхает от трудов. Много было в Шишкове крепкого мужицкого юмора и мудрости, и вместе с тем он отличался редким терпением и деликатностью, что особенно чувствовалось в его обращении с молодыми писателями. А у В. Я. Шишкова, на его квартире в Пушкине, побывало немало начинающих литераторов, испытав на себе благотворное влияние огромной моральной силы, таившейся в этом человеке.

В. Я. Шишков в свое время получил большую поддержку А. М. Горького и поэтому всегда старался следовать горьковской традиции, оказывая максимальную помощь начинающим. Он всегда внимательно относился ко всякой рукописи, попавшей к нему в руки. Опытный и талантливый писатель, Вячеслав Яковлевич хотел видеть совершенной каждую книгу нового писателя. Малейшие неудачи «подшефного» молодого писателя сильно огорчали его. Он не только давал советы, но часто и сам брал перо, тщательно проходя по строкам рукописи. Терпеливо, умно, осторожно он учил молодых и неопытных литераторов, стараясь вскрыть перед ними причину той или

иной неудачи. Но были случаи, когда его помощью и терпением злоупотребляли.

Однажды зимним днем к нему пришел один «начинающий», пишущий уже лет двадцать, явился к тому же он не один, а привел с собой сына, мальчишку лет двенадцати. «Начинающий» разложил на письменном столе толстую рукопись и заявил старому писателю:

— Хочу, чтобы при мне все прочитали...

Вячеслав Яковлевич отложил свою рукопись и стал вместе с гостем работать.

К счастью, такие посетители были редки.

На мою долю выпало большое счастье: Вячеслав Яковлевич был первым моим литературным наставником.

В 1936 году в Свердловском областном издательстве выходила моя первая книга — сборник повестей и рассказов «Соломонея». Рассказы и повести были внимательно прочитаны и по-дружески раскритикованы Вячеславом Яковлевичем. Его меткие замечания очень помогли мне.

Мало того что Вячеслав Яковлевич был внимательным редактором моей первой книги, он написал к ней и предисловие. В нем, ободряя меня, он указал мне и недостатки.

В. Я. Шишков писал:

«Евгений Федоров еще недостаточно овладел трудным искусством изображать тончайшие душевные переживания своих героев, замечается некоторый схематизм и отсутствие напряженности на протяжении всего произведения».

После выхода книги в «Ленинградской правде» появилась статья В. Я. Шишкова: «Заметки о Евгении Федорове». Отмечая ряд достоинств моих произведений, Вячеслав Яковлевич вновь дает совет:

«Евгений Федоров писатель молодой. Для того чтобы добиться больших успехов, ему надо упорно и настойчиво работать над языком и овладеть тончайшими законами творчества».

В. Я. Шишков был внимательным и умелым воспитателем литературной молодежи. Однако он не был либералом в оценке их работ, и никакими приемами литературного ремесленничества обмануть его было нельзя. Он хорошо умел отличать случайных людей в литературе от подлинно талантливых людей. О себе он говорил: «Я твер-

до решил завоевать себе имя и литературные позиции исключительно упорным трудом, не прибегая ни к каким чуждым литературе способам». Это было его твердым правилом, и никаких поблажек, попустительств он не давал всем тем, кто видел в литературе только средство заработка или временный «отхожий промысел». Он требовал беззаветной преданности советской литературе, как к делу всей жизни, требовал отдаться ему целиком, подобно тому, как он сам изо дня в день весь был поглощен творческим напряженным трудом.

Кое-кто пытался выбить перо из рук писателя. Особенно проявил себя в этом отношении некто К. Малахов, охаявший всю творческую деятельность В. Я. Шишкова. Об этом факте рассказано в книге Вл. Бахметьева «Вячеслав Шишков» («Советский писатель», 1947). Я хочу лишь остановиться на некоторых впечатлениях того времени. Вячеслав Яковлевич был глубоко оскорблен выпадом К. Малахова, но надо отдать справедливость, что, несмотря на это, он не оставил своей работы и с еще большим упорством уходил в нее. Друзья Вячеслава Яковлевича — А. Н. Толстой, К. А. Федин, старый друг семьи Шишковых профессор Л. Р. Коган, а также и его жена — энергичная Клавдия Михайловна — старались смягчить нанесенную ему обиду. Все они были рады, когда, наконец, в «Литературной газете» последовало разоблачение попытки опорочить исторические романы Шишкова. Однако, как бы то ни было, вся эта история отняла у Вячеслава Яковлевича много энергии и подорвала его здоровье. Прогуливаясь по парку в Пушкине, он теперь часто присаживался на скамью и жаловался:

— Отекают ноги, сердце стало пошаливать... Вы, батенька, поймите, как это обидно, на что тратятся силы и здоровье. А ведь работать как хочется.

И Вячеслав Яковлевич не вышел из строя и продолжал писать свое огромное историческое полотно «Пугачев».

Во время Великой Отечественной войны мне долгое время не приходилось встретиться с Вячеславом Яковлевичем. Однако до меня доходили сведения, что Шишковы перебрались в Ленинград. Здесь в условиях блокады, в нетопленной комнате, под бомбежкой, В. Я. Шишков настойчиво работал.

В апреле 1942 года Вячеслав Яковлевич выехал из блокированного Ленинграда в Москву, где мне и довелось с ним увидеться лишь весной 1944 года. Жили Шишковы в то время в двух комнатах на Лаврушинском переулке. Квартиру писателя в Пушкине сожгли фашисты. От большой библиотеки и редкой коллекции фарфора и скульптур каслинского чугунного литья ничего не осталось. Погиб также очень ценный архив писателя и его записные книжки — плод многолетних наблюдений и напряженного труда. В Москву Шишковы привезли свернутыми лишь несколько картин художника Коровина. Но Вячеслав Яковлевич был бодр, весел и полон творческих замыслов. Жизнерадостно держалась и Клавдия Михайловна. Она сообщила мне:

— Его «Пугачева» высоко оценили. Он теперь работает с утра до глубокой ночи. Вот только отрывают его общественные обязанности, но это к лучшему для его здоровья...

Литературные дела Вячеслава Яковлевича действительно шли хорошо. В журнале «Октябрь» печатались главы из второго тома «Пугачева» — яркие, сочные страницы. 3 октября 1943 года Советское правительство за выдающиеся заслуги в области художественной литературы наградило В. Я. Шишкова орденом Ленина. В этот день Вячеслав Яковлевич сказал своим друзьям:

— Сегодня у меня десять лет с плеч долой...

Он с юношеским увлечением говорил о своих творческих замыслах, но больше всего расспрашивал меня о Ленинграде и фронтовой жизни.

— Вы, батенька, что-то плохо выглядите,— обеспокоенно спросил он.

— Перенес дистрофию,— пояснил я.— И с кровяным давлением плохо.

— А вот у меня кровяное давление в порядке,— похвастался он, но тут же поспешил высказать опасение: — Все же приходится торопиться с «Пугачевым». Года ведь на исходе...

Но торопливость его не была простой поспешностью или нетребовательностью к себе как к художнику. Наоборот, он глубже уходил в свои творческие изыскания и, видимо, за счет часов отдыха старался ускорить завершение романа.

Расстались мы счастливые встречей, надеясь вскоре

снова быть вместе. Мне пришлось вернуться на Ленинградский фронт, и лишь спустя много месяцев от Вячеслава Яковлевича пришло письмо, в котором он в обычном для него шутливом тоне сообщал, что получил новую квартиру на улице Горького.

При случайной командировке в Москву мне довелось побывать в этой квартире — большой и светлой, просто и без затей обставленной. В просторной, наполненной ярким светом комнате перед окном стоял стол, а на нем знакомый гроссбух, в котором бежали строки, написанные шишковским размашистым почерком.

«Ну, все в порядке,— радуясь, подумал я.— Кажется, выглядит Вячеслав Яковлевич хорошо и полон сил».

Это так и было. Вся семья Шишковых собралась за чайным столом, и снова было тепло на душе от шуток и метких слов Вячеслава Яковлевича.

Но вдруг он нахмурился, стал грустен. На мой немой вопрос он печально ответил:

— Алеши Толстого нет с нами... Без него как-то холодно, бесприютно... Какой талантище!.. Читали последние главы «Петра»? В них он достиг предельного мастерства. Все ярко, скульптурно, выпукло и зримо простому глазу. Как жаль, что он не прожил еще десять — пятнадцать лет. Что дал бы он еще миру! Густо и ярко писал Алеша... Вот это талантище!

...В последний раз мы встретились случайно у станции метро на Лубянке. Я по заданию командования летел на Урал, и в Москве в моем распоряжении оказалось всего несколько часов. Мы пристроились в сторонке от людской толчеи и стали обсуждать последние военные события.

Меня поразили исхудалость и желтизна его лица. Под глазами набухли мешочки. Между другими вопросами я спросил Вячеслава Яковлевича:

— Как вы себя чувствуете?

Он стал грустен, глаза его убегали от моего пытливого взгляда.

— Ничего, все хорошо...— нехотя ответил он.— Но, кажется, понемногу сдаю... Одного боюсь, что вдруг не закончу своего «Пугачева»...

— Это вы мне второй раз уже говорите,— поторопился перебить его я.— Так нельзя. Надо держаться, чтобы закончить эпопею.

Он улыбнулся, но улыбка вышла какой-то неполной.

Мы горячо простились. Обнимая Вячеслава Яковлевича, я почувствовал, какое у него все еще могучее тело.

«Опасения напрасны»,— подумал я, глядя на него, уходящего в вестибюль метро.

Сердце не подсказало мне тогда, что мы видимся в последний раз. Я улетел на Урал бодрый и счастливый от встречи, выпавшей мне вдруг дорогим подарком.

В. Я. Шишков умер совершенно неожиданно. Морозным мартовским вечером ко мне позвонил директор Ленгослитиздата П. Ф. Герасимов и сообщил, что минувшей ночью не стало В. Я. Шишкова.

Утром пришло официальное сообщение о смерти В. Я. Шишкова.

В этот же день я зашел в книжную лавку писателей. Там работал старый и очень опытный букинист. Он очень любил писателей и всегда знал, кто из них над чем работает.

— Слышали? — с болью спросил меня старик.— Да, уходят мои сверстники... Вячеслав Яковлевич был редкий человек... Золотое сердце...

Я шел по Невскому, мысленно повторяя эти два слова, которые так хорошо охарактеризовали писателя В. Я. Шишкова.

«Золотое сердце... Золотое сердце...»

...Мне не удалось быть на его похоронах. Кто знает, может быть, это и лучше? Я не видел его мертвым. Для меня Вячеслав Яковлевич навсегда остался живым, весело смотрящим с лукаво-добродушным прищуром глаз. Кажется, вот-вот я услышу его приятный, всегда слегка насмешливый басок...

И когда я беру его книги в руки, то с волнением чувствую, что он жив, что он среди нас...

1955—1958

10 Зак. 942

А. В. Пилипенко

ПАМЯТИ В. Я. ШИШКОВА

1931 год. Около пяти-шести часов пополудни, в яркий июньский день через палисадник Дома ветеранов революции в городе Детское Село мимо меня прошел незнакомый, стройный, выше среднего роста мужчина.

Был он без головного убора, в пиджачной паре; русые волосы, чуть с проседью, зачесаны назад; небольшие усы и бородка, охватывающая только подбородок; задумчивый вид; походка легкая, немного раскачивающаяся. Лицо доброе и серьезное.

О том, что это был Вячеслав Яковлевич, я узнал спустя полчаса от старого народовольца Сергея Порфирьевича Швецова, отдыхавшего в Доме ветеранов революции:

— А не встретили ли вы писателя Шишкова? Он нас чуть не уморил от смеха своими «Шутейными рассказами». Вас непременно надо с ним познакомить!

Сергей Порфирьевич Швецов за революционную деятельность был сослан в Сибирь на каторгу еще молодым человеком; после каторги жил там на поселении и занялся исследованием Сибирского края.

По занимавшим его вопросам он написал много талантливых статей и очерков и впоследствии был избран членом-корреспондентом Академии наук.

Там, в Сибири, он и познакомился с Вячеславом Яковлевичем.

По предложению С. П. Швецова, в Доме ветеранов революции был устроен литературный вечер В. Я. Шишкова. Доклад о его творчестве прочитал Л. Р. Коган, друг Шишкова.

Затем выступил Вячеслав Яковлевич. Спокойно, не торопясь, низким, грудным голосом начал читать он один из «Шутейных рассказов». Читал он просто, но с таким

богатством интонаций, что вы живо представляли себе действующих лиц со всеми их особенностями, повадкой, голосом...

То и дело раздавались взрывы хохота слушателей, но чтец был серьезен, спокоен, смеялись только глаза.

Ветераны были глубоко признательны и писателю и литературоведу, которые стали частыми и желанными гостями этого дома.

Я как врач считал, что хороший, веселый час для моих стариков пациентов был делом полезным во всех отношениях.

Так как Вячеслав Яковлевич и Лев Рудольфович Коган категорически отказывались от вознаграждения за свои выступления, я от имени дома просил их пользоваться медицинской помощью, если она потребуется.

На этой почве и началось мое знакомство с семействами обоих, перешедшее потом в дружбу.

Я осторожно, чтобы не устрашить Вячеслава Яковлевича, но в то же время настойчиво потребовал соблюдения соответствующего режима жизни, работы, отдыха и лекарственного лечения.

Еженедельно я осматривал Вячеслава Яковлевича и давал назначения. Принятые меры давали удовлетворительные результаты. После осмотра я провожал Вячеслава Яковлевича по Екатерининскому парку. Во время этих прогулок я узнал, какими большими, интересными, всесторонними знаниями обладал Вячеслав Яковлевич. Он интересовался и вопросами высшей математики, и психологией, и историей, и этнографией, тщательно штудировал труды классиков марксизма-ленинизма; свои мнения высказывал всегда скромно и сдержанно.

Редко встречал я людей, умеющих так хорошо, серьезно и вдумчиво выслушивать других, как Вячеслав Яковлевич. Когда он вас выслушает, то сперва подумает, а потом уже ответит и закончит свой ответ задумчивым басовитым «в-о-о-т». Вообще он любил больше слушать других, чем говорить.

Рассказывал, как жил в Сибири, какие попадались ему типы, в каких местах России был, как путешествовал по Ленинградской области, что видел и слышал...

В связи с работой над «Странниками» Вячеслав Яковлевич рассказывал, как он сделался однажды объектом внимания беспризорников при проезде в трамвае от Ви-

тебского вокзала к Невскому. Парнишка уже залез было в карман, но обратил внимание на хитро прищуренные глаза и подмигивание Вячеслава Яковлевича. Сразу же последовал сигнал «свой», и беспризорники оставили вагон.

С течением времени я сделался непременным посетителем всех праздников и литературных вечеров у Шишковых. Собирались писатели, литераторы, артисты, музыканты. С трогательной заботливостью, чтобы я не затерялся и самолюбие мое не было уязвлено, Вячеслав Яковлевич устраивал меня рядом с собой.

На этих вечерах он был всегда радушен, остроумен, весел. За ужином иногда выпивал рюмочку-другую водки и, хитро прищурившись, смотрел искоса на меня, своего соседа. Но выпить лишнюю отказывался, ссылаясь на лечебную дисциплину, это было для всех убедительно, так как к этому времени здоровье Вячеслава Яковлевича резко ухудшилось.

За этот период я уже познакомился со всеми произведениями Вячеслава Яковлевича, которые он мне дарил с трогательными надписями в знак памяти и дружбы.

В 1933 году вышла первым изданием с иллюстрациями «Угрюм-река», которой зачитывались так, что я вынужден был подаренную мне книгу с надписью спрятать, чтобы она не затерялась. Как-то Вячеслав Яковлевич показал присланный ему экземпляр, который состоял уже из одних разрозненных и почти истертых листков, до того был зачитан. Эта книга радовала Вячеслава Яковлевича, так как показывала интерес к данному произведению.

В 1934 году Вячеслав Яковлевич заговорил впервые о «Пугачеве» и начал собирать материалы. Все, что касалось эпохи Пугачева и предшествующих исторических событий, попадало в поле его зрения и вызывало живой отклик. Архивные материалы, сочинения, заметки перерабатывались творческой мыслью писателя в яркие, незабываемые образы. Как сейчас помню: небольшой кабинет, обставленный спокойной, уютной, старинной мебелью, и огромный письменный стол, заваленный тетрадями и стопками исписанной бумаги. Творчество творчеством, но мне Вячеслав Яковлевич был дорог и как человек, а потому мне были важны всякие сведения, на-

пример, о том, что ночью Вячеслав Яковлевич не занимается, а работает только в первой половине дня.

Летом работа шла на незабываемой веранде, закрытой с улицы цветными стеклами и полностью открытой на северо-запад, в сад двора,— это Московская улица, 7, квартира 2, в городе Пушкине.

Вячеслав Яковлевич — в рубашке, расстегнутой на груди, кругом — бумага и бумага...

Когда я убеждался беглым осмотром, что приход «целителя бренных тел и друга душевного» (так называл меня Вячеслав Яковлевич) не является помехой делу, то задерживался; пили чай и слушали написанные главы «Пугачева». Напечатанные на машинке главы я получал для прочтения на дом.

Исключительно внимательно Вячеслав Яковлевич прислушивался к чужому мнению, удачной мысли, образному слову, ссылке на какое-нибудь историческое сведение...

Я изумлялся этому огромному охвату эпохи, событий, социальных слоев, людей... Еще не разработан был полностью первый том «Пугачева», а некоторые главы для второго были уже готовы в 1934—1935 годах.

Все впечатления и воспоминания о Вячеславе Яковлевиче неразрывно связаны с Клавдией Михайловной — его женой. Клавдия Михайловна создала уют и нужный комфорт, разумный, спокойный, домашний режим. Ее заботам о Вячеславе Яковлевиче не было предела. Она была верной и неутомимой его помощницей: выполняла поручения по собиранию архивных сведений, перечитывала написанные главы и снова их неоднократно переписывала после переработки.

Первая половина 1938 года для Вячеслава Яковлевича была светлой: в журнале «Литературный современник» появились главы первого тома «Емельяна Пугачева». Как радовался Вячеслав Яковлевич, получая со всех сторон отзывы читателей о своем творении. Отзывы удовлетворяли его и стимулировали к дальнейшей работе. Он был весел, бодр, работоспособен. Длинный стол на веранде во время работы заполнялся все большими грудами книг и стопками перепечатанных страниц. Для первого тома он наметил еще целый ряд глав, которые и вошли потом в отдельное издание 1941 года.

Но вот примерно в июле месяце (1938 года) появи-

лись в двух газетах критические заметки о «Пугачеве». У всякого, знающего историю, при чтении этой критики могло родиться в душе только чувство брезгливости. Мнение всех, окружавших Вячеслава Яковлевича, относительно этой критики было вполне определенное: ее единодушно оценили как клевету. Ближайшие друзья — Алексей Николаевич Толстой, Лев Рудольфович Коган и другие — всячески старались успокоить Вячеслава Яковлевича. Он соглашался, подбадривался, а по уходе друзей снова предавался мрачным мыслям и незаслуженной обиде. В отношении моего дорогого пациента эти «критики» добились своего: работа уже не клеилась; поездка на Волгу и Урал, о которой он говорил и мечтал еще с зимы, не состоялась. Вячеслав Яковлевич похудел, почернел; лицо было как у людей, перенесших большое внутреннее горе или тяжелую болезнь, и вскоре эти переживания подорвали его физические силы. Появились отеки на ногах, усилилась одышка. Учитывая возраст, состояние сердца, легких, положение Вячеслава Яковлевича нужно было трактовать как тяжелое. Постельный режим, уход Клавдии Михайловны, лечение, участие друзей, скрытые природные силы — все это вместе способствовало победе над болезнью тела и духа, здоровье Вячеслава Яковлевича начало восстанавливаться, крепнуть.

Осенью Шишков решил отправиться в Москву, чтобы самому выяснить отношение столичной писательской общественности к «Пугачеву». «Есть ли у вас кто-нибудь из близких людей, кто мог бы помочь вам делом?» — спрашивал я. «Есть у меня приятель, друг, чистый душою человек — Бахметьев, я к нему и обращусь»,— отвечал Вячеслав Яковлевич. Настроение у него было тихое, сумрачное, но решительное. Он подготовился «драться» за свое детище. Мы, все окружающие, поддерживали его в этом намерении, и Вячеслав Яковлевич уехал...

Результат поездки оказался удачным. Вячеслав Яковлевич возвратился из Москвы «со щитом». Вернулось прежнее выражение лица, появились бодрая походка, улыбка, шутка, работоспособность. Он снова с увлечением принялся за «Емельяна Пугачева».

В 1941 году, уже во время войны, вышло отдельным изданием историческое повествование «Емельян Пугачев», книга первая.

10 июля 1941 года Вячеслав Яковлевич преподнес мне экземпляр издания с надписью: «Дорогому А. В. Пилипенко на добрую память от автора, с крепкой любовью». А после своей подписи прибавил: «10.VII-41 г., год тяжелых испытаний, г. Пушкин».

Примерно в конце августа Шишковы вынуждены были переехать в Ленинград, так как город Пушкин подвергался вражеским налетам значительно чаще, чем Ленинград. Я с семьей перебрался в Ленинград немного раньше, в середине августа. Перед лицом общего бедствия Шишковы свои интересы считали ничтожными, а потому махнули рукой на все имущество. Вся семья поселилась по каналу Грибоедова в доме № 9, квартира 78, на пятом этаже, в комнатке, принадлежавшей Раисе Яковлевне (матери Клавдии Михайловны).

Вячеслав Яковлевич не изменил своего образа жизни. Его измучивала только бомбежка. Бомбы и снаряды часто рвались в этом районе; одна угодила в дом. Нелегко было Вячеславу Яковлевичу спускаться с пятого этажа в бомбоубежище, иногда по нескольку раз в день. Сказывалась уже и ограниченность питания, и Вячеслав Яковлевич и Клавдия Михайловна сильно похудели, но тем не менее при встречах выставляли на стол все, чем можно было угостить, а когда я было отказался от чая и еды, говоря, что сыт, Вячеслав Яковлевич заявил, что меня нужно «заснять, заснять», как единственного сытого человека.

В октябре или ноябре Шишковым удалось получить комнату в третьем этаже того же дома. Комната была больше, удобнее, а главное, по этой же лестнице было довольно хорошее бомбоубежище, и Вячеславу Яковлевичу стало намного легче спускаться в бомбоубежише.

20 октября 1941 года я был призван в армию и явился в госпиталь, который помещался в конце Лесного проспекта; трамваи уже не ходили, вода в разных местах заливала улицы, замерзали террасами снежные бугры. Больше я уж не встречал Шишковых в Ленинграде,— они уехали 1 апреля 1942 года в самый разгар голода, холода, смерти. Посыльный Вячеслава Яковлевича искал нас, но не нашел. Он хотел что-то передать мне...

Этот период был так тяжел, что до конца 1942 года я не пытался наладить связь с Вячеславом Яковлевичем, только в декабре 1942 года через Союз писателей послал

ему письмо, в котором описал вкратце все пережитое: как боролись с голодом и холодом, и выражал радость о своевременном выезде Шишковых из Ленинграда.

8 января 1943 года получил от Вячеслава Яковлевича открытку. Он тепло поздравлял меня и жену с Новым годом и радовался возможности начать переписку. Сообщал о трудности найти в Москве квартиру. Но письмецо было бодрое, и это меня очень обрадовало.

Условия военного времени позволили мне лишь осенью подробно написать Шишковым о нашей жизни в Ленинграде.

В ответ мною получено было письмо, которое я позволю себе частично процитировать:

«Москва, 10.IX-43 г.

Милые и дорогие Ксения Васильевна и Андрей Владимирович!

Очень рады были получить от Вас письмо, а то мы опять потеряли Вас из виду. Чудесно, что Вы приспособились к тяжелейшим условиям блокады, я бы этого не мог, обязательно умер бы. Рад за Вас, что оба Вы стоите на весьма нужных позициях, что приносите людям большую пользу и в этом находите душевное удовлетворение. И что хорошо обеспечены питанием...» И далее: «Несмотря на то что питаюсь сытно, разнообразно, и чай внакладку пью, и масло ем, а ни капельки не жирею, все такой же с виду заморыш. Но чувствую себя, в общем, хорошо, хожу без одышки и очень трудоспособен, работаю много, больше, чем полагалось бы для моего древнего возраста. Пишу вторую книгу «Пугачева», конец виден, вероятно, к Новому году закончу. Второе издание выйдет, вероятно, в конце сентября, к моему семидесятилетнему юбилею, который будет отмечен Союзом писателей 4 октября. Семьдесят лет! Караул!..»

Он радостно сообщает о предоставлении ему квартиры и путевки в превосходный дом отдыха в Архангельском, под Москвой. Но мечта влечет его дальше. Победы окрыляют его. Он «бегает» с женой на Москву-реку слушать залпы и любоваться фейерверками.

«Эх, если бы Вы были с нами! — пишет он.— Ну, да как-нибудь встретимся и поживем «вместях». Хорошо бы в Полтавщине пожить — зимой в Полтаве, а летом где-нибудь на хуторе близ Диканьки. Во! Чуть не забыл го-

рячо поздравить Вас обоих с получением медалей за оборону Ленинграда. Вы поистине заслужили! Честь и хвала Вам вовеки! Перестрадали Вы в зиму 41—42 гг. ой-ой сколько! Знаю! По слухам, я тоже награжден этой медалью, но она еще не вручена мне».

8 января 1944 года я получил большое письмо от Вячеслава Яковлевича.

Он горячо поздравлял меня с получением ордена. писал о хороших условиях жизни, обеспеченных ему в Москве.

«...Осенью жил (отдыхал) в Архангельском, под Москвой, первоклассный санаторий для высшего и старшего командного состава. Там знаменитый Юсуповский дворец (б. кн. Голицына), дивный парк, лес. Там и получил известие по радио о награждении. Торжественное заседание в Союзе было устроено по моем возвращении. Провели его чудесно. Получил несколько приветственных адресов, много писем с фронта, более 50 телеграмм со всех концов страны. Понял, что читатель меня любит. Это утешительно. Бодро. Работаю много, к работе тянет, без работы не могу жить. Заканчиваю вторую (и последнюю) книгу «Пугачева». Работаю сейчас взятие Казани. Есть ли у Вас I том, вышедший в Ленинграде? Кажется, есть. Тогда пришлю Вам повесть «Прохиндей» из пугачевщины, похождения ржевского купца Долгополова. Эта повесть в переработанном виде войдет во II том.

В Ленинграде переиздается «Угрюм-река» — будет в одной книге. А здесь переиздается первый том «Пугачева». Второй том печатается в московском журнале «Октябрь» и вскоре начнет печататься в журн. «Звезда» в Ленинграде. Почитайте, буду рад.

Здесь для меня климат более по душе, чем в Ленинграде, кашля почти нет. Сердце тоже ничего себе, давление 135. Изредка ходим в театр. Недавно смотрел в Худ. театре «Царь Федор Иоаннович» с Москвиным (праздновали 40-летний юбилей постановки). Москвин вел роль изумительно, удержаться от слез было невозможно».

* * *

Это письмо было по моей вине последним. Большая нагрузка в госпитале, а потом перевод в состав Первого Белорусского фронта, огромная работа и усталость не

дали мне возможности поддерживать переписку. Я мечтал только, что после войны удастся как-нибудь устроиться в хорошем климатическом месте, переманить туда Вячеслава Яковлевича с семьей и всячески поддерживать по мере сил моих его физические силы. Как показывают письма, духом он был бодр и молод, без творческой работы не мог жить.

Когда в середине марта мне вручили «Известия» от 6 марта 1945 года с портретом Вячеслава Яковлевича в траурной кайме, сердце замерло.

1954

Д. Г. Френкель

ОН ЛЮБИЛ МУЗЫКУ

В апреле 1937 года я прочел роман В. Я. Шишкова «Угрюм-река». Сила воображения писателя, мастерское описание природы, характеров действующих лиц поразили меня. Особенно поэтичными показались первые части романа. Возникла мысль о создании оперы на эту тему. Я написал письмо Вячеславу Яковлевичу, в котором высказывал свои первые соображения. Ответ писателя обрадовал меня чрезвычайно. Он положительно отнесся к моему замыслу и приглашал к себе, в город Пушкин, для обсуждения сценарного плана.

Я приехал в город Пушкин в конце мая. Было это под вечер. С волнением остановился я у двери с табличкой: «В. Я. Шишков». Меня проводили по небольшой лестнице во второй этаж. У порога стоял высокий, с сильной проседью худощавый человек, с внимательным взглядом очень спокойных глаз. На вид Вячеславу Яковлевичу было не больше пятидесяти лет, хотя в действительности ему в то время было уже за шестьдесят.

Познакомились. Неторопливым жестом Вячеслав Яковлевич пригласил меня в кабинет. Небольшая комната, красивая мебель, дорогие картины, книги... книги... очень много книг. Первое, что мне бросилось в глаза,— это издание «Угрюм-реки» на чешском языке. «Чехам нравится ваш роман?» — спросил я. Вячеслав Яковлевич кашлянул и ответил глуховатым баском: «Да, ничего, одобряют». Он вообще никогда за все время нашего знакомства о себе не говорил. Ни малейшего желания похвалиться чем-либо, порисоваться. Простота, естественность и спокойствие были органическими чертами этого человека, и оттого с ним было легко и просто.

Когда речь заходила о героях его произведений, он загорался.

Глаза блестели, как у юноши. Однажды я выразил восхищение силой описанных в «Угрюм-реке» характеров. «Как это вам удалось схватить их?» — спросил я.

Вячеслав Яковлевич встал, начал ходить по комнате. «Вот так,— сказал он,— я хожу и вижу: и они со мной. Вот здесь — Анфиса, Петр, Прохор. Они не давали мне покоя все время, пока я их писал. Да разве иначе можно работать? Нужно все видеть и переживать со своими героями, иначе произведение будет неминуемо холодным и мало убедительным. Курите? — спросил он и, узнав, что не курю, пошутил: — Напрасно! Курение для пищеварения хорошо».

Вячеслав Яковлевич очень много курил, и на письменном столе у него всегда лежало множество разных красивых коробок с папиросами.

В первый же вечер мы наметили сценарий оперы. Жена Вячеслава Яковлевича — Клавдия Михайловна, гостеприимная и милая хозяйка, пригласила к столу. За чаем все было так же просто, как и во время работы. Домой я уехал чрезвычайно довольный и будущей работой, и знакомством с выдающимся писателем, простым и вместе с тем очень своеобразным человеком.

С этого времени, в 1938—1939 и в сороковых годах, я был частым гостем в доме В. Я. Шишкова. Сюда к нему наезжали артисты, писатели, друзья. Всегда кого-нибудь застанешь, и это не утомляло хозяев. Бывало, спросишь: «Когда вы работаете? У вас ведь всегда люди?» — «Мне люди не мешают,— отвечает Вячеслав Яковлевич.— Если уж слишком шумно, иду в парк, там хорошо думать». Действительно, в Екатерининском парке хорошо думалось. Прогулки с Вячеславом Яковлевичем были для меня особенным удовольствием. Он шагает рядом со мной — высокий, стройный. Густые волосы спадают прядями по обе стороны лба. Прищурит всезнающие глаза и кашлянет: «Вот когда-нибудь все города будут у нас, как этот парк. Помяните мое слово... много воздуха, зелени,— простор человеку нужен. Будущие социалистические города — это города-сады, и это обязательно будет».

Он верил в светлое наше будущее, и в самые трудные времена эта вера в нового, сильного, смелого и свободно-

го человека не покидала его. «Пишу пугачевскую историю,— как-то сказал он мне.— Вот где сокровищница для писателя. Что за человек! Что за сила!»

Он весь был тогда погружен в материалы пугачевского движения, и знания его в этой части истории были понастоящему глубоки.

Я иногда проигрывал отдельные номера из будущей оперы. Вячеслав Яковлевич слушал с вниманием и волнением. Если нравился отрывок, кивал в такт музыке головой и говорил: «Вот это хорошо!»

Он очень любил музыку, особенно оперы. «Никакое драматическое действие не даст вам таких глубоких переживаний,— говорил он,— как музыкальное раскрытие образов. Сделайте из «Пиковой дамы» пьесу, и сразу потускнеет все, несмотря на отличную игру актеров. Еще важно и то, что опера — наиболее народный вид искусства». Это мне часто повторял Вячеслав Яковлевич.

Была в Вячеславе Яковлевиче, с первого взгляда, некоторая суровость, замкнутость. Эти черты сродни его героям — сибирским искателям, людям, закаленным в жестокой жизненной схватке. Но так только казалось. Все, кто знал его близко, знали его отзывчивость, душевное расположение и внимание к каждому человеку, но именно потому, что эти черты не носили показного характера, что не было в них фальши, вежливого холодного участия, еще дороже было его ласковое и прямое слово. А он никогда не запутывал свою речь туманными, обтекаемыми формулировками. Скупой на слова, говорил все прямо и честно — как чувствовал.

Во время войны судьба закинула меня в далекий Чкалов. Опера была закончена, но осуществить ее постановку в то время оказалось делом трудным. О Вячеславе Яковлевиче слышал, что в конце блокады он выехал из Ленинграда в Москву и теперь живет с семьей в Москве. Неожиданно получил письмо. Вячеслав Яковлевич подробно интересовался моей жизнью, бытом, творчеством, а о себе писал, как всегда, скупо и мало. Завязалась переписка. И в декабре 1943 года я получил, по ходатайству Вячеслава Яковлевича, вызов в Москву в Комитет по делам искусств для показа оперы.

Ранним морозным утром приехал я в Москву. Слепыми громадами стояли затемненные здания. Удалось остановиться в гостинице. С нетерпением ждал я полдня,

чтобы отправиться к Вячеславу Яковлевичу. Какой он теперь? Прошло почти три года со дня нашей последней встречи в Ленинграде. В двенадцать часов позвонил ему по телефону. Знакомый спокойный голос приветствовал меня. Через десять минут я стоял в небольшом номере. Первое, что увидел,— письменный стол и пишущую машинку, а за столом Вячеслава Яковлевича. Он такой же. И вместе с тем что-то новое проступило в его облике. С живостью, для него необычной, стал расспрашивать меня о Чкалове, о работе писателей и композиторов. Помолчали.

«Да, много зла нам принесли фашисты! Ох как много!» — сказал Вячеслав Яковлевич. Я с грустью узнал, что дом, в котором жил он в Пушкине, разрушен, что все имущество Шишковых погибло, что все дворцы в Пушкине разворованы и разбиты врагом.

О Ленинграде Вячеслав Яковлевич говорил с чувством великой гордости: «Пример доблести русских людей. Вот что такое ленинградцы!»

Об ужасах блокады он рассказывал неохотно, больше говорил о защите города и его защитниках. Сильно кашлял. Чувствовалось, что он слаб. Несмотря на возраст и усталость, Вячеслав Яковлевич продолжал работать с энергией прошлых лет. «Вот заканчиваю вторую часть «Пугачева». Есть еще планы. Многое еще надо сделать».

Только так, до конца страстно любя свое дело, как любил его Шишков, можно создавать истинно художественные произведения. Его перо не остановили ни снаряды вражеских пушек, ни голод.

Я простился с Вячеславом Яковлевичем и почувствовал в себе частицу этой неутомимости, этой неукротимой энергии. Больше мне его увидеть не удалось.

1955

Н. Тихонов

ВОСПОМИНАНИЕ

Однажды, ранней весной, я поехал в Пушкин навестить больного друга. Друг мой был ученым, литератором и альпинистом. Я знал, что он болен, тяжело болен, но не видел его несколько месяцев. Потом мне сказали, что он лежит в Доме ученых в Пушкине, там еще нет отдыхающих, и ему отвели небольшую комнату, где он находится почти в одиночестве, так как мало кто его навещает в его печальном уединении. Я увидел наконец больного и должен был сдержать свое волнение, потому что не предполагал, что жестокая и мрачная болезнь так быстро изуродует здорового, крепкого, жизнерадостного человека.

Прежде он был широкоплечим, бодрым, натренированным спортсменом, с выразительным лицом, и только несколько грустные глаза придавали ему меланхолическое выражение. Теперь передо мной сидел скелет, на плечах которого, как на вешалке, болтался пиджак, а часть лица представляла неподвижную маску, сделанную из папье-маше и не очень хорошо раскрашенную. Глаза были уже не грустные, а с каким-то оловянным блеском скользили по пришедшему, как будто спрашивали: правда, я так страшен? Правда, все идет к концу? Я был глубоко опечален этой картиной, и мне большого труда стоило сдерживать себя, чтобы больной не почувствовал ужаса, который вырастал во мне при виде этого живого мертвеца. Единственное существо, которое помогало больному приподыматься, подкладывало подушки под его спину и передвигало его кресло, была девушка, с бледными щеками, тонкими, бескровными губами и глазами, покрасневшими от бессонницы. Этот близкий ему человек иногда взглядывал на меня с такой жалобной просьбой, как будто умолял не подавать виду, что все

плохо, и говорить обыкновенным голосом про обыкновенные вещи.

Когда я оставил этот дом уныния, у меня было очень смутно на душе. Я знал моего друга, когда он совершал восхождения в горах, сидел у бивуачного костра, учил молодых искусству скалолазания, полон был рассказов про скалы, вершины, ледники. Он читал стихи о горах и написал книгу о восхождении на гору Святого Ильи на Аляске. То, что я сегодня видел, никак не вязалось с мужеством и энергией горовосходителя, с душевным весельем и чистой радостью горных вершин.

На улице было свежо. Лужи подмерзли. Черные деревья парка были нарисованы углем на красном полотне заката. Я хотел сбросить тяжелое ощущение, вдохнуть настоящей, полнокровной жизни после страшного зрелища обреченности и отчаяния.

Я оглянулся и зашагал к дому, который был мне хорошо известен и который был мне сегодня нужен, как никогда, потому что там вы вдыхали бодрость, наслаждались остроумием, а самое широкое гостеприимство не докучало вам, а располагало к широкой и свободной беседе.

Это был маленький уютный дом Вячеслава Яковлевича и Клавдии Михайловны Шишковых. Когда карикатуристы изображали Шишкова, то обычно рисовали его в колючей дохе, в большой меховой шапке, с острой, колючей бородкой. Одним словом, он со всех сторон был колючим и походил не то на таежного охотника, не то на арктического исследователя. На самом деле Вячеслав Яковлевич был человек предобрый, ласковый и любопытный до людей. Общительный как хозяин, он был неиссякаемым рассказчиком, человеком, видевшим в жизни так много, что надо было бы написать не менее ста книг, чтобы записать все, чему он был свидетелем.

Будучи значительно старше нас, писателей младшего поколения, вошедших в литературу с Октябрем, он, однако, не уступал нам в молодой зоркости и страстной преданности литературе. Язык его был исполнен чисто народного юмора, соленого, подчас и ехидного, но доставлявшего большое удовольствие слушавшим его. Проведя много времени в Сибири, на Алтае, на Урале, он в советские годы писал романы, посвященные далекому прошлому этих краев, но сам он производил такое впечатле-

ние на читателей своими произведениями, особенно юмористическими, что кто не знал его лично, мог думать, что он молодой человек, такая свежесть жила в его рассказах, такой молодой голос был у автора. Да, это было не только в рассказах. И в жизни он был ищущий, жадный до новых впечатлений человек.

Имея удивительный глаз, память и слух, тот нужный писателю слух, который улавливает самые тонкие оттенки народной речи, он мог живо воспроизводить и массовые народные сцены, и те незабываемые пейзажи родной земли, которые поэтичны и содержательны. Он сам раз написал: «Как-то ехали мы с крестьянином по тайге верхами. Крестьянин сказал: «Скоро зима ляжет: лес-то задумываться стал».

Человек большого душевного здоровья, русской широкой души, Вячеслав Яковлевич и в тот давно миновавший вечер, вместе с чудесной хозяйкой Клавдией Михайловной, очень помог моей мрачной настроенности, ничего не зная о ней. Такова была дружеская, теплая, откровенная беседа за столом, так много говорилось о литературе, с тем большим охватом и жаром, от которого сегодня как-то отвыкли, что и моя холодная мрачность оттаяла, как будто это человеческое тепло меня согрело и утешило в чем-то самом главном.

Я помню хорошо еще один далекий вечер в так называемом Диске. Диск — это сокращенно Дом искусств. Образован он был по почину М. Горького, чтобы в трудные годы гражданской войны объединить писателей, артистов, художников и создать объединение мастеров, которые могли бы преподавать желающим все «тайны» литературного и художественного искусства. Члены Диска получали пайки и жили в комнатах, как в гостинице. Дом этот раньше принадлежал одному из страшных богачей — братьев Елисеевых, и его парадные комнаты были обставлены старинной мебелью. Были даже скульптурные работы известных французских мастеров и картины музейного значения. Эти комнаты и залы старого миллионера заполнились шумной, напористой, талантливой молодежью, которой почтенные писатели и поэты выносили свои суждения об их юных опытах.

Иногда там устраивались веселые вечера шуток и живого кино, в которых мы — молодые литераторы — участвовали со всем пылом юности, кипевшей в нас.

Один из этих вечеров, когда смешивались люди самых разных течений в литературе, разных талантов и возрастов, был открыт очередной шуткой талантливого Льва Лунца — живым фильмом «Фамильные бриллианты Всеволода Иванова». В этом фильме играли все присутствующие писатели. Он был талантливой пародией на заграничные фильмы. Все веселились до слез, так как Лунц был незаменимым конферансье и смешил гостей непрерывно.

После фильма Константин Федин читал новые главы еще незаконченного романа «Города и годы». Потом читались стихи. Потом был суд, шуточный, конечно, над присутствующими в зале. Был организован специальный трибунал, и из публики таскали в этот суд всех, кто был замечен в равнодушном отношении к происходящему.

Тогда же на этом вечере выступил Вячеслав Яковлевич Шишков. Он читал только что написанный рассказ «Спектакль в селе Огрызове». Слушатели хохотали так раскатисто, как запорожцы. Рассказ вызывал особый, какой-то чувственный хохот, нельзя было не смеяться. Автор читал мастерски, как будто сам играл за всех действующих лиц. И тогда показался он таким молодым и даже озорным, что всем стало весело.

И позже меня очень обрадовало, что с чисто юношеской легкостью взял он котомку и палку и пешком пошел по Ленинградской области, по ее дорогам и тропам, чтобы своими глазами видеть жизнь тогдашнего сельского жителя. После этого длительного пешего путешествия он написал книгу очерков, где показал, как надо писать о деревне.

Сдружившись с Эпроном, Шишков много провел времени на борту кораблей, уходивших в интереснейшие рейсы. Он знал поля и леса русские, и в этом знании и интересе лежала большая любовь к народу. Он был привлекательным человеком. Если с ним раз встретишься, будешь всегда помнить и тянуться, как к настоящему, большому человеку. Он был очень талантлив, и этот талант был врожденный, питавшийся отнюдь не книжным богатством, а богатством окружавшей действительности.

В «Угрюм-реке», в «Пугачеве», в «Пейпус-озере» он смело изображает природу, всем знакомую и в то же время заново ощущаемую, по-новому поданную. С ним был такой случай. Когда он работал в тайге, в Сибири,

кажется техником по прокладке дороги, он жил в палатке, спал на складной кровати. Однажды, утомившись в жаркий летний день, он заснул в своей палатке на своей койке. Он не был выпивши и прекрасно помнил, как он лег спать. Но проснулся он, как во сне, как на другой планете. Он лежал на складной кровати, но в таком незнакомом месте, в каком он никогда не был. Точно его во сне какой-то джинн перенес за тысячу верст, в глухую, нелюдимую тайгу. Он сел на кровати. Огромные незнакомые деревья, незнакомая полянка, кусты, которых он никогда не видел. Он встал и прошелся по полянке; кругом тишина вековой тайги, глушь, дичь. Он просто испугался этой таинственности. И никак не мог объяснить себе, что произошло.

Оказывается, над ним подшутили приятели. Когда он крепко заснул, они занесли его в сторону от палаток шагов на тридцать, в глухую чащу, и там оставили.

Они думали, что он растеряется, испугается, будет звать на помощь. Пока он допытывался, в чем дело, им руководило лишь любопытство, и только потом удивлялся, как резко за несколько шагов от незнакомого места изменяется природа. Но он, как писатель, как раз в изображении природы находил всегда новое, своеобразное, глубокое там, где, казалось, уже всем все пригляделось.

Он был большой гражданин своей страны. Когда пришли трудные дни войны, дым пожаров закрыл окрестности Ленинграда и в Пушкине уже хозяйничали фашисты, Вячеслав Яковлевич не эвакуировался из осажденного Ленинграда. Он жил в городе-крепости, под свистом снарядов и грохотом падавших бомб. Он знал, что такой гостеприимный, такой маленький друг, как его домик в Пушкине, вместе с садом, к которому он привык, погиб в огне нашествия, остались лишь воспоминания о добрых, полных творческих трудов днях в тишине старого городка.

Налицо были мрак, голод, обстрелы, враг штурмовал Ленинград с земли и с воздуха, и надо было не только не терять мужества, быть на высоте духовной мобилизованности, тушить «зажигалки», переносить все лишения, связанные с осадой. Надо было работать над романом. Он вывез драгоценные материалы и рукописи, и в городе, и позже, когда эвакуировался, он не прекращал работы.

Возраст не играл роли. Опасностей он не боялся. Фи-

зически был силен, обладал крепким здоровьем. Кроме того, в нем жил дух патриота и воля к сопротивлению.

Я встретил его уже в Москве. Он изменился, похудел, как будто стал выше ростом, но такой же острый огонек бегал в его чуть сощуренном взгляде, как и во времена нашей молодости.

Он был настоящий русский самородок. Русский самородок — это явление особое в природе. Самородки других стран не могут сравниться с русскими самородками. Они отличны от русских тем же, чем отличен русский характер от любого иностранного. Эти своеобразные черты, свойственные только русскому человеку, неповторимы, но и самородки очень различаются друг от друга, как драгоценные камни.

Если взять такого самородка, как Горький, то надо признать, что он поистине является венцом, вершиной возможностей этого удивительного человеческого племени.

Среди русских самородков есть такие характеры, которые ставят свой знак мастера на все сделанное ими, и этот знак сообщает их произведению долгую жизнь. К таким мастерам, по-моему, принадлежал и Вячеслав Яковлевич Шишков. Он был верен русскому слову, русской природе, русскому советскому человеку. Он умел изображать его в определенный период, не только как современник, но и как исторический писатель, смело приподнявший завесу, отделяющую нас от прошлых времен.

Я был в Болгарии, когда узнал, что в Москве скончался Вячеслав Яковлевич. Я не видел его в гробу и не могу представить его мертвым. Когда в пушкинский юбилей я приехал в город Пушкин, я нарочно не пошел той знакомой улицей, и когда наступил вечер, у меня было странное ощущение, что я могу пойти к нему в гости, что дом стоит, как стоял, что меня ждут гостеприимные хозяева и что только неотложные дела заставляют меня уезжать в Ленинград, не постучав в знакомую дверь.

У меня действительно были неотложные дела, и я уехал.

1946—1955

И. Соколов-Микитов

ДАВНИЕ ВСТРЕЧИ

Помню наш разговор с А. М. Горьким за границей. Мы беседовали о России, о Ленинграде, о советской молодой литературе и литераторах, прокладывающих новые пути и дороги.

Вспоминая о ленинградских писателях, Алексей Максимович первым назвал имя Вячеслава Яковлевича Шишкова. Это понятно. Мы говорили о России, и само собой первым вспомнилось имя писателя, в высшей степени русского.

С Вячеславом Яковлевичем я познакомился, помнится, в пятнадцатом году, во времена первой мировой войны. Он был начинающим, но уже не молодым по возрасту писателем, вступавшим на путь первой известности. В Петроград Вячеслав Яковлевич перебрался тогда по вызову Горького, с большим вниманием относившегося к новому автору, в котором Алексей Максимович угадывал большой и своеобразный талант.

Очень хорошо помню первое впечатление от встречи. От Вячеслава Яковлевича мы вышли обогретые его приветливостью, юмором, милой человеческой теплотой. Эта человеческая теплота, русская приветливость, умение весело пошутить и обойтись с каждым гостем и новым знакомым были основным свойством Вячеслава Яковлевича, живого, русского, прекрасного человека.

Все, кто близко знал В. Я. Шишкова — его знакомые и друзья,— сохраняют о нем самую светлую память, память о хорошем, верном товарище, любимом друге, прекрасном писателе, отзывчивом и сердечном человеке.

В Вячеславе Яковлевиче превосходным образом сочетались человеческие качества его души со свойствами и качествами его литературного таланта. И в личной

жизни, и в своих писаниях он одинаков. В этом он напоминает нам А. П. Чехова — человека и писателя одинаково привлекательного.

Вячеслава Яковлевича искренне любили его друзья и его многочисленные читатели, разбросанные в просторах родной страны, искушенные и не искушенные в чтении книг. Нас, близких друзей, тянуло к Шишкову его гостеприимство, наблюдательный и острый ум, умение радоваться чужим радостям, делить чужие горести.

На огонек шишковской квартиры охотно сходились самые разнообразные люди, знакомые и друзья. Сходились писатели, художники, водолазы, ученые и неученые, музыканты, студенты, врачи. Вспоминать шишковские вечера приятно, особенно приятно вспоминать самого радушного хозяина, его добродушную, чуть лукавую улыбку, шутливые и серьезные разговоры, чудесные шишковские пироги.

Из шишковского дома засидевшиеся гости уходили на пустынные улицы Детского Села веселые, немного хмельные, согретые человеческим теплом домашнего шишковского очага.

Вячеслава Яковлевича любили слушать его многочисленные читатели, всегда переполнявшие аудитории, когда он выступал публично. Его шутейные рассказы, их доходчивость, добродушный юмор неизменно вызывали дружный смех. И с шишковских вечеров слушатели уходили обогретые теплом шишковского веселого и понятного всем слова.

В. Я. Шишкова очень любили дети, его юные читатели. В нем они чувствовали своего, им очень близкого и понятного. Им нравилось его лицо, его голос, его веселые и понятные шутки.

Однажды я видел Вячеслава Яковлевича, окруженного детьми. Это происходило в Ялте, в санатории для туберкулезных детей, где лежала моя тяжело болевшая дочь. Больные дети окружили его шумной толпой, они жались к нему, заглядывали в его лицо. Он шутил, разговаривал с ними, читал свои рассказы. И я видел, как на лицах больных детей, заключенных в стенах санатория, зажигался радостный свет жизни. Общение с писателем Шишковым было для них самым радостным событием, лучше всяких лечебных процедур поднявшим тонус их жизни, надолго их ободрившим.

Вячеслав Яковлевич не был ни охотником, ни рыболовом. В его руках я никогда не видел ни удочки, ни ружья, но он обладал глазом и чутьем настоящего охотника, любил природу и нашего брата-охотника, любил пошутить, послушать охотничьи колоритные разговоры, изображать которые он был большой мастер. Думаю, и на охоте он не ударил бы в грязь лицом. Он любил и знал природу родной страны, знал Сибирь и тверскую деревню.

В личной, писательской жизни Шишкова было больше дней солнечных и счастливых, чем дней ненастных и непогожих. Судьба к нему благоволила. В годы расцвета его таланта и продуктивной работы здоровье и личное счастье ему не изменяли. И работать он умел усердно, не отрываясь, не расходуя сил на житейские невзгоды, не вкушая отравы горьких утрат.

До старости — впрочем, Вячеслав Яковлевич никогда не казался стариком — Шишков сохранил молодое сердце, бодрость духа и сил. Простое, ясное счастье до самой смерти сопутствовало В. Я. Шишкову. В утверждении *жизненного* счастья, необходимого каждому человеку, ему помогала самый его близкий друг — жена. Можно низко поклониться Клавдии Михайловне Шишковой, редкой русской женщине, светом своего сердца осветившей путь писателя, навеки отдавшей ему это верное и чистое сердце.

1973

Мих. Пришвин

НАШ ДРУГ

Писатель начинает писать, как ребенок ходить начинает. Страшно и радостно бывает смотреть, как ребенок поднимется и вдруг пойдет, ручки вперед — как это радостно! И страшно, потому что непременно через несколько шагов он упадет.

Так было лет без чего-то сорок, я, писатель, как ребенок, заковылял... Страшно вспомнить себя, а о других думаешь, как о счастливцах: о себе думаешь как о ребенке, а о другом как о ласточке: птенец-ласточка просто бросается вниз из гнезда и летит.

Среди группы вместе со мной начинавших писателей ближе всех к птенцу ласточки казался нам А. Н. Толстой, но, конечно, и это нам только казалось. Мы все сходились в комнатке одного писателя, влюбленного в древний русский стиль. Это было время, когда декаденты, выставляя свой заморский товар, на диво всем (чем чуднее, тем лучше), наконец-то опамятовались, и многих потянуло на травку. Но трудно было выйти на травку завороженному древней прелестью нашему писателю. Мы собирались у него, учились, а выйдя от него, глядели открытыми глазами в текущую жизнь.

Это время было для одних концом, для других началом, победой нового стиля. О своем же родном русском народе нельзя стало писать стилем гражданской поэзии народничества. Вот таким народным писателем, минуя народничество, и был Вячеслав Шишков.

Люди, его знавшие, многое могут сказать о таком замечательном человеке, прямом, честном, умном, трудолюбивом, веселом, талантливом и скромном, как Вячеслав Шишков.

Я не могу назвать ни одного писателя, после Горького,

кто мог бы порадоваться удаче другого писателя в такой степени и так по-детски чисто, как Шишков.

Мы только тогда откроем всего человека, если найдем и покажем его самую главную заветную черту. И вот сейчас я проглядываю через десятки лет. Я вижу комнатку, где мы тогда давно читали друг другу свои начальные труды. Я вижу простое, приятное лицо Шишкова, мало-помалу расцветающее, если кто-нибудь читает свое удавшееся произведение. Вижу всех, кто тут был. Вот один слушает в тревоге за себя самого: ему страшно исчезнуть в охватывающем его чувстве, он, слушая, борется сам за себя. Но вот сила таланта покоряет его, и он со всеми вместе тоже трепещет от радости жизни. Меня удивляет, что В. Я. Шишков, как мне представляется, этой естественной борьбы за себя не испытывал. Он родился в сорочке, счастливым человеком, пропустив необходимый для всех период писательского эгоизма, чтобы прямо, без раздумья, самой жизни сорадоваться.

У А. Толстого в Детском Селе мы много раз слушали его чтение «Петра» по мере того, как он писался, а после чтения в кабинете выходили к большому столу и сами читали: кто чем богат, тем и рад. Читал и Шишков, всегда сдержанно, как будто и богат, но не рад. Зато уж как услышит хорошее что-нибудь от другого, тут он не сдерживается, тут ему можно: только тут он по-настоящему рад.

Да и что далеко ходить! Совсем недавно, кажется, чуть ли не в январе этого года, один писатель читал у Шишкова за столом при мне свою новую, не напечатанную еще повесть. Чтение было долгое, часа два мы слушали, и я смотрел на Шишкова, как он за эти часы расцветал и молодел. Мне кажется теперь, после того, как я видел в гробу его измененное, ставшее молодым лицо, что он и тогда еще во время чтения начинал молодеть. Это было так недавно! Я тогда не мог еще знать, что это он так умирал, и страдая, и молодея. Но я тогда понял характерную черту Шишкова как писателя — его юмор; этот юмор есть радость жизни в ее высшей человеческой форме — сорадовании.

Просится на язык сказать: хороший человек!

— Хороший человек,— возразят мне,— все мы хороши. Нет! Он был писатель, ты скажи, какой он был писатель?

— Шишков,— отвечаю,— очень хороший народный писатель. Я это утверждаю, но в моем понимании тот мой хороший человек, о ком я думаю, всегда много-много выше, чем даже очень хороший писатель, и прекрасный нравственный облик является основанием подлинного писательства.

Во Франции все французское собралось в Париж: в нем можно было радоваться, никуда не выезжая.

Декаденты хотели Петербург сделать Парижем, но русский человек Шишков сердцем знал, где таятся сокровища родной земли. И вот отчего расцвел он как писатель и был признан как писатель-гражданин в советское время.

Наш друг был хороший писатель, хороший гражданин и, по-моему, самое главное, он был хороший человек, наш друг, Вячеслав Яковлевич Шишков.

Март 1945

Трудно сказать, как бы мы жили дальше, но произошла война. Эту ужасную катастрофу Вячеслав Яковлевич пережил в Ленинграде.

Я увидел его в Москве вскоре после того, как он приехал. В его лице я увидел большие изменения. Думаю, что блокадный Ленинград его и подрезал.

Затем произошло следующее событие, запечатлевшееся в моем сознании. Был юбилей Вячеслава Яковлевича. Он оказался необыкновенным юбилеем. Вначале было все, как всегда. Потом выступил юбиляр, будучи в сильной степени растроган всей обстановкой. Он сказал:

— Я получил признание, я благодарю вас за это.

А затем начались другие признания. Вячеслав Яковлевич сказал, что с некоторого времени он почувствовал, что находится между этим миром и тем, куда люди должны уходить навсегда, что у него появилось что-то такое, что его изумляет, повергает в душевный трепет.

— Я этого никак не ожидал, но оно пришло,— сказал он в заключение.

Всем было исключительно тяжело, все разошлись с гнетущим чувством, с тяжелым настроением. Когда мы остались с ним вдвоем, дома, с глазу на глаз, я спросил: зачем он это сказал. Мне тяжело было слушать...

— Ведь это же факт,— ответил он.

В 1945 году произошло то, о чем он говорил.

Это редчайший случай полного сознания своего конца.

Все мы умрем, но не у каждого имеется столько мужества, чтобы так встретить свой последний день. Он действительно был простой человек.

Что значит простой человек?

Это совестливый человек, совесть у него есть.

Я думаю, что русский человек по своему свойству совестливый человек. Посмотрите, вся русская литература есть литература совести. Другой такой литературы в мире нет. Как ужасно было русскому человеку услышать от одного «культурного» европейца, что совесть есть химера. Нам это не понять и трудно пережить.

Вячеслав Яковлевич — совестливый человек. Это самое главное в нем: тихий, совестливый человек, великий труженик.

Я знаю: близкие люди до сих пор не могут утешиться — утешения нет. Но прошел год, и вы посмотрите, кто знал его близко,— какие изменения произошли для нас в личности Шишкова. Я, например, никогда его так не понимал, никогда так не чувствовал — даже части не было того знания, которое теперь у меня есть о нем. И все это совершил один год. Мне кажется, что он умер и тем самым вошел ко мне в душу, я стал воспроизводить его любя, он стал жить...

У меня нет красноречия, но есть сердечные мысли.

Я уверен, что Вячеслав Яковлевич отвечает тому образу, который я в себе вынашиваю. Он живет в нас, и мы теперь пришли к тому моменту, когда надо оставить скорбь и приблизиться к нему как к живому. Мы двигаемся по жизни вместе с ним, простым, совестливым человеком, который всегда вселяет в нас мужество для борьбы за такую же достойную и прекрасную жизнь, которую он провел.

Март 1946

М. Гордон

ВСЕ В ЭТОМ ЧЕЛОВЕКЕ ВЫЗЫВАЛО УВАЖЕНИЕ

В зимние дни 1942 года я познакомился с замечательным писателем Вячеславом Яковлевичем Шишковым. Все в этом человеке вызывало уважение — и истинно русский облик его, и сдержанная речь, и какая-то внутренняя сила. Шишкову много раз предлагали эвакуироваться, но он упорно отказывался, несмотря на то что его силы были явно на исходе. Потеряв все, что имел, он из города Пушкина десятки километров шел пешком в Ленинград и поселился в писательском доме на канале Грибоедова.

Вместе с другими писателями Шишков дежурил на крыше дома, наловчился сбрасывать оттуда зажигательные бомбы. Немало сил требовали и ежедневные походы в столовую писателей на улицу Воинова за супчиком, в котором «одна крупинка догоняла другую». И все это время, как рассказывал потом Вячеслав Яковлевич сотрудникам фронтовой газеты «На страже Родины», его терзали некоторые сомнения «в правильности своей жизни».

И Шишков пришел к нам.

— Я не буду пассажиром на редакционном корабле,— заявил он.— Дайте работу.

Так он и обосновался на Невском, 2. Поставили ему койку в одной из комнат, старались немного подкормить в нашей столовой. Вячеславу Яковлевичу было тогда около семидесяти лет, блокада города фашистами совсем подорвала его здоровье, но он работал наравне с другими: правил солдатские письма, корреспонденции сотрудников. К сожалению, литературная правка этого замечательного мастера русского слова не сохранилась... Мы восхищались тонким мастерством Шишкова, который

умел придать любому материалу большое публицистическое звучание и необходимую остроту, сохраняя при этом индивидуальный стиль автора.

Потом он стал писать статьи. Я отчетливо помню ту февральскую ночь 1942 года, когда Вячеслав Яковлевич принес статью «Россия поднялась во весь рост». Он писал ее при свете коптилки: электричества не было. Я сидел в полушубке за столом, спиной к окнам (чтобы в случае бомбежки или артобстрела осколки стекол не попали в глаза) и над чем-то работал. Вошел Шишков, укутанный чуть ли не с головой в теплый платок.

— Вот мой опус,— сказал он.— Почитайте. А потом позовите меня — спать все равно не буду.

Я принялся за чтение. Начиналась статья словами знаменитого партизанского поэта Дениса Давыдова, чье имя было грозой в войсках Наполеона: «Огромна наша мать-Россия. Изобилие ее средств дорого стоит многим народам, посягавшим на ее честь и существование. Но не знают они всех слоев лавы, покоящихся на дне ее. Еще Россия не поднималась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелю, если она когда-нибудь поднимется».

И далее Шишков, как бы продолжая мысль Давыдова, писал: «Теперь она поднялась... И — горе врагу! Наша земля никогда не оскудевала героями... Но ныне этот героизм русских людей принял такой массовый характер, овладел такими толщами народа, как никогда прежде в истории...»

Я послал дежурного за Вячеславом Яковлевичем. Но писатель уже спал. Сняв какой-то материал, я приказал поставить в номер статью Шишкова. Помнится, такая оперативность удивила старого литератора и вместе с тем немного огорчила. По его словам, он дал мне статью только «на предварительный просмотр», без окончательной правки. Но все мы чувствовали, что он очень доволен.

В этот день в редакцию позвонил член Военного совета фронта Кузнецов. Он похвалил статью Шишкова и поинтересовался его самочувствием. «Молодцы, что пригрели старика,— сказал он в заключение.— Помогайте ему и дальше, а мы тоже его поддержим...»

Через несколько дней Шишкову вручили продуктовую посылку. Мы тоже старались выделять ему часть продук-

тов, которые иногда удавалось достать — конину, жмыхи. Но ничего уже не помогало — Вячеслав Яковлевич таял на глазах. И удивляться этому не приходилось — дистрофия не щадила людей куда более молодых...

К лету 1942 года со здоровьем у Вячеслава Яковлевича стало совсем плохо, но уезжать из Ленинграда он не хотел и упорно сопротивлялся уговорам друзей. Однако пришлось уступить...

Не забуду, как мы провожали его. Дружеские объятия, слезы расставания. Все мы словно чувствовали тогда, что видим его в последний раз.

1975

В. Саянов

ВСТРЕЧА С ШИШКОВЫМ

Рано утром выходишь из дома, направляясь в штаб или в очередную поездку на фронт, и первым встречаешь на улице Вячеслава Яковлевича Шишкова. Он идет по набережной канала Грибоедова неторопливой старческой походкой, чуть наклонив голову и о чем-то раздумывая. Неутомимый труженик русской литературы, и сейчас, в невыносимых условиях блокадной жизни, продолжает писать своего «Пугачева». А недавно мне показывали большую тетрадь, написанную знакомым четким почерком, и меня взволновали простые слова Шишкова о родной земле... Так же я был взволнован, когда старый мой друг Михаил Алексеевич Сергеев рассказывал мне под обстрелом о некапиталистическом пути развития малых народов Севера и о своих новых литературных трудах. Радостно знать, что много писателей старшего поколения остались в Ленинграде, что старики нашего писательского цеха несут такую же тяжелую вахту, как старые токари в родных разбитых цехах.

До войны Вячеслав Шишков жил в Детском Селе. Несколько раз я встречал его в детскосельском парке ранними утрами — он любил гулять по тихим аллеям, где ходил когда-то Пушкин, и на ходу обдумывать свои новые книги. Вот и теперь, в осажденном городе, он идет по улице, где падают снаряды, и мне не хочется отрывать его от привычной работы мысли. Поклонившись, молча прохожу вперед, но он окликает меня и тихо спрашивает:

— Чего нового на фронте?

Сейчас, похудевший и измученный, с мешками под глазами, в старомодном пальто, он очень похож на Чехова. Он смотрит на меня умными, внимательными глазами, и приходится откровенно рассказывать о многом из

того, что повидал за последние дни. Ведь не простое любопытство вызвало его вопрос, а страстная забота о родном городе.

Он немного провожает меня, и, расставаясь, я в который уже раз советую ему эвакуироваться из Ленинграда.

— Нелегко расстаться с городом, с которым столько в жизни связано,— тихо говорит Вячеслав Яковлевич.— Очень нелегко. Подожду еще немного...

Он уходит обратно к дому, в котором мы живем, и, оглянувшись, я с волнением гляжу на его удаляющуюся большую усталую спину.

Через несколько недель, вернувшись в Ленинград из Шлиссельбурга, я нашел в почтовом ящике открытку от Вячеслава Яковлевича о благополучном его прибытии на Большую землю, но в памяти моей он навсегда связан с Малой землей, с осажденным и борющимся Ленинградом.

1942

М. Дубинский

ЭТИ СТОЛЬ ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ...

Весной 1942 года больной, измученный блокадной зимой, Вячеслав Шишков, уступив настоянию друзей, с группой ленинградских писателей эвакуировался в Москву.

Профессор Томашевский и писатель Михаил Слонимский рассказывали мне о его мужественном поведении в трудные дни испытаний. Бедствия войны тревожили его, но, несмотря на болезни и преклонный возраст, он много работал. Писал рассказы и статьи для фронтовой газеты «На страже Родины», выступал по радио.

Эту напряженную работу он продолжал и в Москве: сотрудничал в Совинформбюро, читал свои рассказы красноармейцам, раненым в госпиталях, переписывался с фронтовиками, писал новые главы «Емельяна Пугачева».

Следуя примеру своего давнишнего друга Владимира Бахметьева, Шишков включился в работу приемной комиссии Союза писателей. Я был секретарем комиссии, и это позволило мне довольно часто общаться с ним. Был он прост и человечен, всегда проявлял доброжелательность и уважение к собеседнику. Особенно запомнились мне его внимательные, чуть прищуренные глаза.

Он ревностно относился к своим обязанностям и больше других писателей читал рукописи начинающих авторов.

Однажды я сказал ему об этом, заметив, что он не щадит своего здоровья.

— Разве можно иначе? — искренне удивился он.— Я только следую горьковскому завету. Среди писателей нашего поколения нет, пожалуй, ни одного, кто не был им отечески обласкан. И я буду счастлив, если, подобно

ему, хотя бы одного из одаренных молодых людей введу в заветный мир литературы.

Шишков не раз повторял, что не хотел уезжать из Ленинграда. Он описывал холодную и голодную зиму, замерзший водопровод, остановившиеся трамваи, отсутствие света, несмолкаемый артиллерийский обстрел... Вспоминал знакомого художника. Его постигло тяжкое горе. Жена и дочь умерли с голода. В нем самом едва теплилась жизнь. На своих нетвердых ногах, шатаясь, он брел в мастерскую. Там он создавал плакаты. Там же, в этой промерзшей мастерской, он умер. Но какой силой веяло от этих плакатов!

Шишков встал и взволнованно прошелся по комнате:

— Должно быть, о таких людях писал некогда Тихонов:

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.

Мы шли по аллее Тверского бульвара под нежарким солнцем. Я заметил, что Вячеслав Яковлевич идет медленнее обычного. Подле садовой скамейки под старым дубом он остановился.

— Присядем. Отдохнем,— устало предложил он.— Да, староват я стал. И блокада ленинградская отняла добрые десять лет жизни. А каким орлом был! Как хорошо сейчас в такую пору в тайге. Сибирь! — вздохнул он.— О ней трудно рассказать. Ее надо увидеть, узнать.

— Давно вы не были в Сибири? — поинтересовался я.

— Давно. Но впечатления от всего пережитого там настолько сильны, что их хватит на всю мою жизнь. Я много писал о Сибири. Но еще немало мог бы написать...

Вячеслав Яковлевич рассказал мне тогда эпизод из своей сибирской жизни.

Это было давно, в 1911 году. Шишков возглавлял тогда экспедицию по обследованию водораздела между Леной и Нижней Тунгуской. Эту реку в народе называли Угрюм-рекой. Впоследствии он описал ее в своем романе.

В то время писатель увлекался собиранием фольклора. Ему удалось записать много старинных песен и былин. И вот однажды в поисках новых песен Шишков отправился на лодке в отдаленные села. Промозглый туман висел над рекой. Когда он рассеялся, стало видно лодку, на ко-

торой плыли двое: старик тунгус и немолодая женщина-тунгуска. Шишков знал их язык и легко общался с ними.

Итак, женщина гребла, а мужчина сидел на корме и курил трубку. Лодка причалила к берегу. Они вышли. Старик сел на землю и по-прежнему курил. Женщина собрала хворост, разожгла костер и достала котелок, намереваясь, видимо, что-то стряпать. Шишков подплыл к ним, молча подсел к старику — у тунгусов здороваться не принято — и затем спросил:

— Почему твоя жена работает, а ты только куришь трубку и не помогаешь ей?

Старик помолчал, потом невозмутимо ответил:

— Почему не помогаю? Помогаю! Пока она работает, я думаю, как жить дальше.

Навсегда запомнил я эту последнюю встречу: Тверской бульвар, пастельные краски осени, рассказ Вячеслава Яковлевича и его пленительную улыбку.

Шишков писал о себе: «Вся жизнь моя была в литературе, иных страстей не знал». И в этом нет преувеличения. Жизнь его — это постоянное усилие, направленное на создание прекрасного. Книгам Вячеслава Шишкова суждена долгая жизнь.

1973

А. Югов

О ЖИЗНИ И ПОДВИГЕ

«Российское могущество прирастать будет Сибирью». Это вещее слово Ломоносова, основанное на глубочайшем научном прозрении, ныне все чаще и чаще повторяется нашей печатью и учеными. И конечно, здесь прежде всего идет речь о неисчерпаемых, уму непостижимых ресурсах земных недр Сибири, ее богатырских — под стать народу! — исполинских реках и о том благодатном, сказочном энергопромышленном перевороте, который совершен и совершается в ней предначертаниями Коммунистической партии и Советского правительства.

Но в эти знаменательные дни, когда весь советский народ отмечает столетие со дня рождения писателя Вячеслава Шишкова — создателя сибирской эпопеи «Угрюм-река», исторической эпопеи «Емельян Пугачев», давно полюбившихся народу «Шутейных рассказов»,— в эти дни ломоносовское предвещание хочется применить и к советской художественной литературе Сибири, среди вершин которой — творчество Вячеслава Шишкова.

Да, хотя Вячеслав Яковлевич Шишков и родился, и вошел в годы возмужания на тверской земле, в городе Бежецке, хотя здесь обрел он и отличные познания гидролога-землепроходца, однако вслед за тем целых двадцать лет самозабвенных, подвижнических, нередко и смертельно опасных трудов отдал он «матушке-Сибири», так что *писатель* Шишков рожден Сибирью. Это бесспорно. И потому с полным правом и глубокой сыновней благодарностью именует он ее своей второй родиной.

«Угрюм-река» — та вещь, ради которой я родился»,— признается он позднее, в зените своей славы, в письме Федину.

Помню, на строительстве ГЭС имени В. И. Ленина,

на занятиях литобъединения один из участников, бетоноукладчик, начинающий прозаик, сказал убежденно, со вздохом:

— Писать надо так, как вот Шишков пишет: чтобы читателю было и весело и слезно, и страшно и дерзостно!

Просто сказано — но именно так ведь и написана «Угрюм-река», да и «Тайга», да и, наконец, «Емельян Пугачев» (к великому нашему горю, не завершенный самим Шишковым).

Слава «Угрюм-реки» на Волге, среди строителей ГЭС, была особенно велика. Каждый из нашего «корпуса печати», работавшего там же в те дни, припомнит, конечно, что даже высотная надстройка на КП правого берега, с которой далеко-далеко можно было просматривать котлованы, так и звалась в народе «Гляди в оба!» — в память о знаменитой обзорной вышке Прохора Громова. Вообще говоря, это стихийное внедрение в фольклор, растворение в преданиях народных шишковской «Угрюм-реки» и в Сибири, и в России — черта знаменательная, один из стигматов народности.

Едва перешагнув порог семидесятилетия, Вячеслав Яковлевич мужественно и просто говорил о близости своего ухода из жизни. За три месяца до кончины он писал: «Молю судьбу, чтоб дала мне окончить «Пугачева», а там уж что будет, то и будет, не так уж обидно и страшно».

Вот в эти-то именно дни судьба подарила и мне позднюю отраду личного знакомства с автором «Угрюм-реки» и «Емельяна Пугачева».

В один из осенних дней В. М. Бахметьев пришел ко мне, чтобы пригласить меня к Шишкову. Он сказал мне почти дословно следующее:

— Вячеслав Яковлевич слыхал о вашей книге и что она о людях Ангаро-Енисейского горного района, где вы работали врачом. А он когда-то, в дни молодости своей, работал там же инженером-изыскателем. Не найдется ли у вас экземпляра «Бессмертия»? Тогда мы сейчас бы к нему и отправились.

Мы застали Вячеслава Яковлевича на застекленной веранде бахметьевской дачи, где он обитал тогда. Признаться, не ожидал я увидеть его таким. И по портрету его, и по рассказам о нем писателей-сибиряков я представлял Шишкова человеком могучим, с черной окладистой

бородой, как бы похожим на самого Пугачева,— вот таким, пожалуй, каким представлен Вячеслав Яковлевич на заглавной странице в книге Н. Еселева. Но, увы, глазам моим предстал изящного, почти хрупкого сложения старец, седой и с бородкой, сведенной в клин, тоже седенькой. Был он в тот час на веранде один и варил в кастрюльке на керосинке какую-то, должно быть, диетическую кашку.

— Что это ты за алхимию творишь, Вячеслав Яковлевич? — спросил Бахметьев.

Шишков рассмеялся.

— Алхимия, брат, для младенцев!.. Ничего не поделаешь: видно, укатали сивку крутые горки!.. Вот варю манную кашку, а сам напеваю: «Гой ты, удаль молодецкая!..»

Приветствовал меня радушно. Преподношу свой авторский. А затем последовали разговоры о людях Ангаро-Енисейского края, где «золото роют в горах». И наконец,— о людях «Угрюм-реки».

И вдруг Вячеслав Яковлевич спрашивает в упор.

— Как вам нравится моя Анфиса?

И улыбнулся, и, прищурясь, посмотрел на меня.

Я ответил:

— Что говорить!.. Если бы я встретил вашу Анфису в ту пору, когда я двадцатишестилетним врачом работал в Южно-Енисейской тайге,— семейное счастье мое, боюсь, пострадало бы!

Надо было слышать, каким богатырским, озорным смехом разразился Шишков!

— Да! Уж это будьте спокойны!

Тут я задал ему обычный в таких беседах читательский вопрос, которого, надо сказать, писатели не любят, да и сам я недолюбливаю:

— Образ Анфисы вашей, Вячеслав Яковлевич, собирательный или на самом деле была такая?

— Что вы, «собирательный»! На самом деле была такая. С натуры, с натуры!

Закрыл на мгновение глаза и, словно бы всматриваясь в давно минувшее, вздохнул и страдальчески-блаженно покачал головой...

В 1943 году, на торжестве своего семидесятилетия, Вячеслав Яковлевич сказал в предвидении своей близкой кончины:

— Я жил, не думая об этом, но вот я теперь нахожусь у границы своего перехода туда, где нет границ...

Сказал спокойно, просто, слегка усмехнувшись.

Рассказав об этом, его биограф-исследователь Н. Еселев заключает свое повествование справедливыми и глубоко взволнованными словами:

«Вячеслава Шишкова, прошедшего сквозь стольких испытания, замерзавшего в Сибири, на Нижней Тунгуске, тонувшего в Бие, творившего под бомбами и снарядами в Ленинграде, разве могла устрашить смерть?!»

Нет, не могла. И не властна смерть над теми, кто бессмертен в народе!..

1973

Б. В. Томашевский

ЖИВОЙ ШИШКОВ

...Произведения Шишкова войдут в историю русской литературы и найдут там свою объективную и полную оценку. Наш долг — сохранить память о живом Шишкове. Его жизнь, как и его произведения, одушевлена особенным обаянием. И в жизни и в творчестве он был человеком большой одаренности, большого опыта, с большим запасом наблюдений, с большим знанием людей своего народа.

Двадцать лет трудовой жизни инженера-изыскателя подготовили Шишкова-писателя. Двадцать лет он накоплял свои темы, слагал из наблюдений характеры своих будущих героев и их прихотливую судьбу. Двадцать лет он воспитывал в себе дисциплину наблюдательности и дисциплину труда. Он воспитал в себе зоркость взгляда, он наблюдал в трудовых своих буднях сибирскую природу, с которой органически связана была его изыскательская работа. Он воспитал в себе уменье распознавать людей. А чтоб видеть людей, чтоб уметь заставить их раскрыться перед тобой, необходимо прежде всего быть самому большим человеком. Нужно любить людей и уметь заставить любить себя.

Этим качеством Вячеслав Яковлевич обладал вполне. Около него было тепло и уютно. С дарованием художника сливалось *человеческое* дарование.

За тридцать лет творческого труда Шишковым написан не один десяток томов. «Тайга», «Ватага» — произведения, к которым сам Вячеслав Яковлевич относился с отеческой нежностью, — «Пейпус-озеро», «Шутейные рассказы», «Угрюм-река», вплоть до «Пугачева», оборванного смертью на заключительных главах,— вот основные вехи его жизненного пути. То, что он пришел к художе-

ственному творчеству уже сложившимся человеком, в сорокалетнем возрасте, придало своеобразный характер его творческому росту. Это было позднее, но богатое созревание. У него не было «лицейских» лет, не было экспериментаторства и резких кризисов. Его творчество развивалось спокойно, вровень с судьбой народа, которому он всецело принадлежал. В этих произведениях живет большой мир его героев с их страстями, в них вложено все богатство его красочного, узорчатого русского языка, в них зорко подмечены образы русской природы.

Произведения Шишкова — плод не только большого таланта, но и большого, правильно организованного труда. Трудиться он научился прежде, чем стал кадровым писателем, к труду приучила его прежняя его профессия, и он легко перенес трудовые навыки на свою творческую работу. Этой трудовой дисциплине Вячеслав Яковлевич был верен до последнего дня.

Мы все, ленинградцы, помним появление Вячеслава Яковлевича в тяжелые для города дни; он принужден был оставить город Пушкин и поселиться в Ленинграде, в писательском доме на канале Грибоедова. Мы помним его строгую фигуру, его выдержку и терпение в эти дни испытаний; общение с ним вселяло бодрость в тех, кто ее терял. Неизменно человечное отношение ко всем, большая внутренняя дисциплинированность и та атмосфера тепла и уюта, которая всегда его окружала,— все это было так нужно, необходимо в это тягостное время. И здесь, в своей комнатке, в невероятно трудных бытовых условиях, Вячеслав Яковлевич нашел свое рабочее место и неизменно и упорно продолжал работать над вторым томом «Пугачева», успевая найти часы, чтобы исполнить свой писательский долг перед страной и выступить то в печати с очерком на оборонную тему, то перед микрофоном с чтением своих рассказов, то в воинской части, отдавая свои силы делу отпора вражеского натиска.

Только весною 1942 года, после страшной осадной зимы, Шишков выехал трудным путем из зоны блокады и поселился в Москве. И здесь он также немедленно принялся за свой труд у своего писательского станка.

За эти три года, проведенные в Москве, все свои, уже убывавшие, силы Вячеслав Яковлевич отдал завершению своего последнего труда, самого значительного по размерам и по ширине темы. В этом труде сосредоточивались

его главные жизненные интересы. Тема романа — судьба народа в роковые минуты его жизни — естественно возникла из самой сущности творчества Шишкова, и «Пугачев» явился органическим завершением его творческого пути.

Уже утомленный непрерывно развивавшейся болезнью, он сразу оживлялся и покидал молчаливость, когда заходил разговор о его герое, о его замыслах, о дальнейших перспективах в развитии действия «Пугачева». Он разворачивал исторические документы пугачевского времени, комментировал их, одушевлял рассказом и постепенно от исторических фактов переходил к развитию фабулы романа, знакомя собеседника с задуманными ситуациями и персонажами произведения. В творческом труде он сосредоточил все свои жизненные силы; и кто мог догадаться, что эти силы — последние?

Большие писатели не умирают. Их труды — всегда с нами. Но больно терять человека, больно думать, что мы не услышим его голоса, не увидим его умного, доброго взгляда.

Вячеслава Яковлевича больше нет среди нас. Но он завещал нам пример творческого труда и светлый образ большого человека. За это ему вечная, благодарная наша память.

8 марта 1945

К. В. Базилевич

ТОЛЬКО ОДИН ВЕЧЕР

С Вячеславом Яковлевичем Шишковым я встретился и лично познакомился всего за несколько месяцев до его смерти. Я вспоминаю этот вечер, проведенный в одном из наших больших издательств.

Во время товарищеского ужина мне пришлось сидеть рядом с Вячеславом Яковлевичем, и завязавшаяся между нами беседа вскоре приняла чрезвычайно интересный и оживленный характер. Выяснилось, как много у нас общих вопросов и общих интересов. Мы говорили прежде всего о той эпохе, которой интересовался Вячеслав Яковлевич, о его романе, о тех документах и источниках, которые необходимо было изучить, о работе историков, о задачах художественного творчества.

Когда я возвращался с вечера, перебирая свои впечатления, я остановился на мысли, что в Вячеславе Яковлевиче так привлекает историка, знающего данную эпоху, которая выбрана темой повествования писателя-художника, и не мог не остановиться на тех элементах в творчестве Вячеслава Яковлевича, которые столь близки нам, ученым-историкам. По существу, метод работы Вячеслава Яковлевича весьма напоминает метод работы исследователя. Каждое наше историческое исследование начинается с детального ознакомления с данным временем и данной темой, с ознакомления, которое предусматривает не только охват всего того, что было написано на избранную тему, но прежде всего изучение источников, собирание источников, и этим скрупулезным методом накопления материала шел Вячеслав Яковлевич. Мне как историку было ясно, что он не только прекрасно знает всю литературу, посвященную Пугачеву и его времени — второй половине XVIII века, но он великолепно знает источники;

он знает все воспоминания; он знает документальные данные, относящиеся к этой эпохе; он знает архив Пугачева; он знает следственное дело о Пугачеве. Словом, он владеет тем материалом, которым владеет и ученый-историк.

Но не только в этом было много общего в работе между историком и писателем-художником. Для нас, историков, понятно, важны те выводы и наблюдения, которые сделаны нашими предшественниками; каждая новая работа должна вносить что-то новое в уже накопленные результаты,— но для нас, историков, прежде всего важны сами документы, первоисточники. Именно первоисточник положил в основу своей работы Вячеслав Яковлевич. Мы не можем относиться с полным доверием к первоисточникам, и поэтому первым выводом после накопления материала является изучение источников, их критическая проверка. Но достаточно прочесть историческое повествование Вячеслава Яковлевича, чтобы убедиться, какую огромную работу в области критического отношения к использованному материалу он произвел. Это вполне научная работа, и поэтому, мне кажется, можно смело сказать, что в основу его художественно-исторического творчества положен научно-исследовательский метод.

Вслед за этим, когда источник нами достаточно изучен, мы переходим к анализу тех или других вопросов, относящихся к теме. Эта аналитическая работа несомненно занимала основную часть повествования Вячеслава Яковлевича, но если мы читателю представляем наш анализ, то понятно, что писатель этого делать не может,— он создает те художественные элементы, те моменты, из которых складывается исторически верный, но художественный образ, и наше синтетическое научное построение, выливающееся в то или другое решение, в работе писателя, художника выливается в создание исторического образа, исторической картины. Понятно поэтому, что в создании исторического образа большое значение имеет и творческая интуиция художника. Эта творческая интуиция художника Вячеслава Яковлевича столь убедительна, что читатель, хорошо знающий эпоху, но не специалист в области данной темы, то есть не профессионал-историк, вряд ли может отличить, где Вячеслав Яковлевич цитирует действительный документ (а он очень много цитирует политических документов), где излагает неопровержи-

мые исторические факты, почерпнутые из изученного материала, и где прибегает к творческой фантазии, ибо его творческая фантазия так же убедительна, как убедительна историческая правда.

Мне кажется, что это обстоятельство показывает огромное мастерство художника и говорит о тех качествах, которыми должен обладать художник-писатель в своих исторических произведениях, то есть соединение строго научного подхода к материалу со своим творческим воодушевлением этой темы и творческим воображением, без чего, понятное дело, сухой документальный материал нельзя было бы превратить в пламень подлинной исторической жизни. Этим качеством в высокой степени обладал Вячеслав Яковлевич. Историческое повествование Вячеслава Яковлевича носит имя одного из главных действующих лиц — Емельяна Пугачева, но содержание этого исторического произведения гораздо шире в смысле жизнеописания, идейности его как вождя, поднявшего угнетенные крестьянские массы.

Вячеслав Яковлевич — это писатель исторической эпопеи, и его историческое повествование в действительности является не повествованием только об Емельяне Пугачеве, а историческим повествованием о России второй половины XVIII века. Вячеслав Яковлевич остановился на чрезвычайно важных двух десятилетиях второй половины: с середины пятидесятых до середины семидесятых годов, и можно смело сказать, что нет ни одного крупного исторического события в пределах этой хронологической рамки, которого в той или иной степени не коснулся Вячеслав Яковлевич. Здесь и Семилетняя война, здесь и неудачное царствование Петра Федоровича; восшествие на престол Екатерины II, ее первые шаги. Развертывается огромнейшее полотно столичной жизни, и с этого полотна вы переводите взгляд на другое полотно — на крепостную провинциальную деревню. Постепенно читатель уводится в эту толщу народной жизни, и антитеза между дворцом и его роскошью и бедной крестьянской лачужкой, которая топится по-черному, говорит вам о том, что вы чувствуете нарастание пульса народного восстания. Эта народная жизнь все ярче и ярче выступает, вы чувствуете, как накапливается приближающаяся гроза, вы чувствуете, как эти сверкающие молнии озаряют мужицкое небо.

Задача Вячеслава Яковлевича была необычайно трудная. Необходимо было дать не только образы, картины, но дать синтетическое целое; необходимо было перевести читателя из дворца в русскую крепостную деревню, из лачуги в дом богатого вельможи, и Вячеслав Яковлевич блестяще выполнил эту задачу. Достаточно только представить, какое количество персонажей было выведено в историческом повествовании Вячеслава Яковлевича. Это число измеряется не десятками, а сотнями, тысячами, причем из этих сотен многие и многие десятки — исторические лица, в отношении которых существует определенное суждение. Необходимо было изучить деятельность каждого лица — и Петра, и Шувалова, и Воронцова, и Ломоносова, и Баженова, и многих-многих лиц, и необходимо было не только верно исторически представить их, но воплотить в живые образы, в живых людей.

Вячеслав Яковлевич ведет нас по России; ведет нас по бедной, угнетенной России при посредстве Пугачева. Мне кажется, что этот замечательный метод был навеян Вячеславу Яковлевичу Радищевым, его «Путешествием из Петербурга в Москву». Вспомним это поразительно яркое по цельности впечатление от русской помещичьей усадьбы, и читатель поймет, как нарастало крестьянское движение.

Почему и как исторически верно Пугачев-казак, лихо дравшийся в Семилетней войне, весельчак и рубака, превращается в Пугачева-вождя. Показать этот рост Пугачева, его превращение — это значит раскрыть нам недры народной жизни, показать пульс ее борьбы, нарастание классовой войны, крестьянское восстание.

Историк для этой цели анализирует сохранившиеся материалы, он оперирует цифрами, он приходит к убедительным выводам, доказывая неизбежность того или другого движения. Положение художника-писателя в некоторых случаях даже труднее, потому что, оперируя этим же материалом, он не может остановиться на цифрах и на определенных выводах, он должен показать неизбежность того или иного события. Вот почему правда и вымысел так сливаются в одно гармоническое целое в повествовании Вячеслава Яковлевича, и вся его работа, опираясь на строго научный метод, оставаясь художественным воспроизведением действительности, перекликается с нашим временем.

Произведение Вячеслава Яковлевича, с исторической точки зрения, мне кажется, интересно еще и тем, что, несмотря на чрезвычайное многообразие своих персонажей, выведенных событий, городов, мест, несмотря на то, что полем романа является вся Россия и заграница конца XVIII века,— вы чувствуете единство мысли, единство настроения и единство цели. Показан ли Пугачев в Семилетней войне солдатом русской армии, которая побеждает пруссаков; показывает ли он бунтующую русскую деревню, мастерскую гениального ученого Ломоносова или кабинет Баженова,— вы везде чувствуете творческое искание, творческий энтузиазм, русскую жизнь, вы чувствуете русского человека, вы чувствуете неиссякаемую мощь народа, и на этой мощи построено счастье народа; вы чувствуете большую и глубокую любовь к родине и тех, которые возьмут меч против собственных врагов этой родины, то есть бунтаря Пугачева — вождя народного восстания; и тех, которые работают в тиши мастерской, как Баженов, или в тиши своей лаборатории, как гениальный Ломоносов.

И, несмотря на то что в «Пугачеве» развертывается грустная картина, картина угнетенной России, читатель выносит жизнерадостное чувство,— это чувство объясняется той искренней любовью к своему народу, которая проходит через все страницы исторического повествования Вячеслава Яковлевича. Ведь любить свою родину — это значит ненавидеть своих врагов. Пугачев ненавидит своих врагов, он ненавидит пруссаков, но он ненавидит и русского помещика. И эта ненависть к врагам выдвигает Пугачева на вершину волны народного восстания.

От страниц исторического повествования Вячеслава Яковлевича все же веет жизнерадостным чувством, чувством гордости за непреоборимую силу русского народа, за его энергию, за его любовь к свободе, любовь к народу; чувством уверенности, что такой народ сам будет ковать свое счастье, что придут эти желанные годы, что будет выполнена заветная мечта, добыта кровью многих поколений. И отсюда такой особенно близкой нам делается тема «Емельяна Пугачева»,— мы чувствуем нити, которые связывают нас с этим отдаленным прошлым.

К сожалению, моя встреча с Вячеславом Яковлевичем была единственная. Вскоре он заболел, но то, что он помнил о нашей встрече, я вывожу из следующего. Однаж-

ды по почте я получил книжечку «Проходимец» с его собственной надписью, которую всегда буду хранить как сокровище своей библиотеки.

Мне хочется отметить выдающееся значение писателя Вячеслава Яковлевича в той области, которая мне близка, в области исторического прошлого. Мне хотелось отметить, что Вячеслав Яковлевич в этой области шел по тому пути, по которому шли классики в нашу литературу — Гоголь, Пушкин, Лев Толстой, и Вячеслав Яковлевич, не останавливаясь на этом пути, вносит то новое, то жизнерадостное чувство, которое навеяно нашей нынешней обстановкой, гордым сознанием: наша страна стала страной свободного человека.

1946

Г. Марков

СЛОВО О ШИШКОВЕ

В нашей отечественной литературе было много таких писателей, о которых можно и должно писать повести и романы. К этому ряду, бесспорно, принадлежит и Вячеслав Яковлевич Шишков, проживший долгую, богатую событиями и впечатлениями жизнь. Но создание художественных произведений о самих писателях дело не простое. Можно не сомневаться в том, что такие книги появятся (да они уже и существуют, вспомним хотя бы романы Ивана Алексеевича Новикова о Пушкине или романы Юрия Николаевича Тынянова о Пушкине, Грибоедове и Кюхельбекере). Возможно, что среди нынешней литературной молодежи есть уже тот будущий писатель, который сумеет воссоздать образ Шишкова на страницах художественного произведения. Как говорится, дай бог ему удачи! Но пока такого произведения нет, и наша общая задача (я имею в виду писателей, критиков, литературоведов) тщательно и любовно собрать все материалы о жизни писателя, размышления о нем его современников, свидетельства читательского интереса к его книгам, собрать все то, что характеризует место писателя в водовороте своей бурной эпохи.

Неисповедимы пути, которыми творчество писателя проникает к читателю, заинтересовывает его и невольно начинает оказывать влияние на его сознание.

О Шишкове, о его необыкновенной жизни и его сочинениях я вначале услышал от людей, а потом уж, много времени спустя, прочитал его книги. Образ Шишкова с самых ранних лет моей жизни был овеян романтикой. Он вошел в мое сознание как легенда, родившаяся на необозримых таежных просторах Сибири.

Получилось это так. Отец мой был охотник. Он охо-

тился не только в нашей округе, но нередко уезжал в «дальние края». В детстве и юности я побывал вместе с ним на многих сибирских реках. Мы охотились и рыбачили на Чулыме, Оби, на Томи, на Васюгане, Парабели и на их малых притоках. Здесь, на берегах этих рек и речек, были у нас редкие, но незабываемые встречи. То мы выходили на стан какой-нибудь другой охотничьей артели, то набредали на лагерь изыскательской партии, то ночевали в избушке «речного сторожа» — бакенщика, расположившегося со своим немудреным хозяйством где-нибудь на высоком яру поблизости от опасного для пароходов переката. Все равно, где бы мы ни оказывались, нам по таежному гостеприимству выдавалось все, что было принято в таких случаях: сытный, обильный ужин из свежей дичи или рыбы, крепкий чай с душистой приправой из смородинового листа, а затем большая порция таежных былей и небылиц, пересказ которых затягивался до глубокого ночного часа, когда стожары вставали в небе над головой.

Именно в один из таких часов прозвучало впервые для моего слуха слово «Шишков». Где, в каком точно месте оно было произнесено — на Оби ли, на Чулыме ли или еще где-нибудь,— сказать затрудняюсь. Несколько позже я снова услышал это имя на других привалах и ночевках. Как и в первый раз, оно произносилось любовно, с необычайно глубоким уважением. Чувствовалось, что человек, о котором шла речь, дорог и близок таежникам.

Во всех этих былях и легендах была немалая доля фантазии. Возможно, поэтому они сплелись в моем сознании в один целостный сказ.

В своей записной книжке за 1940 год я нашел любопытную запись, которую воспроизведу здесь полностью.

«Был на Чулыме на Растошах (дело происходило в июле 1940 года). Ночевал две ночи у рыбаков. Спали мало. Степан Вышегородцев, прозванный по-уличному за свой веселый, неунывающий нрав Степкой Плясом, от зари до зари рассказывал прелюбопытнейшие истории. Он знает бесконечно много всяческих былей и небылиц, которые десятилетиями складывались на охотничьих и рыбацких станах по всему обширному Причулымью. Могучая, неуемная, буйная народная фантазия! Что ни слово, то образ, что ни имя, то характер!

Между прочим, Пляс рассказал новый сказ о Шишкове. В нем немало общего с теми рассказами, которые уже встречались мне прежде. Но есть и кое-что свое, плясовское.

— Я с ним не хаживал, а отец мой хаживал. Тут по Чулыму ходили они, бывали на Оби. Он зазывал тятю на Алтай, на Бию. Туда его послали, стало быть, к царским, кабинетским землям поближе, промер реки делать. Прозывался он Вячеслав Яклич. Яковом крещен был его батюшка. Мой-то карымец ни в какую. Яклич его уговаривает: «Пойдем, дескать, Федор, на Бию, со мной не прогадаешь. Заработок ладный, обхождение — известное, добром да лаской». А у моего-то приспичило избу строить. Потом-то сколько себя клял: «Язви ее, распроклятую избу эту! Связала по рукам, по ногам. Упустил заработок какой!» А еще пуще заработка было ему жалко Яклича. Уж такой человек — богом меченный! Характер — шелк шелком.

Он сам был из расейских, из богатеньких. По отцовской струне не потянул. Тот по купеческому званию промышлял. Яклич когда родился, вырос, батюшка его в радости: «Будет мне подмога в моем торговом деле». Да не тут-то было! На роду сыну прописано было другое. Пошел он в ученье. Встал когда на ноги, говорит отцу: «Не прогневайся, батюшка, а только к торгашескому рукомеслу не лежит у меня сердце». И ушел из дому навсегда, как отрезал.

Другой бы на его месте — прямой дорогой в Петербург, чтобы кальеру пробить, звание побольше выхлопотать, а он, Яклич-то, наоборот, к нам в Сибирь, в глушь лесную! Ну, известное дело, сибиряки каждому доброму человеку радехоньки.

Зачал Яклич ходить по рекам, промеры делать, перекаты и глыби отыскивать. И про все, что узнает, сей же момент — раз-раз, отметку ставит. Тут по берегам Оби и Чулыма столько его отметин, что со счету собьешься. Покеда Яклич не объявился — пароходы и барки ходили на наших реках вслепую. Случалось, напарывались лоцманы на мель. Ни в какую назад пароход или баржу не стянешь, хоть лопни. Вымали груз в лодки, а потом на берег перевозили, облегчение судну делали, якорем его на стрежь стягивали. Страшенное дело! От Томска до Колпашева — триста верст, а плыли пять ден, и все ощу-

пью. А как Яклич прошел с партией, пообшарил, вызнал всю подноготную, по берегам знаки повыставил — пошла тут иная жизнь для судов, без опаски.

От нас-то Яклич ушел на Бию. В те разы он и зазывал моего родителя. А только слух был, долго он там не прожил. Потянуло его, Яклича-то, на другое рукомесло. Талант в нем открылся. Послушает, поглядит он на людей да так их опишет, что они живей живого. Попервости займовался он этим в шутку, ради, значит, потехи себя и других. А потом один ссыльный возьми и присоветуй: «Пошли-ка, говорит, Яклич, творение свое Максиму Горькому в собственные руки». Тот оробел поначалу, а ссыльный свое: «Посылай! Не боги горшки обжигают». Послал Яклич.

Долго ли, коротко ли шло то творение к Максиму Горькому, а только дошло. Сказывают, будто Максим Горький прочитал, прослезился в радостях и говорит своим помощникам: «Ну, люди хорошие, могу и помирать в спокойствии души. Объявился на Сибири такой талан, что многих за пояс позатыкает». Вскорости после этого призывает Максим Горький снова своих помощников и говорит: «Отпишите в Сибирь, чтоб приезжал Яклич ко мне, желаю я сам наставлять его в трудах-замыслах». Пораспрощался Яклич с Сибирью и уехал.

Мой-то родитель под старость совсем чудить стал. Чуть, бывало, разобидится и перво-наперво Яклича поминает: «Вы разве люди? В вас понятия нет! Что вы для меня — тьфу, мелочь пузатая! Возьму вот отпишу Якличу и уеду к нему. Проживает он теперь в бывшем Питере, самом Ленинграде, в прежних царских покоях. Он так мою жизнь опишет, что вы еще ахнете, узнаете, кто есть я на самом-то деле». Читывал ли мой родитель творения Яклича — не знаю. Едва ли. Был он малограмотный и только расписаться умел. Но во хмелю любил похвастаться, что Яклич в семи книгах его изобразил. По всему видать, привирал старичок, царствие ему небесное. А все ж таки и то правда: из всех чулымских фамилий одна наша в знакомстве с таким знаменитым человеком была. Мой младший братишка Федька множество раз от Яклича гостинцы получал. А однова Яклич купил ему к пасхе сатину на рубашку. Долго та рубашка в сундуке у матери лежала. Надевал ее братишка только на причастие да в престольные праздники.

В сказе Степки Пляса много, конечно, вымысла, но вместе с тем он довольно точно передавал основную биографическую линию жизни писателя.

Расскажу теперь о том, как входил писатель Вячеслав Шишков в мое собственное сознание.

В 1928 году приехал я из тайги, из деревни в Томск. К этому времени я уже знал несколько произведений Вячеслава Яковлевича. Это были его первые рассказы о Сибири, о тайге. Читал я их, правда, не сам, а слышал в чтении нашего избача комсомольца Ивана Свиридкина, который любил устраивать громкие читки и обладал для этого хорошими данными — четким, зычным голосом, перекрывавшим любой шум. Справедливости ради замечу, что Свиридкин проводил громкие читки не только по убеждению в силе своего голоса, но и по необходимости: в избе-читальне было двадцать — тридцать книжек, и раздавать их читателям на руки не имело смысла. К тому же были случаи, когда выданные книги не возвращались — их искуривали лихие курцы, не считавшиеся с тем, что библиотека избы-читальни и без того бедна. Избач берег каждую книжечку как зеницу ока.

Читались рассказы В. Я. Шишкова в зимние вечера, при свете семилинейной лампешки, возле раскалившейся железной печки, обогревавшей старый, уже истлевший по углам дом изгнанного революцией торговца-ростовщика.

Незабываемо впечатление от этих читок! Покоряла прежде всего достоверность описания деревенской и таежной жизни. Как-то даже страшновато становилось оттого, что кто-то неведомый тебе так хорошо, с такой точностью знает все радости и беды нашей немудрящей таежной жизни, знает «наскрозь всю нашу житуху и жистянку», как говорили мужики.

Временами же казалось наоборот, что это не посторонний человек рассказывает, а собрались сюда, к гудящей печке, наши лучшие деревенские рассказчики и вот подбрасывают зачарованным слушателям одну побывальщину за другой.

Сходство отдельных жизненных обстоятельств и людских образов, воспроизведенных в рассказах Вячеслава Яковлевича, с тем, что происходило у нас, было иногда так велико, что слушатели останавливали чтеца и просили то или иное место перечитать снова.

От этого чтения рождалось какое-то удивительное чувство внутреннего удовлетворения и тихой радости: «Смотри-ка ты, а уж не такая наша жизнь сирая, никчемная, коли можно о ней так интересно рассказывать. Вот и выходит, что в нашем таежном, глухом мире тоже живут люди и они умеют нисколько не хуже других понимать и чувствовать все человеческое».

Это сознание обогащало нашу жизнь, вносило в нее какой-то новый смысл, помогало сильнее ощущать себя человеком.

Когда я оказался в Томске, я мог читать и перечитывать произведения Вячеслава Яковлевича Шишкова собственными глазами. Заново я перечитал те немногие его рассказы и очерки, которые уже знал, а потом принялся читать подряд все, опубликованное писателем к тому времени.

Творчество Шишкова захватило меня настолько сильно, что я, живя в городе, находясь в окружении студентов-комсомольцев, не чувствовал своего ухода из тайги, отрыва от деревенской жизни. Так зримо и впечатляюще рисовал этот знакомый мне мир любимый писатель: образы крестьян, таежников, наш деревенский быт, нашу суровую, но бесконечно красивую природу.

Долгое время я жил в каком-то неосознанном, можно сказать, слепом преклонении перед талантом Шишкова, захваченный его покоряющим художественным волшебством, воспроизводившим перед моим взором правдивые картины жизни, близкой и дорогой для меня. Лишь много месяцев спустя с необъяснимым беспокойством я почувствовал, что в моей душе родилась и живет какая-то критическая нотка. Читая Шишкова, я временами начал внутренне спорить с ним. Что же происходило? Не сразу я понял, что мой собственный жизненный опыт, мое собственное мировоззрение вступают в соприкосновение с окружающей средой и начинают действовать с возрастающей активностью.

Я не сразу разобрался в том, в чем же именно обнаруживается мое несогласие с художником, в чем смысл моего внутреннего спора с ним. Все пристальнее стал я прислушиваться к себе, больше размышлял над прочитанным.

Творчество Шишкова я не переставал любить, он по-прежнему оставался одним из самых дорогих для меня

писателей-современников, а вместе с тем ощущение, что я нахожусь с ним часто в состоянии спора, не проходило.

Только впоследствии, когда я сам стал писать, я смог доказательно объяснить себе причины и истоки этого чувства.

Вячеслав Яковлевич Шишков много страниц своего самобытного и яркого творчества посвятил изображению ужасов невежества и нищеты, беспросветности и чудовищного идиотизма жизни старой таежной деревни. В его повестях и рассказах, особенно первого периода творчества, ужасы тьмы настолько велики, что кажутся непоколебимыми, как горный хребет. Оттого, что в них нет и намека на луч света, при чтении испытываешь чувство безысходности и тоски. Именно эти-то страницы и вызывали в моей душе несогласие с автором. Я почти не помню старой, дореволюционной деревни Сибири. Но люди, жившие тогда, долгие годы окружали меня. По опыту родной семьи и родного села я знал многое о том диком и страшном времени, которое кануло в Лету, сметенное вихрем социалистической революции. А кое-что из остатков той эпохи я видел еще и сам. На моих глазах два сибирских кулака ременными бичами до крови исхлестали восемнадцатилетнего пастуха только за то, что стая волков растерзала несколько овец. По раннему детству я помнил о чудовищно диком пережитке, долго державшемся в наших таежных деревнях: о кулачных боях «край на край», в которые вовлекались все лица мужского пола от мала до велика.

Помнится, как в разгар таких схваток к нам в избу, стоявшую за деревней, прибегали заплаканные бабы и, голося, умоляли моего отца, охотника-медвежатника, человека редкостной физической силы: «Вступись-ка ты, Мокей Фролыч, угомони их, иродов, иначе будет смертоубийство». Помню, как отец медленно вставал с лавки, надевал полушубок, кожаные рукавицы и по праву «мирового» шел на деревню приводить «иродов в чувствие».

Знал я и о других дикостях таежного деревенского быта. Скажем, за воровство у нас наказывали страшным образом. Вора, его родителей, всех его близких и дальних родственников выводили на «обчество» — на сход. Здесь их публично, при всем честном народе корили кто как мог, разумеется, без стеснения в выражениях, а затем впрягали в телегу и под свист, улюлюканье, бранные

возгласы проводили по улицам деревни. Затем их заставляли вставать на колени и просить у «обчества» прощения. Заканчивалось все попойкой. Так как вором чаще всего был бедняк, то после такого «обчественного приговора» он попадал на год, на два в жестокую кабалу к торговцу-кулаку, который в тяжкий час его жизни выручал его, одолжив деньги на пропой.

Да, я знал все это. Но знал и многое другое, что как-то терялось, затушевывалось в отдельных произведениях Вячеслава Яковлевича. Я говорю о самостоятельности сибирского крестьянина, которую в свое время отмечал Владимир Ильич Ленин.

Перед коварством суровой сибирской природы зачастую можно было выстоять лишь сообща, держась один за всех и все за одного. Например, корчевать лес для новых пахотных земель нередко выходили всей деревней. Всем народом выходили на волчью облаву. Этот род охоты можно отнести в какой-то мере к народным празднествам. Поднимались все — малые, старые, мужчины, женщины.

А сколько отважных, храбрых людей было в охотничьих артелях, раскиданных по всей обширной сибирской тайге!

Люди оставались людьми. Даже в самых глухих селениях встречались крестьяне и крестьянки, воплощавшие в себе народную мудрость, обладавшие светлым разумом, выступавшие против дикости, царившей в быту.

Огромную роль в жизни сибирского крестьянства играла тюрьма и политическая ссылка. Известно, что еще декабристы, изгнанные самодержавием в Сибирь, много сделали для насаждения здесь интереса к просвещению и культуре, внедрения в хозяйство более совершенных приемов его ведения. С тюрьмой и ссылкой торговали, узнавали через них политические новости, с их помощью учились грамоте, овладевали ремеслами.

Когда социальная борьба в России приобрела характер народной революции, сибирское крестьянство дружно пошло за рабочим классом и большевистской партией и в вооруженной борьбе с интервентами и буржуазией проявило чудеса героизма, стойкости и преданности идеям новой жизни.

Вполне возможно, что, ожидая от любимого писателя большего выявления светлых сторон, которые всегда

были в нашей таежной жизни, я был излишне пристрастен, как бывают пристрастны вообще ревнители своих отчих мест. Но все-таки доля объективной истины, очевидно, была в моем критическом чувстве к писателю. Уже позже, когда я знакомился с литературой о Шишкове, я немало встретил подобных упреков в адрес писателя. Но что особенно важно — сам Вячеслав Яковлевич признавал за собой эту слабость и некоторые вещи после первых публикаций перерабатывал, стараясь ярче выявить в них значение разумного начала. Показательна в этом отношении повесть «Пурга». В отдельных же произведениях (повесть «Ватага») представление, скажем, о партизанском движении как о стихийном бунте, которому присущи все элементы анархии, осталось не преодоленным до конца.

Как художника мощного дарования, Вячеслава Яковлевича привлекали такие жизненные события, которые характерны размахом, яростным накалом страстей, сложными поворотами судеб героев. Эта линия развития творчества Шишкова, к счастью для всей нашей советской литературы, с годами жизни писателя не оборвалась, а шла по восходящей и увенчалась созданием произведений неувядаемой силы, вошедших в число выдающихся завоеваний художественной литературы нашего времени.

Отрадно сознавать, что те радости, которые принес мне — одному из миллионов своих читателей — писатель Шишков в годы моей ранней юности, не были единственными. Вся моя последующая жизнь протекала, как бы наполняясь время от времени новыми радостями, которые несли художественные открытия, совершенные шишковским талантом.

Немало уже лет прошло после первого прочтения «Угрюм-реки», но и сейчас живо помню то огромное, непередаваемое впечатление, которое произвел на меня роман. Это впечатление было подобно тому многоцветию, той игре красок, которое возникает при сиянии солнца после затяжного ненастья в тайге и ослепляет тебя. Роман вызвал во мне чувство восторга перед могучей силой дарования, изумления работоспособностью писателя, посвятившего полтора десятилетия неустанного труда одной теме, удивления его обширными знаниями (историческими, экономическими, этнографическими и т. д.),

без которых невозможно было написать этот сложный, многоплановый роман.

«Угрюм-река», как многоводный Байкал, вобрала в себя тысячи речек и ручейков, представлявших самые различные стороны жизни того времени, которому книга посвящалась. Совершенно несправедливы утверждения некоторых критиков о том, что «Угрюм-река» — это произведение только о Сибири. Думается, что география в подлинном художественном произведении — это одна лишь составная часть изображаемого, и одна она никогда не может заменить главного — изображения людей, выражающих типические черты своего общества.

«Угрюм-река» — это роман о России сложнейшего исторического периода — периода созревания у нас социальной революции и ее разворота. Верно лишь то, что роман этот создан в значительной своей мере на материале Сибири, в условиях которой классовая борьба, развертываясь по общим законам, имела свое некоторое специфическое своеобразие.

Бесконечно прав К. Федин, назвавший 28 марта 1950 года на вечере, посвященном памяти В. Я. Шишкова, «Угрюм-реку» классическим произведением русской литературы. Такие книги составляют нашу гордость.

Влюбленный в творчество Вячеслава Яковлевича, я с напряженным интересом и — не скрою — с тревогой ждал, что скажет этот замечательный художник дальше. Годы его были уже не молодые. Из истории литературы мне было известно, что некоторые писатели, приближаясь к старости, утрачивали свою творческую активность, меньше писали, а если писали, то зачастую значительно слабее, чем прежде.

И вот я узнал, что Вячеслав Яковлевич работает над историческим повествованием «Емельян Пугачев». Моя первая реакция на это сообщение была неблагоприятной по отношению к писателю. Думалось с чувством сожаления: «Ну, зачем он, право, взялся за эту тему?! Такой талантище! Ему бы поднимать глыбы современности, живописать нашу жизнь, наших людей, а он уходит в историю... Да ведь и написано об этом немало!»

Прошло после этого много времени. Новый роман не появлялся. Перечитывая или же просто листая шишковские томики, невольно задерживался я на одной и той же тревожной, удручавшей меня мысли: «Где же он, этот

новый роман об Емельяне Пугачеве? Неужели провал? Неужели оскудел талант писателя?»

Никогда не забуду о своей первой встрече с «Емельяном Пугачевым» Шишкова. Произошло это неожиданно и в несколько необычных условиях.

В 1938 году я много ездил по районам Причулымья, собирая материал для второй книги своего романа «Строговы». Я был захвачен работой над продолжением романа и возвращался с интересным материалом.

На станции Ижморка глубокой ночью я сел в проходящий скорый поезд Москва — Владивосток, стоявший на этой небольшой станции всего две минуты. Войдя в вагон, я отыскал свободную полку и, утомленный бессонной ночью, стал укладываться.

И вдруг, кинув взгляд на противоположную полку, я увидел полузасунутую под подушку спящего немолодого человека свернутую книжку журнала. В одно мгновение я выхватил взглядом несколько строк, освещенных лампой с потолка вагона, и понял каким-то необъяснимо сложным чутьем, что это и есть «Емельян Пугачев» Шишкова.

О сне не могло быть и речи. Но как выручить из-под головы спящего человека книгу? Ждать до утра? Нет, это невозможно. Мне захотелось читать новое произведение Шишкова сейчас же. Стараясь как-нибудь хоть на минутку прервать сон моего соседа, я начал кашлять, ворочаться, греметь чемоданом. Вот сосед приоткрыл глаза, видимо сердясь за беспокойство. Я так и ринулся к нему: «Позвольте взять вашу книгу?» Он ничего не ответил, только чмокнул губами. Но и этого для меня было достаточно. Я вытащил книгу. Это был ленинградский журнал «Литературный современник». В нем действительно были напечатаны главы «Емельяна Пугачева». Сказать только, что я принялся читать,— мало. Через минуту-другую я перенесся совсем в иную эпоху и жил уже в водовороте ее событий.

Главы нового большого произведения Вячеслава Яковлевича Шишкова, ставшего вершиной его творчества, принесли мне много радости. Хотя в журнале была напечатана лишь частичка из огромного повествования — чувствовалось, что талант писателя еще больше окреп и ему под силу самые трудные творческие задачи.

«Емельян Пугачев» стал крупным событием совет-

ской литературы. Фигурально выражаясь, среди обширного моря отечественной литературы поднялся новый гигантский вал, вобравший в себя народную жизнь, ее необозримую широту, ее бесконечную глубину, ее вечную молодость.

Читая «Емельяна Пугачева», я чувствовал, что писатель вошел в гущу народа. Мудрым взглядом человека новой, социалистической эпохи он зорко рассмотрел через века и десятилетия сложнейшие сплетения социальной борьбы, увидел в облике простого русского крестьянина — «мужика» — силу, способную двигать и перестраивать самую жизнь. И снова вспомнились первые рассказы и очерки Шишкова о сибирской деревне, его повести о гражданской войне, его поиски в изображении характера народной массы, неизбежные в таком деле срывы и неудачи, его завоевания и победы на этом пути. И стало совершенно ясно, что без этой долголетней трудной работы ему не удалось бы поднять целые пласты народной жизни в «Емельяне Пугачеве», не удалось бы запечатлеть их с такой яркостью.

Я никогда не видел Вячеслава Яковлевича, но голос его, голос подлинного народного художника, я слышал всегда — в детстве и юности, в годы социалистического преобразования Родины, в годы смертельной битвы с немецким фашизмом. Этот голос всегда проникал до самого сердца, согревал душу, поднимал энергию, звал вперед и вперед. Он и сейчас звучит неустанно, звучит, как живой.

Снова и снова я перелистываю тома сочинений Вячеслава Яковлевича. Неоценимое, изумительное сокровище! Земной поклон тебе и великое спасибо тебе, мой родной русский народ, за то, что ты дал людям, человечеству, будущему такого замечательного чародея художественного слова, как Вячеслав Шишков!

1959

СОДЕРЖАНИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ О В. Я. ШИШКОВЕ

М., «Советский писатель», 1979, 304 стр.
План выпуска 1979 г. № 13

Художник *Г. В. Алимов*
Редактор *М. И. Самойлова*
Худож. редактор *Н. С. Лаврентьев*
Техн. редактор *И. М. Минская*
Корректоры *Г. И. Ольвовская*
и *И. Ф. Сологуб*

ИБ № 1650

Сдано в набор 13.12 78. Подписано к печати 06 06.79. А 04313. Формат 84Х108[1]/32. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 16,80. Уч-изд. л 15,87 Тираж 30 000 экз. Заказ № 942. Цена 1 р. 30 к. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109.

